

Ивин А.А.

# ОСНОВЫ ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ



**А.А.ИВИН**

**ОСНОВЫ  
ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ**

Москва  
«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»  
1997

ББК 87.4  
И25

Рецензенты: докт. филос. наук, проф. *А.Л.Никифоров*;  
докт. филос. наук, проф. *Е.Е.Ледников*.

**Ивин А.А.**

И25 Основы теории аргументации: Учебник. — М.: Гуманит.  
изд. центр ВЛАДОС, 1997 — 352 с.  
ISBN 5-691-00009-8

Книга является первым отечественным учебником по теории аргументации. В ней изложены основные идеи и результаты современной теории аргументации («новой риторики»). Подробно освещены ее приложения в естественных и гуманитарных науках, политике, морали, идеологии и др. Аргументация рассмотрена не только как особая техника убеждения, но и как практическое искусство, предполагающее умение выбрать из многообразных приемов убеждения те, которые требуются особенностями аудитории и обсуждаемой проблемы.

Для широкого круга читателей, интересующихся теорией и практикой убеждения: педагогов, юристов, политических и общественных деятелей и др. Книга будет полезна преподавателям, студентам и аспирантам гуманитарных факультетов.

И 4306020000—37  
14 К(03)—97

Без объявл.

ББК 87.4

ISBN 5-691-00009-8

© Ивин А. А., 1997  
© «Гуманитарный  
издательский центр  
ВЛАДОС», 1997

# Содержание

Введение .....	3
<b>Глава I. Убедительные основания .....</b>	<b>6</b>
1. Что такое аргументация .....	—
2. Принцип достаточного основания .....	7
3. Абсолютное и сравнительное обоснование .....	9
4. Основные функции языка .....	15
<b>Глава 2. Эмпирическая аргументация .....</b>	<b>27</b>
1. Прямое подтверждение .....	—
2. Подтверждение следствий .....	35
3. Факты как примеры .....	42
4. Факты как иллюстрации .....	50
<b>Глава 3. Теоретическая аргументация .....</b>	<b>56</b>
1. Дедуктивное обоснование .....	57
2. Системная аргументация .....	65
3. Опровержимость и проверяемость .....	74
4. Условие совместимости .....	79
5. Методологическая аргументация .....	89
6. Границы обоснования .....	99
<b>Глава 4. Контекстуальная аргументация .....</b>	<b>105</b>
1. Традиция и авторитет .....	106
2. Интуиция и вера .....	125
3. Здравый смысл и вкус .....	140
<b>Глава 5. Аргументация и ценности .....</b>	<b>150</b>
1. Ценности и эпистемология .....	—
2. Описание и оценка .....	156
3. Многообразие оценок .....	163
4. Квазиэмпирическое обоснование оценок .....	172
5. Теоретическое обоснование оценок .....	189
6. Контекстуальные аргументы .....	199
7. Принципы морали .....	211
<b>Глава 6. Объяснение и понимание в аргументации .....</b>	<b>232</b>
1. Объяснение .....	236
2. Предсказание .....	241
3. Понимание .....	245
4. Понимание поведения .....	250
5. Понимание природы .....	257
6. Понимание языковых выражений .....	264

---

<b>Глава 7. Проблемные ситуации и аргументация</b> .....	272
1. Многообразный мир проблем .....	—
2. Явные проблемы.....	275
3. Неявные проблемы .....	281
<b>Глава 8. Некорректная аргументация</b> .....	294
1. Некорректные доказательства .....	—
2. Софизмы.....	300
3. «Есть» и «должен» .....	304
4. Стандартные некорректные аргументы.....	311
<b>Глава 9. Искусство спора</b> .....	314
1. Спор как частный случай аргументации .....	—
2. Корректные приемы спора .....	316
3. Некорректные приемы спора .....	320
4. Споры об истине и споры о ценностях .....	327
5. Четыре разновидности споров .....	330
6. Как не следует спорить .....	332
7. Общие требования к спору .....	337
8. Можно ли одержать верх в споре? .....	345

## Введение

Убеждение — одна из центральных категорий человеческой жизни и деятельности. Одновременно это одна из сложных, противоречивых, с трудом поддающихся анализу категорий. Миллионы людей можно убедить в том, что они призваны построить «новый прекрасный мир», и они, живя в нищете и принося невероятные жертвы, будут повсюду видеть ростки этого мира. Большую группу людей можно убедить, что каждый из них бессмертен, и они с радостью примут коллективное самосожжение. С другой стороны, есть люди, которых невозможно убедить в самых простых математических истинах. Так, философ А.Шопенгауэр называл доказательство известной теоремы Пифагора «мышеловкой» и отказывался его принять. Другой философ Т.Гоббс, прочитав формулировку этой теоремы, воскликнул: «Боже, но это невозможно!». Его соотечественник И.Ньютон, читая в студенческие годы геометрию Евклида, напротив, пропускал доказательства теорем, считая их само собой очевидными и потому излишними.

Убеждение изучается многими науками: психологией, логикой, лингвистикой, философией, риторикой, теорией социальной коммуникации и др. Особое место среди них занимает *теория аргументации*, систематизирующая и обобщающая то, что говорят об убеждении другие дисциплины. Эта теория отвечает на такие вопросы как: способы обоснования и опровержения убеждений, зависимость этих способов от аудитории и обсуждаемой проблемы, своеобразие обоснования в разных областях мышления и деятельности, начиная с естественных и гуманитарных наук и кончая идеологией, пропагандой и искусством, и др. Начавшая складываться еще в античности, теория аргументации прошла долгую историю, богатую взлетами и падениями. Сейчас можно говорить о становлении новой теории аргументации, складывающейся на стыке целого ряда наук и учитывающей в полной мере достижения современной логики и методологии познания.

Предметом теории аргументации является изучение тех многообразных дискурсивных (рассудочных) приемов, которые позволяют усиливать или изменять убеждения аудитории.

Цель аргументации — принятие выдвигаемых положений аудиторией. Истина и добро могут быть промежуточными целями аргументации, но конечной ей задачей всегда является убеждение аудитории в справедливости предлагаемого ее вниманию положения, склонение ее к принятию этого положения и, возможно, к действию, предполагаемому им. Это означает, что оппозиции «истина — ложь» и «добро — зло», важные для других наук, не являются ключевыми ни в аргументации, ни, соответственно, в ее теории. Аргументы могут приводиться не только в поддержку тезисов, представляющихся истинными, но и в поддержку заведомо ложных или неопределенных тезисов. Аргументированно отстаиваться могут не только добро и справедливость, но и то, что кажется или впоследствии окажется злом.

Общие контуры новой теории аргументации наметились в последние два—три десятилетия. Она восстанавливает то позитивное, что было в античной риторике и иногда называется на этом основании *новой риторикой*. Стало очевидным, что теория аргументации не сводится к логической теории доказательства, которая опирается на понятие истины и для которой понятия аудитории и убеждения совершенно инородны. Теория аргументации несводима также к методологии науки или теории познания. Аргументация — это определенная человеческая деятельность, протекающая в конкретном социальном контексте и имеющая своей конечной целью не знание само по себе, а убеждение в приемлемости каких-то положений. В числе последних могут быть не только описания реальности, но и оценки, нормы, советы, предостережения, декларации, обещания и т.п. Теория аргументации не сводится, конечно, и к эристике — теории спора, ибо спор — это только одна из многих возможных ситуаций аргументации.

В формировании главных идей новой теории аргументации важную роль сыграли работы Х.Перельмана, Г.Джонстона, Ф.Ван Емерена, Р.Гроотендорста и др. Однако и в настоящее время теория аргументации лишена единой парадигмы или немногих, конкурирующих между собой парадигм и представляет собой едва ли обозримое поле различных мнений на предмет этой теории, ее основные проблемы и перспективы развития. Можно сказать, что современная теория аргументации находится в периоде бурного развития, напоминающего развитие теории све-

---

та до возникновения корпускулярной оптики И.Ньютона или развитие теории эволюции живых существ до возникновения теории Ч.Дарвина.

В настоящей книге излагается общая теория аргументации, систематизирующая и развивающая сделанное в этой области в последнее время. Аргументация рассматривается с трех разных позиций, дополняющих друг друга: с точки зрения мышления, с точки зрения человека и общества и, наконец, с точки зрения истории. Каждый из этих аспектов рассмотрения имеет свои специфические особенности и распадается на ряд подразделений.

В книге широко используются примеры, взятые из художественной литературы, истории науки и философии, что дает возможность теснее связать теорию и практику аргументации.



<b>Глава I. Убедительные основания</b> .....	<b>6</b>
1. Что такое аргументация .....	—
2. Принцип достаточного основания .....	7
3. Абсолютное и сравнительное обоснование .....	9
4. Основные функции языка .....	15

# Глава I

## УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ

### 1. Что такое аргументация

*Аргументация* — это приведение доводов с целью изменения позиции, или убеждений, другой стороны.

*Довод*, или *аргумент*, представляет собой одно или несколько связанных между собой утверждений. Довод предназначается для поддержки *тезиса* аргументации — утверждения, которое аргументирующая сторона находит нужным внушить аудитории, сделать составной частью ее убеждений.

Словом «аргументация» часто называют не только процедуру приведения аргументов в поддержку какого-то положения, но и саму совокупность таких аргументов.

Теория аргументации исследует многообразные способы убеждения аудитории с помощью речевого воздействия.

Теория аргументации анализирует и объясняет скрытые механизмы «незаметного искусства» речевого воздействия в рамках самых разных коммуникативных систем — от научных доказательств до политической пропаганды, художественного языка и торговой рекламы.

Влиять на убеждения слушателей или зрителей можно не только с помощью речи и словесно выраженных доводов, но и многими другими способами: жестом, мимикой, наглядными образами и т.п. Даже молчание в определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом. Эти способы воздействия на убеждения изучаются психологией, теорией искусства и др., но не затрагиваются теорией аргументации.

На убеждения можно, далее, воздействовать насильем, гипнозом, внушением, подсознательной стимуляцией, лекарственными средствами, наркотиками и т.п. Этими методами воздействия занимается психология, но они явно выходят за рамки даже широко трактуемой теории аргументации. «Аргументация, — пишет Г.Джонстон, — есть всепроникающая черта человеческой жизни. Это не означает, что нет случаев, когда человек поддается гипнозу, подсознательной стимуляции, наркотикам, “промыванию моз-

гов” и физической силе, и что нет случаев, в которых он может должным образом контролировать действия и взгляды своих собратьев — людей средствами иными, чем аргументация. Однако только тот человек, которого можно назвать бесчеловечным, будет получать удовольствие от воздействия на поведение других людей лишь неаргументационными средствами, и только идиот будет охотно подчиняться ему. Мы даже не властвуем над людьми, когда мы только манипулируем ими. Мы можем властвовать над людьми, только рассматривая их как людей»<sup>1</sup>.

Аргументация представляет собой речевое действие, включающее систему утверждений, предназначенных для оправдания или опровержения какого-то мнения. Она обращена в первую очередь к разуму человека, который способен, рассудив, принять или отвергнуть это мнение.

Таким образом, для аргументации характерны следующие черты:

— аргументация всегда выражена в языке, имеет форму произнесенных или написанных утверждений; теория аргументации исследует взаимосвязи этих утверждений, а не те мысли, идеи, мотивы, которые стоят за ними;

— аргументация является целенаправленной деятельностью: она имеет своей задачей усиление или ослабление чьих-то убеждений;

— аргументация — это социальная деятельность, поскольку она направлена на другого человека или других людей, предполагает диалог и активную реакцию другой стороны на приводимые доводы;

— аргументация предполагает разумность тех, кто ее воспринимает, их способность рационально взвешивать аргументы, принимать их или оспаривать<sup>2</sup>.

## 2. Принцип достаточного основания

Искусство аргументации включает многие компоненты. Но наиболее важным, соединяющим, как в оптическом фокусе, все другие компоненты, является умение рассуждать обоснованно, подкреплять выдвигаемые положения убедительными аргументами.

<sup>1</sup>Johnstone H.W. Some Reflections on Argumentation // Philosophy, Rhetoric and Argumentation. Pennsylvania, 1965. — P. 1—2.

<sup>2</sup>См.: Eemeren F.H. van, Grootendorst R. Speech Acts in Argumentative Discussions. — Dordrecht, 1984. — P. 6—9.

*Обоснованность знания* — одно из наиболее важных требований, предъявляемых к теоретическому мышлению. Понятие *обоснования* — центральное в теории познания вообще и в методологии научного познания в частности.

В каждой конкретной научной дисциплине исторически складывается свой уровень точности и доказательности. Но к какой бы области знания ни относилось то или иное положение — идет ли речь о математике, физике или этике, — всегда предполагается, что имеются *достаточные основания*, в силу которых данные положения принимаются или считаются истинными.

Требование обоснованности предъявляется в несколько ослабленной форме и к практическому мышлению. И здесь выдвигаемые идеи должны поддерживаться достаточно отчетливыми и убедительными аргументами, хотя сам характер аргументации в рамках практического мышления существенно меняется.

Требование обоснованности относится и к повседневному знанию. При всей неточности и аморфности последнее также должно опираться на определенные, относительно надежные основания.

Требование обоснованности знания иногда называют *принципом достаточного основания*. Впервые в явном виде его сформулировал, как принято считать, немецкий философ Г.Лейбниц (1646—1716). Однако требование приводить основания принимаемых утверждений, пожалуй, столь же старо, как и само теоретическое мышление.

По мысли Лейбница, все существующее имеет достаточные основания для своего существования. В силу этого ни одно явление не может считаться действительным и ни одно утверждение истинным или справедливым без указания его основания<sup>1</sup>. Если в основе всех **н е о б х о д и м ы х** **и с т и н** лежит логический закон противоречия, считал Лейбниц, предпосылкой **в с е х ф а к т и ч е с к и х** **и с л у ч а й н ы х** **и с т и н** выступает принцип достаточного основания.

<sup>1</sup>«Всякая истина, — писал Лейбниц, — или может быть доказана из абсолютно первых (можно доказать, что те сами недоказуемы), или же сама есть абсолютно первая. И, как обычно говорят, это означает, что ничто не должно утверждаться без основания и даже что ничто не делается без основания» (Лейбниц Г.В. Соч.: В 4 т. — Т. 3. — М., 1984. — С. 124). И в другом месте: «Аксиома, что *ничего не бывает без основания*, должна считаться одной из самых важных и плодотворных аксиом во всем человеческом познании; на ней основывается большая часть метафизики, физики и нравственного учения, и без нее нельзя ни доказать ни существования Бога из творений, ни построить доказательство от причин к следствиям или от следствий к причинам, ни сделать какие-либо выводы в делах гражданских» (Там же. — С. 141).

Однако характеристика последнего, данная Лейбницем, не отличалась ясностью, и уже вскоре были предприняты попытки свести требование достаточного основания к условию непротиворечивости. В дальнейшем идея Лейбница понималась по-разному. В частности, немецкий философ XIX в. А.Шопенгауэр истолковывал ее как положение о необходимой взаимосвязи каждого явления со всеми иными явлениями; время, пространство, причинность, основания знания и поведения оказывались при этом многообразными формами проявления фундаментальной взаимозависимости явлений.

В традиционной логике требование обоснованности знания, называвшееся законом достаточного основания, включалось (наряду с законами противоречия, исключенного третьего и тождества, а иногда и другими) в число так называемых основных законов мышления. Требование достаточного основания обычно распространялось на все суждения, но иногда делалось исключение для суждений непосредственного восприятия, аксиом и определений. Считалось, что аксиомы, определения, удостоверенные суждения непосредственного опыта и выводные суждения, уже обоснованные посредством доказательств, сами могут выступать достаточным основанием. Вопрос о том, как обосновываются эти «конечные элементы», скажем, аксиомы или определения, обычно оставался открытым.

Требование обоснованности знания не является, конечно, законом логики — ни «основным», ни «второстепенным». Оно не лежит в фундаменте логики, имеющей к нему такое же отношение, как и любая другая наука. Утверждения логики должны быть обоснованными, но это справедливо и в отношении физики, и в отношении эстетики. Никаких собственно логических доводов в поддержку принципа достаточного основания нет.

### 3. Абсолютное и сравнительное обоснование

*В самом общем смысле обосновать некоторое утверждение — значит привести те убедительные или достаточные основания, в силу которых оно должно быть принято.*

Обоснование теоретических положений является, как правило, сложным процессом, не сводимым к построению отдельного умозаключения или проведению одноактной эмпирической, опытной проверки. Обоснование обычно включает целую серию процедур, касающихся не только самого рассматривае-

мого положения, но и той системы утверждений, той теории, составным элементом которой оно является. Существенную роль в механизме обоснования играют дедуктивные умозаключения, хотя лишь в редких случаях процесс обоснования удается свести к умозаключению или цепочке умозаключений.

Все многообразные способы обоснования, обеспечивающие в конечном счете достаточные основания для принятия утверждения, делятся на *абсолютные* и *сравнительные*.

*Абсолютное обоснование* — это приведение убедительных, или достаточных, оснований, в силу которых должно быть принято обосновываемое положение.

*Сравнительное обоснование* — система убедительных доводов в поддержку того, что лучше принять обосновываемое положение, чем иное, противопоставляемое ему положение.

Абсолютное обоснование относится к отдельному утверждению и представляет собой совокупность доводов в его поддержку. Сравнительное обоснование касается пары связанных между собой утверждений и является системой доводов в поддержку того, что должно быть принято (лучше принять) одно из утверждений, а не другое.

Совокупность доводов, приводимых в поддержку обосновываемого положения, называется *основанием* обоснования.

Пусть  $A$  — какое-то обосновываемое положение,  $B$  — другое положение, противопоставляемое в каком-то смысле положению  $A$ , и  $C$  — основание обоснования.

Общая схема, или структура, абсолютного обоснования такова:  
« $A$  должно быть принято в силу  $C$ ».

Структура сравнительного обоснования:

«Лучше принять  $A$ , чем принять  $B$ , в силу  $C$ ».

Например, выражение «Следует принять, что небо в обычных условиях голубое, поскольку в пользу этого говорит непосредственное наблюдение», — абсолютное обоснование, точнее, его результирующая, резюмирующая часть. Выражение же «Лучше принять, что небо синее, чем принять, что оно красное, основываясь на положениях физики атмосферы», — это результирующая стадия сравнительного обоснования утверждения «Небо синее, а не красное».

Различие между абсолютным и сравнительным обоснованием является принципиальным. В случае первого обоснованность приписывается отдельному утверждению и выступает как его свойство: «Обоснованно  $A$ » или « $A$  является обоснованным». При сравнительном обосновании обоснованность оказывается

уже отношением между утверждениями: «*A* более обоснованно, чем *B*». Иными словами, абсолютное обоснование является абсолютной оценкой какого-то утверждения, взятого само по себе; сравнительное обоснование — это сравнительная оценка, связывающая между собой два утверждения.

Если мы говорим, к примеру, что розы — хорошие цветы, мы однозначно приписываем розам позитивную ценность. Но если утверждается, что розы лучше гладиолусов, это не означает, что розы считаются хорошими; и розы, и гладиолусы могут оцениваться нами негативно и вместе с тем мы можем отдавать предпочтение розам. И ложь, и воровство являются предосудительными, негативно ценными. Но можно сказать, что лгать все-таки лучше, чем воровать, хотя и то, и другое плохо.

Если какое-то описательное утверждение оценивается как обоснованное, есть основания принять его в качестве истинного. Если же говорится, что одно описательное утверждение более обоснованно, чем другое, и что лучше — в силу приведенных оснований — принять первое, а не второе, это не означает, что первое утверждение истинно, а второе ложно. Оба они могут быть маловероятными, но одно из них при этом может являться более правдоподобным, чем другое. К примеру, если кто-то полагает, что лучше принять, что небо синее, чем принять, что оно зеленое, из этого не следует, что небо в самом деле синее, а не голубое.

Из оценки «*A* лучше *B*» не вытекает ни то, что *A* является хорошим, ни то, что *B* плохое: лучше одна другой могут быть и хорошие и плохие вещи. Аналогичным образом из сравнительного обоснования «Лучше принять *A*, а не *B*» не следует, что *A* обоснованно, а *B* — нет. Утверждение *A* может быть малообоснованным и маловероятным, но при этом возможно, что утверждение *B* еще менее обоснованно и правдоподобно, и раз вопрос стоит о выборе между ними, лучше все-таки принять *A*, а не *B*.

Сравнительное обоснование обычно называется *рационализацией*. В условиях, когда абсолютное обоснование недостижимо, сравнительное обоснование представляет собой существенный шаг вперед в совершенствовании знания, в приближении его к стандартам рациональности. Абсолютное обоснование при этом именуется просто *обоснованием*.

Известно, что сравнительные оценки несводимы к абсолютным, и наоборот. «Лучше» неопределимо через «хорошо»: лучше одна другой могут быть и две хорошие, и две плохие вещи. «Хорошо» неопределимо в общем случае через «лучше». Установление абсолютной ценности какого-то предмета и установление его сравнительной ценности — это два разных, взаимо-

дополняющих видения одного и того же объекта, не редуцируемых друг к другу.

Вопрос о соотношении абсолютного и сравнительного обоснования (обоснования и рационализации) остается пока неисследованным. Однако очевидно, что *сравнительное обоснование несводимо к абсолютному*. Если удалось обосновать, что одно утверждение более правдоподобно, чем другое, этот результат невозможно выразить в терминах изолированной обоснованности одного или обоих утверждений.

Менее ясен ответ на вопрос: можно ли абсолютное обоснование свести к сравнительному?

Иногда «хорошо» определяется через «лучше»: нечто является хорошим, когда его наличие лучше, чем его отсутствие. Например: «Хорошо иметь синий цвет, если и только если быть синим лучше, чем не быть синим». Однако это и подобные ему определения носят только частичный характер и не позволяют получить «логику добра» в качестве следствия логики предпочтений («логики лучше»)<sup>1</sup>.

Можно предположить, что в некоторых случаях абсолютное обоснование допускает определение через сравнительное обоснование по следующей схеме (символ « $=_{df}$ » означает равенство по определению):

«Обоснованно  $A$ »  $=_{df}$  « $A$  более обоснованно, чем не- $A$ », т.е. утверждение  $A$  является обоснованным только в том случае, если оно более обоснованно, чем его отрицание. К примеру, обоснованно, что в недрах Луны имеется нефть, если и только если наличие нефти в недрах Луны обоснованно лучше, чем отсутствие нефти.

Указанное определение можно передать также так:

«Должно быть принято  $A$ , в силу  $C$ »  $=_{df}$  «Лучше принять  $A$ , чем не- $A$ , в силу  $C$ ».

Исходя из общих соображений, касающихся определимости абсолютных оценок через сравнительные, можно сказать, что рассматриваемое определение абсолютного обоснования через сравнительное, если и применимо, то очень редко. В самом деле, из того, что в настоящее время более обоснованно наличие нефти на Луне, чем ее отсутствие, вряд ли вытекает, что обоснованно, будто она там определенно есть. Из того, что лучше принять, что Роберт Пири был первым на Северном полюсе, чем принять, что

<sup>1</sup>См. об этом: *Ивин А.А. Логика и ценности // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект. — М., 1988; Ивин А.А. Логико-философское исследование ценностей // Исследования по неклассическим логикам. — М., 1989.*



он не был там первым, вряд ли с необходимостью вытекает, что следует без всяких колебаний и возражений принять, что именно Пири был первым на Северном полюсе.

Естественно допустить, таким образом, что *абсолютное и сравнительное обоснование* (обоснование и рационализация) в общем случае несводимы друг к другу. Они представляют собою два разных, в широких пределах независимых друг от друга способа утверждения и упрочнения знания, нередко дополняющие друг друга.

Требования обоснованности и рациональности знания играют ведущую роль как в системе теоретического и практического мышления, так и в сфере аргументации. В этих требованиях пересекаются и концентрируются все другие темы эпистемологии, и можно сказать, что обоснованность и рациональность являются синонимами способности постичь посредством разума действительность и извлечь выводы, касающиеся практической деятельности. Без данных требований аргументация теряет одно из своих существенных качеств: она перестает апеллировать к разуму тех, кто ее воспринимает, к их способности рационально оценивать приводимые аргументы и на основе такой оценки принимать их или отбрасывать.

Проблема (абсолютного) обоснования была центральной для эпистемологии Нового времени. Конкретные формы этой проблемы менялись, но в «классическом» мышлении того времени они всегда были связаны с характерным для него представлением о существовании абсолютных, непоколебимых и не пересматриваемых оснований всякого подлинного знания, с идеей постепенного и последовательного накопления «чистого» знания, с противопоставлением истины, допускающей обоснование, и субъективных, меняющихся от человека к человеку ценностей, с дихотомией эмпирического и теоретического знания и другими «классическими предрассудками». Речь шла о способе или процедуре, которая обеспечивала бы безусловно твердые, неоспоримые основания для знания.

С разложением «классического» мышления смысл проблемы обоснования существенно изменился. Стали очевидными три момента:

— никаких абсолютно надежных и не пересматриваемых со временем оснований теоретического, и тем более практического знания не существует; и можно говорить только об относительной их надежности;

— в процессе обоснования используются многочисленные и разнородные приемы, удельный вес которых меняется от случая

к случаю и которые несводимы к какому-то ограниченному, каноническому их набору, представляющему то, что можно назвать «научным методом», или более широко «рациональным методом»;

— само обоснование имеет ограниченную применимость, являясь прежде всего процедурой науки и связанной с нею техникой; автоматическое перенесение образцов обоснования, сложившихся в одних областях (и прежде всего в науке), на любые другие области недопустимо.

В современной эпистемологии «классическая» проблема обоснования трансформировалась в задачу исследования лишённого четких границ многообразия способов обоснования знания, с помощью которого достигается приемлемый в данной области — но никогда не абсолютный — уровень обоснованности. Поиски «твёрдых оснований» отдельных научных дисциплин перестали быть самостоятельной задачей, обособившейся от решения конкретных проблем, встающих в ходе развития этих дисциплин.

Понятие *рациональности* имеет многовековую историю, но только со второй половины прошлого века оно стало приобретать общее содержание и сделалось предметом острых споров. Во многом это было связано с рассмотрением теоретического знания в его развитии, с уяснением сложности и неоднозначности процесса его обоснования. В сравнительном обосновании, т.е. в оценке знания с точки зрения его рациональности стали видеть своеобразную компенсацию выявившейся ненадёжности процедур обоснования; переосмысление «классической» проблемы обоснования выдвинуло на первый план новую проблему — проблему рациональности, понятую как исследование и оценку методов сравнительного обоснования.

**Т р е б о в а н и я о б о с н о в а н и я и р а ц и о н а л и з а ц и и** (абсолютного и сравнительного обоснования) являются конкретизацией принципа достаточного основания, сформулированного Лейбницем. Эти требования представляют собой два фундаментальных, описательно-оценочных принципа, имманентных самой сути знания. В них аккумулируется прежний опыт познания, и вместе с тем они являются критериями оценки нового знания. Будучи в широких пределах независимыми друг от друга, они являются двумя разными видениями знания.

Оценка с точки зрения (абсолютной) обоснованности относится прежде всего к знанию, взятому в **д и н а м и к е**, ещё не сложившемся и требующему сколь-нибудь надёжных оснований. Оценка с точки зрения рациональности (сравнительной обоснованности) — это по преимуществу оценка знания, рас-

сма­три­вае­мо­го в с т а т и к е, как нечто уже сформировавшееся и в известном смысле устоявшееся и завершенное.

Первая оценка идет в русле а р и с т о т е л е в с к о й традиции видеть мир, в том числе и реконструированный в рамках какой-то теории или концепции, как *становление*. Вторая оценка — продолжение п л а т о н о в с к о й традиции рассматривать мир как *бытие*, как нечто уже ставшее. Полная оценка знания должна, однако, складываться из этих двух исключających и дополняющих друг друга оценок.

Дуализм обоснования и рационализации является частным случаем того общего дуализма абсолютного и относительного, динамического и статического, который проявляется в случае каждой из основных категорий мышления.

Обоснование (абсолютное и сравнительное) и аргументация соотносятся между собою как с р е д с т в о и ц е л ь: способы обоснования составляют в совокупности ядро всех многообразных приемов аргументации, но не исчерпывают последних. В аргументации используются не только к о р р е к т н ы е приемы, к которым относятся способы обоснования, но и н е к о р р е к т н ы е приемы, подобные лжи или вероломству, не имеющие ничего общего с обоснованием. Кроме того, процедура аргументации как живая, непосредственная человеческая деятельность должна учитывать не только защищаемый или опровергаемый тезис, но и к о н т е к с т а р г у м е н т а ц и и, и в первую очередь ее а у д и т о р и ю. Приемы обоснования (доказательство, ссылка на подтвердившиеся следствия и т.п.), как правило, безразличны к контексту аргументации, и в частности к аудитории.

Приемы аргументации могут быть и почти всегда являются более богатыми и более острыми, чем приемы обоснования. Но все приемы аргументации, выходящие за сферу приемов обоснования, заведомо менее универсальны и в большинстве аудиторий менее убедительны, чем приемы обоснования.

#### 4. Основные функции языка

Наш о б ы ч н ы й язык, язык, на котором мы говорим, полноправный соавтор всех наших мыслей и дел. И притом соавтор нередко более великий, чем мы сами. В известном смысле, он классик, а мы только современники самих себя.

«Законы действительности запечатлелись в человеческом языке как только он начал возникать... Мудрость языка настолько

же превосходит любой человеческий разум, насколько наше тело лучше ориентируется во всех деталях жизненного процесса, протекающего в нем, чем мы сами» (С.Лем).

Источник обычно не бросаящегося в глаза величия языка и его тайной мудрости в том, что в нем зафиксирован и сосредоточен опыт многих поколений, особый взгляд целого народа на мир. С первых лет детства, втягиваясь в атмосферу родного языка, мы усваиваем не только определенный запас слов и грамматических правил. Незаметно для самих себя мы впитываем также свою эпоху, выраженную в языке, и тот огромный прошлый опыт, который отложился в нем.

Классический индийский эпос гласит: «Если бы не было речи, то не были бы известны ни добро, ни зло, ни истина, ни ложь, ни удовлетворение и ни разочарование. Речь делает возможным понимание всего этого. Размышляйте над речью» («Упанишадь»).

*Язык — это знаковая система, используемая для целей коммуникации и познания.* Системность языка выражается в наличии в каждом языке, помимо словаря, также синтаксиса и семантики. *Синтаксис — это совокупность правил образования выражений языка и их преобразования. Семантика — множество правил придания значений выражениям языка.* Каждый язык имеет также *прагматику*, определяющую отношение между языком и теми, кто его использует для общения и познания.

*Функции, или употребления, языка — это те основные задачи, которые решаются с помощью языка в процессе коммуникации и познания.*

Обычный, или естественный, язык складывается стихийно и постепенно. Его история неотделима от истории владеющего им народа. Искусственные языки, сознательно создаваемые людьми для особых целей, в отдельных аспектах, как правило, более совершенны, чем естественный язык. Но это совершенство в отношении определенных целей по необходимости оказывается недостатком, когда решаются иные задачи.

Естественный язык, пропитывающий ткань повседневной практической жизни и делающий ее эластичной, столь же богат, как и сама жизнь. Разнородность, а иногда и просто несовместимость выполняемых им функций — причина того, что не все свои задачи он решает с одинаковым успехом. Но как раз эта широта и не дает языку закоснеть в жестких разграничениях и противопоставлениях. Он никогда не утрачивает способности изменяться с изменением жизни и постоянно остается столь же гибким и готовым к будущим переменам, как и она сама.

Разнообразные искусственные языки, подобные языку математики, логики и т.д., и генетически и функционально вторичны в отношении естественного языка. Они возникают на базе последнего и могут функционировать только в связи с ним.

Обычный язык, предназначенный прежде всего для повседневного общения, имеет целый ряд своеобразных черт. В определенном смысле их можно считать его недостатками.

Этот язык является аморфным как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им значений. В нем нет четких критериев осмысленности утверждений. Не выявляется строго логическая форма рассуждений. Значения отдельных слов и выражений зависят не только от них самих, но и от их окружения. Многие соглашения относительно употребления слов не формулируются явно, а только предполагаются. Почти все слова имеют несколько значений. Одни и те же предметы порой могут называться по-разному. Есть слова, не обозначающие никаких объектов, и т.д.

Эти и другие особенности обычного языка говорят, однако, не столько об определенном его несовершенстве, сколько о могуществе, гибкости и скрытой силе.

Богатый и сложный естественный язык требует особого внимания к себе. В большинстве случаев он верный и надежный помощник. Но если мы не считаемся с его особенностями, он может подвести и подстроить неожиданную ловушку.

В дальнейшем мы остановимся на некоторых своеобразных чертах обычного языка, способных стать в определенных условиях причиной непонимания и логических ошибок, нарушающих процесс аргументации. Сейчас же речь пойдет о такой специфической особенности естественного языка, как его *многофункциональность*.

С помощью обычного языка можно описывать реальное положение дел. Но с помощью языка можно также командовать и обещать, клясться и предостерегать, декларировать и оценивать и т.д. Многофункциональность обычного языка имеет существенное значение как для теории аргументации, так и для ее практики. Аргументация в поддержку описаний, являющихся истинными или ложными, не может не отличаться от аргументации, приводимой в поддержку команд, стоящих вне категории истины. Обоснование предостережений, рекомендаций и т.п. отлично от обоснования деклараций или оценок.

Идея проведения различия между функциями языка как правило принимается теориями языка; реализуется она, однако, по-разному.

Широкую известность получило введенное в 20-е годы этого века Ч.Огденом и А.Ричардсом противопоставление р е ф е р е н ц и а л ь н о г о (обозначающего) употребления языка его э м о т и в н о м у (выражающему) употреблению.

Распространено также выделение двух основных функций языка: ф о р м у л и р о в а н и я м ы с л е й в процессе познания и к о м м у н и к а ц и и этих мыслей, а также связанных с ними переживаний. Причем первая функция иногда считается предельным случаем второй, т.е. мышление рассматривается как общение с самим собой.

К.Бюлер, рассматривая знаки языка в их отношении к говорящему, слушающему и предмету высказывания, выделяет три функции языкового высказывания: и н ф о р м а т и в н у ю, э к с п р е с с и в н у ю и э в о к а т и в н у ю. В первом случае язык используется для формулировки истинных или ложных утверждений; во втором — для выражения состояний сознания говорящего; в третьем — для оказания влияния на слушающего, для возбуждения у него определенных мыслей, оценок, стремления к каким-то действиям. Каждое языковое утверждение решает одновременно все три задачи; различие между функциями языка определяется тем, какая из этих задач является доминирующей. Так, утверждение о факте, являющееся типичным случаем информативного употребления языка, непосредственно описывает положение дел в действительности, косвенно выражает переживание говорящим его опыта и вызывает определенные мысли и чувства у слушающего. Основная функция команды, являющейся характерным образцом эвокативного употребления языка, — вызвать определенное действие слушающего, но команда предоставляет также сведения о предписываемой деятельности и выражает желание или волю говорящего, чтобы деятельность была выполнена. Восклицание непосредственно выражает эмоции говорящего, а косвенно оказывает влияние на слушающего и дает ему информацию о состоянии сознания говорящего.

С точки зрения теории аргументации особый интерес представляет описание функций языка *теорией речевых актов*. Эта теория приобрела широкую известность в последние три десятилетия, хотя в ее основе лежат идеи, высказанные английским философом Дж.Остином еще в 1955 г.<sup>1</sup> В дальнейшем эти идеи были развиты и конкретизированы Дж.Сёрлем, П.Ф.Стросоном и др.<sup>2</sup>

Объектом исследования теории речевых актов являются *акты речи* — произнесение говорящим предложений в ситуации непосредственного общения со слушающим. Теория развивает д е я т е л ь н о с т н о е представление о языке, что важно для теории аргументации, рассматривающей аргументацию как определенно-го рода взаимодействие говорящего и слушающих. Теория речевых актов дает детальное описание внутренней структуры речевого акта — элементарного звена речевого общения. И наконец, в этой теории субъект речевой деятельности понимается не как

<sup>1</sup>См.: *Остин Дж.Л.* Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVII. — М., 1986.

<sup>2</sup>См.: *Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language.* — London, 1969; *Сёрль Дж.Р.* Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVII. — М., 1986; *Сёрль Дж.Р.* Классификация иллокутивных актов // Там же; *Стросон П.Ф.* Намерение и конвенция в речевых актах // Там же.

абстрактный индивид, лишенный каких-либо качеств и целей, а как носитель ряда конкретных характеристик: психологических (намерение, знание, мнение, эмоциональное состояние, воля) и социальных (статус по отношению к слушающему, функция в рамках определенного социального института).

Среди основных употреблений (функций) языка особое место занимает *описание — сообщение о реальном положении вещей*. Сообщение, соответствующее действительности, является истинным; сообщение, не отвечающее реальному положению дел, ложно. Иногда допускается, что описание может быть неопределенным, лежащим между истиной и ложью. К неопределенным можно отнести многие описания будущего (например, «Через год в этот день будет пасмурно»), описания движения, возникновения и исчезновения каких-то объектов и т.п.<sup>1</sup>

Описательное употребление языка иногда выделяется словами «истинно», «верно», «на самом деле» и т.п.

Долгое время считалось, что описание — это единственная функция языка или, во всяком случае, та его функция, к которой может быть сведено любое иное его употребление. Предполагалось, что любое грамматически правильное повествовательное предложение является описательным, и значит, истинным или ложным.

<sup>1</sup>Дж.Р.Серль несколько иначе характеризует описания, называя их «репрезентативами»: «Смысл, или цель, членов класса репрезентативов — в том, чтобы зафиксировать (в различной степени) ответственность говорящего за сообщение о некотором положении дел, за истинность выражаемого суждения. Все элементы класса репрезентативов могут оцениваться по шкале, включающей истину и ложь.

...Направление приспособления здесь — «слова—реальность»; выражаемое психологическое состояние — убеждение (что *p*). Важно подчеркнуть, что слова типа «убеждение» и «ответственность» здесь используются для того, чтобы указать на соответствующие измерения; они скорее, так сказать, определяемые параметры, чем определенные величины. Так, между *предложением*, что *p*, или *высказыванием в качестве гипотезы*, что *p*, с одной стороны, и *настаиванием*, что *p*, или *торжественной клятвой*, что *p*, с другой, имеется различие. Степень убеждения и ответственности может приближаться к нулю или даже быть ему равна; но ясно, что *гипотетическое утверждение*, что *p*, и *простая констатация*, что *p*, *находятся* в одной и той же плоскости, в которую не входят, скажем, просьбы.

Самый простой тест для репрезентативов — следующий: можете ли вы буквально оценить высказывание (кроме прочего) как истинное или ложное. Сразу же добавлю, что это — ни необходимое, ни достаточное условие...» (Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. — С. 181—182).

Однако, если отказаться от того, что претензия на истинность — необходимое свойство описания (репрезентатива), то само понятие описания утратит нужную ясность, а граница между описаниями и их противоположностью — оценками, сразу же станет нечеткой.

Как мы убедимся далее, описание, несмотря на всю его важность, — не единственная задача, решаемая с помощью языка. Перед языком стоят многие задачи, не сводимые к описанию.

«Философы очень долго полагали, — пишет Дж.Л.Остин, — что единственное назначение «утверждения» — «описывать» некоторое положение дел или «утверждать» некий факт, и причем всегда либо в качестве истинного, либо ложного. Грамматисты, конечно, указывали, что не все «предложения» являются утверждениями; кроме (грамматических) утверждений, традиционно называются вопросы, восклицания, а также предложения, выражающие поведение, желание или уступку. Философы, разумеется, не отрицали указаний грамматистов и все же небрежно употребляли термин «предложение» вместо «утверждение». И нет никакого сомнения в том, что те и другие прекрасно представляли себе, насколько трудно отграничить утверждения даже от вопросов, повелений и т.п. с помощью скудных средств, которыми располагает грамматика, — таких, например, как порядок слов, склонение и пр. Однако останавливать внимание на трудностях, немедленно возникающих в связи с этим наблюдением, не было принято. В самом деле, как решить, что есть что? Каковы границы и определения в каждом отдельном случае?

Но все-таки в последнее время многое из того, что безусловно принималось и философами и грамматистами как «утверждение», подверглось строгому пересмотру»<sup>1</sup>.

Остин указывает несколько обстоятельств, побудивших пересмотреть точку зрения, что все предложения являются описательными и утверждают какие-то факты. Вначале возникло мнение, что утверждение (факта) должно быть верифицируемым (эмпирически проверяемым), из чего следовало, что многие утверждения на поверку оказываются не более чем псевдоутверждениями. Сразу бросалось в глаза, что многие утверждения, несмотря на безупречную грамматическую форму, представляют собой полную бессмыслицу. Обнаруживались все новые и новые разновидности бессмыслицы. Нельзя было примириться с тем, что в нашей речи беспредельно много бессмысленного, поэтому на следующем этапе возник вопрос, стоит ли считать очевидные псевдоутверждения вообще утверждениями? Отсюда недалеко было до вывода, что многие высказывания, похожие на утверждения, вовсе не предназначаются для сообщения или записи прямой информации о фактах или предназначены для этого лишь частично.

<sup>1</sup>Остин Дж.Л. Слово как действие. — С. 23—24.



Например, моральные суждения целиком или полностью направлены на возбуждение чувства, на предписание поведения или определенное воздействие на него. В описательные на первый взгляд утверждения бывают вкраплены совершенно несуразные слова, указывающие вовсе не на какие-то новые особенные свойства описываемой действительности, а на обстоятельства, в которых делается данное утверждение, на оговорки, которыми необходимо его сопроводить, на то, как следует его понимать и т.п. Этот ход мысли постепенно привел к убеждению, что многие традиционные философские сложности были следствием ошибки, а именно: за прямые утверждения о фактах ошибочно принимались такие высказывания, которые либо вообще не имели смысла (на особый, неграмматический манер), либо изначально замысливались не как утверждения о фактах, а как нечто совсем иное.

«Мы можем сомневаться в каком-либо из этих взглядов и предложений, можем горько сожалеть об изначальной путанице, в которой потонули философские доктрина и метод, но одно бесспорно, — заключает Остин, — эти взгляды ведут к перевороту в философии. При желании это можно назвать великим и благотворным событием в истории нашей науки, и, возможно, это не будет чрезмерным преувеличением»<sup>1</sup>.

Остин оказался прав: новые идеи, касающиеся многообразия употреблений языковых выражений, действительно привели к перевороту в философии языка. Они оказали также существенное воздействие на логику, в которой параллельно с теорией речевых актов складывались логика норм и логика оценок, не сводимые к обычной (классической) логике описательных высказываний<sup>2</sup>. Концепция речевых актов оказала, наконец, серьезное влияние на формирование новой теории аргументации, и прежде всего на трактовку одного из ключевых ее понятий — *понятия обоснования*.

Еще одна функция языка — *попытка заставить что-то сделать*. Выражения, в которых реализуется намерение говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил, разнообразны. Это — команды, приказы, требования, предписания, законы, правила и т.п., короче говоря, *нормы*. Их примерами могут служить выражения: «Прекратите говорить!», «Старайтесь приносить максимум пользы как можно большему числу людей», «Следует быть стойким» и т.п. Нормы, в отличие от опи-

<sup>1</sup>Там же. — С. 25.

<sup>2</sup>См. об этом: *Ивин А.А. Основания логики оценок*. — М., 1970; *Ивин А.А. Логика норм*. — М., 1973.

саний, не являются истинными или ложными, но они могут быть обоснованными или необоснованными, способствующими достижению каких-то целей или нет и т.п.<sup>1</sup>.

Язык может служить также для *выражения разнообразных чувств*: «Сожалею, что разбудил вас», «Искренне сочувствую вам», «Поздравляю с праздником», «Приветствую всех, кто пришел», «Извините, что не смогу быть» и т.п. Выражения чувств назовем, вслед за Дж.Серлем, *экспрессивами*. Они передают определенные психологические состояния, в них идет речь о каком-то свойстве (не обязательно действии), приписываемом либо говорящему, либо слушающему. К примеру, я вправе поздравить вас с победой на соревнованиях, если вы действительно победили и если я на самом деле рад вашей победе. В этом случае поздравление будет *искренним*, и его можно считать истинным, т.е. соответствующим внешним обстоятельствам и моим чувствам. Если же я поздравляю вас с тем, что вы хорошо выглядите, хотя на самом деле вы выглядите неважно, мое поздравление неискренне. Оно не соответствует реальности, и если я знаю об этом, то не соответствует и моим чувствам. Такое поздравление можно оценить как ложное. Ложным было бы и поздравление вас с тем, что вы открыли квантовую механику: и мне, и вам было бы заведомо известно, что это не так, и поздравление выглядело бы как насмешка<sup>2</sup>.

Более подробно о нормах (предписаниях) говорится далее.

Язык может использоваться, далее, для *изменения мира словом*. Именно эта задача решается, например, выражениями: «Назначаю вас председателем», «Ухожу в отставку», «Я заявляю: наш договор (настоящим) расторгается», «Увольняю вас», «Объявляю

<sup>1</sup>Дж.Р.Серль формулирует следующие три условия, удовлетворение которых необходимо для того, чтобы речевой акт предписания (приказания) состоялся: «К подготовительным условиям относится такое положение говорящего, при котором слушающий находится в его власти, условие искренности состоит в том, что говорящий желает, чтобы требуемое действие было совершено, а существенное условие должно отражать тот факт, что произнесение высказывания является попыткой побудить слушающего совершить это действие» (*Серль Дж.Р. Что такое речевой акт? — С. 168*).

<sup>2</sup>«Образцовыми глаголами для экспрессивов, — пишет Дж.Серль, — являются: "благодарить", "поздравлять", "извиняться", "сочувствовать", "сожалеть", "приветствовать"... Производя экспрессивный акт, говорящий не пытается "приспособить" ни реальность к словам, ни слова к реальности, скорее при этом предполагается истинность выражаемого суждения. Так, например, когда я извиняюсь за то, что наступил вам на ногу, в мою цель не входит ни сообщить о том, что я наступил вам на ногу, ни сделать так, чтобы на вашу ногу наступили» (*Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов. — С. 183*).

военное положение», «Отлучаю вас», «Объявляю вас мужем и женой» и т.п. Такие выражения назовем *декларациями* (Серль). Декларации выполняют специфическую функцию: они меняют существовавшее до их произнесения положение вещей. Если я успешно осуществляю акт назначения вас председателем, вы становитесь председателем, а до этого акта вы не были им; если я успешно выполняю акт производства вас в генералы, в мире сразу же становится одним генералом больше, и т.д. Когда футбольный арбитр говорит: «Вы удаляетесь с поля», вы оказываетесь вне игры, и она, по всей очевидности, меняется.

Дж.Серль отмечает, что декларации всегда связаны «с некоторым внеязыковым установлением, — с системой конституирующих правил, в дополнение к конституирующим правилам языка, что обеспечивает успешное осуществление декларации. Владения теми правилами, которые составляют языковую компетенцию говорящего и слушающего, еще недостаточно, вообще говоря, для осуществления акта декларирования. Дополнительно к этому должно существовать внеязыковое установление, в котором говорящий и слушающий должны занимать соответствующие социальные положения. Именно при наличии таких установлений, как церковь, закон, частная собственность, государство, и конкретного положения говорящего и слушающего в их рамках, можно, соответственно, отлучать от церкви, назначать на пост, передавать и завещать имущество, объявлять войну. Единственное исключение из этого принципа составляют те случаи декларирования, которые затрагивают сам язык, — например, когда говорят: «Я определяю, сокращенно обозначаю, называю, именую, даю прозвище»<sup>1</sup>.

Декларации не описывают некоторое существующее положение дел. В отличие от норм они не направлены на то, чтобы кто-либо в будущем создал предписываемое положение вещей. Декларации непосредственно меняют мир, и делают это самим фактом своего произнесения. Очевидно, что декларации не являются истинными или ложными. Но они, подобно нормам, могут быть обоснованными или необоснованными (я могу назначить кого-то председателем, если у меня есть право сделать это), способствующими достижению каких-то целей или нет и т.п.

«Некоторые элементы класса деклараций являются одновременно и членами класса репрезентативов [описаний], — полагает Дж.Серль. — Это происходит оттого, что в определенных ситуациях в рамках некоторых установлений для того, чтобы удостоверить факты, необходимо наличие авторитета, который ре-

<sup>1</sup>Там же. — С. 186.

шил бы, каковы факты на самом деле (после того как проведена процедура обнаружения фактов). Так, спор когда-то должен быть завершен и привести к решению — вот почему существуют судьи и арбитры. И судьи, и арбитры делают утверждения о фактах типа: «Вы вне игры», «Вы виновны». Такие утверждения явно лежат в плоскости соотношения слова и реальности. Был ли игрок в действительности осален мячом вне базы (в бейсболе)? Действительно ли человек совершил преступление? Оба вопроса относятся к измерению «слова—реальность». Но в то же время оба высказывания обладают силой деклараций. Если спортивный арбитр объявляет вас вне игры (и отклоняет апелляцию), то в рамках игры в бейсбол вы — вне игры, вне зависимости от фактического положения дел; и если судья объявляет вас виновным (после апелляции), то в рамках юридических установлений вы виноваты»<sup>1</sup>. В этом Серль не видит ничего таинственного. Социальные установления имеют свойство, что обычно требуют, чтобы были совершены определенные речевые акты (со стороны авторитетов различного рода) и чтобы эти акты обладали силой деклараций. Некоторые установления требуют, чтобы были сделаны заявления, являющиеся описаниями и в то же время имеющие силу декларации: тогда только спор относительно какого-либо вопроса завершается на определенном этапе обсуждения, после чего могут быть осуществлены последующие действия, связанные с принятым решением и невозможные до прояснения фактической стороны дела. И тогда обвиняемый освобождается или препровождается за решетку, боковой игрок направляется на скамью штрафников, гол засчитывается и т.п.

Такие случаи Серль называет «репрезентативами-декларациями». Однако вряд ли его идея, что существуют декларации, одновременно являющиеся описаниями, верна. Вряд ли верна и связанная с нею идея, что декларации на самом деле не столько изменяют мир, «приспосабливая» его к сказанному (к своему содержанию), сколько пытаются «приспособить» язык к реальности. За обеими этими идеями стоит неточный анализ определенных языковых выражений. Выражения типа «Вы вне игры», «Вы виновны» и т.п. являются не «описаниями-декларациями», а сокращенными, афористичными формулировками сложных высказываний, составленных из двух простых высказываний. Одно из этих простых высказываний представляет собой о п и с а н и е обстоятельств, делающих возможным последующее решение. Второе высказывание является уже собственно д е к л а р а ц и е й. «Вы вне игры» есть сокращенная версия конъюнкции двух высказываний: описания «Ваше положение на игровом поле было таково, что по правилам игры оно оценивается как положение «вне игры» и опирающейся на это описание декларации «Объявляю вас теперь нарушившим правило не находиться «вне игры» со всеми вытекающими из этого последствиями». Если в результате апелляции будет показано, что описательное высказывание является ложным, то тем самым будет устранена объективная предпосылка для опирающейся на него декларации, но не сама эта декларация. Для отмены декларации нужна новая декларация, а не описательное высказывание о ложности определенного другого описания.

Таким образом, нет веских оснований считать, что классы описаний и деклараций пересекаются. Примеры, разбираемые Серлем, показывают лишь, что имеются предложения, одновременно выражающие два разных утверждения. Одно из этих утверждений — описание, второе — декларация. О том, что это разные утверждения, говорит уже то, что описательное утверж-

<sup>1</sup>Там же. — С. 187.

дение относится к ситуации до объявления решения, а декларация следует за этой ситуацией. Описательное утверждение является, как и все описания, истинным или ложным. Декларация же явно стоит вне оппозиции «истина — ложь». Об этом выразительно говорит тот факт, что для лишения декларации ее силы нужно не простое исследование предшествовавших ей фактических обстоятельств, а новое решение — декларация более высокого авторитета.

Язык может использоваться, далее, для *обещаний*, т.е. для того, чтобы *возложить на говорящего обязательство совершить некоторое будущее действие или придерживаться определенной линии поведения*. Обещаниями, являются, к примеру, выражения: «Обещаю вести себя примерно», «Клянусь говорить правду и только правду», «Буду всегда вежлив» и т.п. Обещания можно истолковать как просьбы к самому себе, т.е. как нормы, адресованные говорящим самому себе и в чем-то предопределяющие его поведение в будущем. Как и все нормы, обещания не являются истинными или ложными. Они могут быть обдуманными или поспешными, целесообразными или нецелесообразными и т.п.

Язык может использоваться, наконец, для *оценок*, т.е. для *выражения положительного, отрицательного или нейтрального отношения к рассматриваемому объекту или, если сопоставляются два объекта, для выражения предпочтения одного из них другому или утверждения равноценности их друг другу*. Оценками являются, к примеру, высказывания: «Хорошо, что погас свет», «Плохо, когда кто-то опаздывает», «Лучше прийти раньше, чем опоздать» и т.п. Об оценках подробно говорится в дальнейшем, здесь же отметим только, что оценки столь же фундаментальны и ни к чему не сводимы, как и описания. В отличие от описаний они не являются истинными или ложными, но могут быть глубокими или поверхностными, общепринятыми или нет, эффективными или нет и т.п.

Таким образом, можно выделить *ш е с т ь* разных употреблений (функций) языка: *сообщение о положении дел* (описание), *попытка заставить сделать* (норма), *выражение чувств* (экспрессив), *изменение мира словом* (декларация), *принятие обязательства что-то сделать* (обещание) и *выражение позитивного или негативного отношения к чему-то* (оценка).

Как это ни странно, ни Дж.Остин, ни Дж.Серль, ни их последователи не выделяют оценочное употребление языка в качестве самостоятельного. Они даже не предпринимают попыток проанализировать оценки как особый класс речевых актов.

Объяснение этой странности, скорее всего, в двух обстоятельствах. Во-первых, многие высказывания обычного языка, кажущиеся по своей грамматической форме оценками (т.е. содержащие слова «хорошо», «плохо», «лучше», «хуже», «должен быть» и т.п.), на самом деле являются не оценками, а описаниями. Существуют также двойственные, описательно-оценочные высказывания, подобные моральным принципам или законам науки: в одном контексте они играют роль оценок, в другом — роль описаний. Все это затрудняет проведение различия между описанием и оценкой. Во-вторых, противопоставление описаний оценкам как объективного (или претендующего на объективность) чему-то заведомо субъективному и ненадежному имеет долгую историю. Оно никогда не отличалось ясностью, но всегда было назойливым и агрессивным и существенно огрубляло богатое нюансами употребление обычного языка. И Остин, и Серль резко высказывались против дихотомии «описательное — оценочное» («истина — ценность») как чересчур грубой и прямолинейной<sup>1</sup>, и в результате просто упустили оценки.

Указанные два обстоятельства затрудняют анализ оценочного употребления языка, но никоим образом не делают его лишним. Оценки не сводятся ни к одному из других употреблений, более того, они, наряду с описаниями, являются теми двумя полюсами, к которым тяготеют все иные употребления языка. Что касается оппозиции «описательное — оценочное», то ее вполне можно освободить от всех тех складывавшихся десятилетиями наслоений, которые искажают ее суть и сводят ее к прямолинейно истолкованной оппозиции «объективное — субъективное».

<sup>1</sup>Остин прямо выражает сомнение, что оценку и факт (описание фактического положения дел) вообще можно отличить друг от друга (*Остин Дж.Л.* Слово как действие. — С. 121).

<b>Глава 2. Эмпирическая аргументация</b> .....	27
1. Прямое подтверждение .....	—
2. Подтверждение следствий .....	35
3. Факты как примеры .....	42
4. Факты как иллюстрации .....	50

## Глава 2

# ЭМПИРИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

### 1. Прямое подтверждение

Все многообразные виды аргументации можно разделить на *эмпирические* и *теоретические*.

*Эмпирическая аргументация* — это аргументация, неотъемлемым элементом которой является ссылка на опыт, на эмпирические данные.

*Теоретическая аргументация* — аргументация, опирающаяся на рассуждение и не пользующаяся непосредственно ссылками на опыт.

Различие между эмпирической и теоретической аргументацией является, конечно, относительным, как относительна сама граница между эмпирическим и теоретическим знанием. Нередки случаи, когда в одном и том же процессе аргументации соединяются вместе и ссылки на опыт, и теоретические рассуждения.

Ядро приемов эмпирической аргументации составляют *способы эмпирического обоснования знания*, называемые также (эмпирическим) *подтверждением*, или *верификацией* (от лат. *veris* — истинный и *facere* — делать).

Эмпирическая аргументация не сводится однако к подтверждению. В процессе аргументации эмпирические данные могут использоваться не только в качестве подтверждения. Так, примеры и иллюстрации, играющие обычно заметную роль в аргументации, не относятся к приемлемым способам эмпирического подтверждения. Кроме того, в аргументации ссылки на опыт могут быть и заведомо недобросовестными, что исключается самим смыслом понятия подтверждения.

И эмпирическая аргументация, и ее частный случай — эмпирическое подтверждение — применимы, строго говоря, только для описательных утверждений. Декларации, клятвы, предостережения, решения, идеалы, нормы и иные выражения, тяготеющие к оценкам, не допускают эмпирического подтверждения и обосновываются иначе, чем ссылками на опыт. В случае таких выражений неуместна и эмпирическая аргументация вообще. Ее использование с намерением убедить кого-то в при-



емлемости определенных решений, норм, идеалов и т.п. должно быть отнесено к **н е к о р р е к т н ы м** приемам аргументации.

Подтверждение может быть *прямым*, или *непосредственным*, и *косвенным*.

*Прямое подтверждение — это непосредственное наблюдение тех явлений, о которых говорится в обосновываемом утверждении.*

*При косвенном подтверждении речь идет о подтверждении логических следствий обосновываемого утверждения, а не о прямом подтверждении самого утверждения.*

Хорошим примером прямого подтверждения служит доказательство гипотезы о существовании планеты Нептун: вскоре после выдвижения гипотезы эту планету удалось увидеть в телескоп.

Французский астроном Ж.Леверье, изучая возмущения в орбите Урана, теоретически предсказал существование Нептуна и указал, куда надо направить телескопы, чтобы увидеть новую планету. Когда самому Леверье предложили посмотреть в телескоп, чтобы убедиться, что найденная на «кончике пера» планета существует, он отказался: «Это меня не интересует, я и так точно знаю, что Нептун находится именно там, где и должен находиться, судя по вычислениям».

Это была, конечно, неоправданная самоуверенность. Как бы ни были точны вычисления Леверье, до момента непосредственного наблюдения утверждение о существовании Нептуна оставалось пусть высоковероятным, но только предположением, а не достоверным фактом. Могло оказаться, что возмущения в орбите Урана вызываются не неизвестной пока планетой, а какими-то иными факторами. Именно так и оказалось при исследовании возмущений в орбите другой планеты — Меркурия.

Иногда для прямого подтверждения какого-то утверждения требуется его «расшифровка» или «перевод». Если, к примеру, кто-то сказал: «*She is tall and nice-looking*», мы, не зная английского языка, не можем сказать, истинно это предложение или нет. После перевода («Она высокая и привлекательная») мы способны, конечно, определить, соответствует это действительности или нет.

Чувственный опыт человека — его ощущения и восприятия — источник знания, связывающий его с миром. Обоснование путем ссылки на опыт дает уверенность в истинности таких утверждений, как «Эта роза красная», «Холодно», «Стрелка вольтметра стоит на отметке 17» и т.п.

Нетрудно, однако, заметить, что даже в таких простых констатациях нет «чистого» чувственного созерцания. У человека оно всегда пронизано мышлением, без понятий и без примеси рассуждения он не способен выразить даже самые простые свои наблюдения, зафиксировать самые очевидные факты.

Мы говорим, например, «Этот дом голубой», когда видим дом при нормальном освещении и наши чувства не расстроены. Но

мы скажем «Этот дом кажется голубым», если мало света или мы сомневаемся в нашей способности наблюдения. К восприятию, к чувственным данным мы примешиваем определенное теоретическое представление о том, какими видятся предметы в обычных условиях и каковы эти предметы в других обстоятельствах, когда наши чувства способны нас обмануть. «Даже наш опыт, получаемый из экспериментов и наблюдений, — пишет К.Поппер, — не состоит из “данных”. Скорее он состоит из сплетения догадок-предположений, ожиданий, гипотез и т.п., — с которыми связаны принятые нами традиционные научные и ненаучные знания и предрассудки. Такого явления как *чистый* опыт, полученный в результате эксперимента или наблюдения, просто не существует. Нет опыта, не содержащего соответствующих ожиданий и теорий. Нет никаких чистых “данных” и эмпирически данных “источников знания”, на которые мы могли бы опереться при проведении нашей критики»<sup>1</sup>.

Поппер приводит интересные примеры существенной предопределенности опыта задачей, стоящей перед исследователем, принятой им точкой зрения или теорией: «...Вера в то, что мы можем начать научное исследование с одних чистых наблюдений, не имея чего-то похожего на теорию, является абсурдной. Справедливость этого утверждения можно проиллюстрировать на примере человека, который всю свою жизнь посвятил науке, описывая каждую вещь, попадавшуюся ему на глаза, и завещал свое бесценное собрание наблюдений Королевскому обществу для использования в качестве индуктивных данных. Этот пример хорошо показывает, что, хотя вещи иногда копить полезно, наблюдения копить нельзя.

...Я пытался внушить эту мысль группе студентов-физиков в Вене, начав свою лекцию словами: “Возьмите карандаш и бумагу, внимательно наблюдайте и описывайте ваши наблюдения!”. Они спросили, конечно, *что именно* они должны наблюдать. Ясно, что простая инструкция “Наблюдайте!” является абсурдной»<sup>2</sup>.

Наблюдение всегда имеет избирательный характер. Из множества объектов должен быть выбран один или немногие, должна быть сформулирована проблема или задача, ради решения которой осуществляется наблюдение. Описание результатов наблюдения предполагает использование соответствующего языка, и значит, все те сходства и классификации, которые заложены в этом языке.

Опыт, начиная с самого простого обыденного наблюдения и кончая сложным научным экспериментом, всегда имеет теоретическую составляющую и в этом смысле не является «чистым». На нем сказываются те теоретические ожидания, которые он призван подтвердить или опровергнуть, тот язык, в тер-

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. Избранные работы. — М., 1983. — С. 405.

<sup>2</sup>Там же. — С. 260—261.

минах которого фиксируются его результаты, и та постоянно присутствующая интерпретация видимого, слышимого и т.д., без которой человек не способен видеть, слышать и т.д. «...Даже наблюдения и сообщения о наблюдениях, — пишет Поппер, — находятся под властью теорий или, если предпочесть другой термин, под влиянием концептуального каркаса. Действительно, неинтерпретированных наблюдений, наблюдений, не пропитанных теорией, вообще не существует. На самом деле даже наши глаза и уши являются результатом эволюционных приспособлений, то есть метода проб и ошибок, соответствующего методу предположений и опровержений. Оба эти метода заключаются в приспособлении к закономерностям окружающей среды»<sup>1</sup>.

Можно отметить, что идея «теоретической нагруженности» опыта, столь популярная в современной методологии науки, стала складываться еще в начале этого века. В частности, О.Шпенглер писал, что «всякий научный опыт, каким бы он ни был, является ко всему прочему еще и свидетельством *способов* символического представления. Все словесно зафиксированные законы суть живые, одушевленные распорядки, исполненные самого сокровенного содержания какой-то одной, и притом только этой, культуры»<sup>2</sup>. Шпенглер склонен был считать, что научный и повседневный опыт не только содержит в себе теоретическую составляющую, связанную с его интерпретацией и выражением в языке, но всегда является выражением своеобразной и целостной культуры своего времени. «Всякий факт, даже простейший, — писал он, — уже содержит в себе теорию. Факт — это единственное в своем роде впечатление, испытываемое бодрствующим существом, и все зависит от того, для кого он существует или существовал: для античного ли человека или западного, для человека готики или барокко»<sup>3</sup>. К примеру, молния производит совершенно разное впечатление на воробья и на наблюдающего за ней естествоиспытателя, сходным образом она по-разному воспринималась людьми разных исторических эпох. «Нынешний физик слишком легко забывает, что уже сами слова типа “величина”, “положение”, “процесс”, “изменение состояния”, “тело” выражают специфические западные картины с уже не поддающимся словесной фиксации семантическим ощущением, которое совершенно чуждо античному или арабскому мышлению и чувствованию, но которое в полной мере определяет характер научных фактов как таковых, самый способ их познания, не говоря уже о столь запутанных

<sup>1</sup>Там же. — С. 588—589. «При более тщательном анализе мы обнаружим, — пишет П.Фейерабенд, — что наука вообще не знает “голых фактов”, а те “факты”, которые включены в наше познание, уже рассмотрены определенным образом и, следовательно, существенно концептуализированы» (Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М., 1986. — С. 149).

<sup>2</sup>Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. — М., 1993. — С. 569.

«Самое высокое было бы понять, — заметил как-то Гете, — что все фактическое есть уже теория» (Goethe I. Naturwissenschaftliche Schriften. — Bd.5.-Leipzig, 1923. — S. 376). Эта мысль была, однако, нетипична для эпистемологии Нового времени, видевшей в опыте и «фактах» незыблемую и не зависящую от каких-либо теоретических соображений основу человеческого знания.

<sup>3</sup>Шпенглер О. Закат Европы. — С. 376.

понятиях, как “работа”, “напряжение”, “квант действия”, “количество теплоты”, “вероятность”, каждое из которых само по себе содержит настоящий *миф* о природе. Мы воспринимаем подобные мысленные образования как результат свободного от предрассудков исследования, а при случае и как окончательный результат. Какой-нибудь утонченный ум времен Архимеда, по основательном штудировании новейшей теоретической физики, клятвенно заверил бы, что ему непонятно, как мог бы кто-либо считать наукой столь произвольные, гротескные и путаные представления, да к тому же еще и выдавать их за необходимые следствия, вытекающие из предлежащих фактов. Научно оправданными следствиями были бы скорее... и тут на основании тех же “фактов”, то есть фактов, увиденных его глазами и сложившихся в его уме, он, со своей стороны, развил бы теории, к которым наши физики прислушались бы с удивленной улыбкой»<sup>1</sup>.

«Теоретическая нагруженность» фактов особенно наглядно проявляется в современной физике, исследующей объекты, не наблюдаемые непосредственно, и широко использующей для их описания математический аппарат. Истолкование фактов, относящихся к таким объектам, представляет собой самостоятельную и иногда весьма сложную проблему.

Интересный пример на эту тему приводит в своих воспоминаниях В.Гейзенберг. Обсуждая с Н.Бором эксперименты, относящиеся к квантовой механике, они останавливались в недоумении перед вопросом, как можно было бы привести в согласие с формулами квантовой и волновой механики такой простой феномен, как траектория электрона в камере Вильсона. Эта траектория существовала, ее можно было наблюдать. Однако в квантовой механике понятие траектории вообще не упоминалось, а в волновой механике траектория должна была выглядеть совершенно иначе. «...В один из вечеров случилось так, — пишет Гейзенберг, — что я внезапно подумал о моем разговоре с Эйнштейном и вспомнил его выражение: “Только теория решает, что можно наблюдать”. Мне тут же стало ясно, что ключ к столь долго не отпиравшейся двери нужно искать в этой точке. ...В самом деле, мы всегда бездумно говорили, что траекторию электрона в камере Вильсона можно пронаблюдать. Однако возможно, что реально наблюдалось нечто иное. Возможно, наблюдались лишь дискретные следы неточно определенных местоположений электрона. Ведь фактически мы видим лишь отдельные капельки воды в камере, которые заведомо намного протяженнее, чем электрон. Правильно поставленный вопрос поэтому должен был гласить: можно ли в квантовой механике отразить ситуацию, при которой электрон приблизительно — то есть с известной неточностью — нахо-

<sup>1</sup>Там же. — С. 569—570.

Из правильных наблюдений о зависимости фактов от теоретических представлений соответствующей эпохи и в конечном счете от ее культуры, Шпенглер делает, однако, неожиданный и неоправданный вывод, что в основе всякого знания о природе, пусть даже самого точного, лежит религиозная вера и что не существует естествознания без предшествовавшей ему религии. «В этом пункте исчезает всякое различие между католическим и материалистическим природовоззрениями: оба они говорят одно и то же разными словами. Атеистическое исследование природы также имеет религию; современная механика в каждой своей детали есть слепок религиозного созерцания». (Там же. — С. 571). В основе этого странного заключения о религии как необходимой предпосылке науки лежит, очевидно, расширительное понимание религиозной веры.

дится в определенном месте и при этом приблизительно — то есть опять-таки с известной неточностью — обладает заранее данной скоростью, и можно ли сделать эту неточность настолько малой, чтобы не возникли расхождения с экспериментальными данными?»<sup>1</sup>. Краткие вычисления подтвердили, что подобные ситуации можно представить математически и что неточности охватываются теми соотношениями, которые позднее были названы соотношениями неопределенности квантовой механики. Тем самым, была наконец установлена связь между наблюдениями в камере Вильсона и математическими формулами квантовой механики. Далее нужно было доказать, что при любом эксперименте могут возникнуть лишь ситуации, удовлетворяющие этим соображениям неопределенности. Но, продолжает Гейзенберг, «это мне заранее казалось вероятным, потому что сами по себе эксперимент, наблюдение должны удовлетворять законам квантовой механики. Поэтому когда мы предпосылаем эксперименту отвечающие этим законам соотношения неопределенности, из эксперимента вряд ли могут вытекать ситуации, не охватываемые квантовой механикой. «Ибо только теория решает, что можно наблюдать»<sup>2</sup>.

Обычно географические открытия представляются «чистыми» наблюдениями островов, морей, горных вершин и т.п. Но можно заметить, что и географическое наблюдение имеет тенденцию направляться теорией, требует истолкования в терминах этой теории. Колумб исходил из идеи шарообразности Земли и, держа постоянный курс на запад, приплыл к берегам Америки. Он не считал, однако, что им открыт новый, неизвестный европейцам материк. Руководствуясь своими теоретическими представлениями, Колумб полагал, что им найден только более короткий и простой путь в уже известную Вест-Индию. Географические исследования Франклина, Нансена, Вегенера, экспедиции Хейердала предпринимались с целью проверки определенных теорий и результаты этих экспедиций истолковывались в соответствии с этими теориями.

Таким образом, непровержимость чувственного опыта, фактов является относительной. Нередки случаи, когда факты, представляющиеся поначалу достоверными, при их теоретическом переосмыслении пересматривались, уточнялись, а то и вовсе отбрасывались. На это обращал внимание К.А.Тимирязев. «Иногда говорят, — писал он, — что гипотеза должна быть в согласии со всеми известными фактами; правильнее было бы сказать — или быть в состоянии обнаружить несостоятельность того, что неверно признается за факты и находится в противоречии с нею»<sup>3</sup>.

Кажется, например, несомненным, что если между экраном и точечным источником света поместить непрозрачный диск, то на экране образуется сплош-

<sup>1</sup>Гейзенберг В. Часть и целое// Проблема объекта в современной науке. — М., 1980. — С. 78.

<sup>2</sup>Там же. — С. 79.

<sup>3</sup>Тимирязев К.А. Жизнь растений. — М., 1957. — С. 9.

ной темный круг тени, отбрасываемый этим диском. Во всяком случае в начале прошлого века это представлялось очевидным фактом. Французский физик О. Френель выдвинул гипотезу, что свет — не поток частиц, а движение волн. Из гипотезы следовало, что в центре тени должно быть небольшое светлое пятно, поскольку волны, в отличие от частиц, способны огибать края диска. Получалось явное противоречие между гипотезой и фактом. В дальнейшем более тщательно поставленные опыты показали, что в центре тени действительно образуется светлое пятно. В итоге отброшенной оказалась не гипотеза Френеля, а казавшийся очевидным факт.

Особенно сложно обстоит дело с фактами в науках о человеке и обществе. Проблема не только в том, что некоторые факты могут оказаться сомнительными, а то и просто несостоятельными. Она еще и в том, что полное значение факта и его конкретный смысл могут быть поняты только в определенном теоретическом контексте, при рассмотрении факта с какой-то общей точки зрения. Эту особую зависимость фактов гуманитарных наук от теорий, в рамках которых они устанавливаются и интерпретируются, не раз подчеркивал русский философ А.Ф. Лосев. В частности, он писал, что факты всегда случайны, неожиданны, текучи и ненадежны, часто непонятны. Поэтому волею-неволей приходится иметь дело не только с фактами, но еще более того с теми общностями, без которых нельзя понять и самих фактов.

Чувственный опыт, являющийся конечным источником и критерием знания, сам не однозначен, содержит компоненты теоретического знания, и потому нуждается в правильном истолковании, а иногда и в особом обосновании. Опыт не обладает абсолютным, неопровержимым статусом, он может по-разному интерпретироваться и даже пересматриваться.

Ссылаясь на это обстоятельство, иногда говорят, что не только теоретическое знание по своей природе гипотетично и никогда не станет абсолютно надежным, но и те эмпирические данные, что лежат в его основании, также гипотетичны и периодически требуют пересмотра и нового подтверждения.

В частности, К. Поппер пишет, что «опыт, особенно научный опыт, можно представить как результат обычно ошибочных догадок, их проверки и обучения на основе наших ошибок. Опыт в таком смысле не является «источником знания» и не обладает каким-либо авторитетом»<sup>1</sup>. Отсюда Поппер делает естественный вывод, что критика научных и иных теорий и гипотез, опирающаяся на опыт, не имеет «авторитетного значения». Суть критики не в сопоставлении сомнительных теоретических ре-

---

<sup>1</sup> Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 406.

зультатов с твердо установленными данными, какими могли бы считаться свидетельства наших чувств. «Такая критика скорее заключается в сравнении некоторых сомнительных результатов с другими, зачастую столь же сомнительными, которые могут, однако, для нужд данного момента быть принятыми за достоверные. Вместе с тем в какое-то время эти последние также могут быть подвергнуты критике, как только возникнут какие-либо сомнения в их достоверности или появится какое-то представление или предположение. Например, то, что определенный эксперимент может привести к новому открытию»<sup>1</sup>.

Позиция, когда опыт и опирающаяся на него теоретическая конструкция, представляются в равной мере сомнительными, не кажется достаточно обоснованной. Эмпирические данные, факты обладают, как правило, гораздо больше устойчивостью, чем опирающиеся на них теории. Все теории, даже представляющиеся сейчас вполне надежными, гипотетичны: со временем они будут пересмотрены и на смену им придут другие, более совершенные теории. Иначе обстоит дело с фактами. Пересмотр обобщающей их теории не означает автоматически ревизии лежащих в ее основании фактов. Они могут истолковываться по-новому, но их основное содержание остается неизменным. Вода закипает в обычных условиях при  $100^{\circ}\text{C}$ ; свинец плавится при  $322^{\circ}\text{C}$  — эти фактические утверждения принимались теорией теплоты как особого вещества — флогистона; они оставались верными в корпускулярной теории теплоты и не подвергаются сомнению современной, квантово-механической теорией теплоты. Сходным образом обстоит дело и с эмпирическими законами, непосредственно опирающимися на опыт. Они более устойчивы, чем включающие и объясняющие их теории: новая теория так или иначе включает их, наряду с хорошо проверенными фактами, в свой состав<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Там же.

<sup>2</sup>Интересно отметить, что сам Поппер когда-то придерживался мнения, что факты и хорошо подтвержденные эмпирические законы более устойчивы, чем те теории, в которые они входят: «...Еще никогда теория не считалась фальсифицированной благодаря внезапному нарушению хорошо подтвержденного закона. Никогда не случалось так, чтобы старые эксперименты давали новые результаты. Бывали лишь ситуации, когда новые эксперименты выступали против старой теории. Даже если старая теория превзойдена, она часто сохраняет свое значение как некоторый предельный случай новой теории; она все еще применяется с высокой степенью точности, по крайней мере в тех случаях, в которых она успешно применялась ранее. Короче говоря, закономерности, непосредственно проверяемые экспериментом, не изменяются. Конечно, их изменение мыслимо или логически возможно, однако эта возможность не учиты-

Прямое подтверждение возможно лишь в случае утверждений о единичных объектах или ограниченных их совокупностях. Теоретические же положения обычно касаются неограниченных множеств вещей. Факты, используемые при таком подтверждении, далеко не всегда надежны и во многом зависят от общих, теоретических соображений. Нет ничего странного поэтому, что сфера приложения прямого наблюдения является довольно узкой.

Широко распространено суждение, что в аргументации, в обосновании и опровержении утверждений главную и решающую роль играют факты, непосредственное наблюдение исследуемых объектов. Это убеждение нуждается в существенном уточнении. Использование верных и неоспоримых фактов — надежный и успешный способ обоснования. Противопоставление таких фактов ложным или сомнительным положениям — хороший метод опровержения. Действительное явление, событие, не согласующееся со следствиями какого-то универсального положения, опровергает не только эти следствия, но и само положение. Факты, как известно, упрямая вещь. При подтверждении утверждений, относящихся к ограниченному кругу объектов, и опровержении ошибочных, оторванных от реальности, спекулятивных конструкций «упрямство фактов» проявляется особенно ярко.

И тем не менее факты, даже в этом узком своем применении, не обладают абсолютной «твердостью». Они не составляют, даже взятые в совокупности, совершенно надежного, незыблемого фундамента для опирающегося на них знания. Факты значат много, но далеко не все.

## 2. Подтверждение следствий

В науке, да и не только в ней, непосредственное наблюдение того, о чем говорится в проверяемом утверждении, редкость. Обычно эмпирическое подтверждение является индуктивным подтверждением, а эмпирическая аргументация имеет форму индуктивного умозаключения.

В зависимости от того, имеется ли в умозаключении связь логического следования между его посылками и заключением, различаются два вида умозаключений: *дедуктивные* и *индуктивные*.

---

вается эмпирической наукой и не влияет на ее методы. Напротив, научный метод предполагает неизменность естественных процессов, или «принцип единообразия природы». (Там же. — С. 193—194.)



*В дедуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается на закон логики, в силу чего заключение с логической необходимостью вытекает (логически следует) из посылок. Такое умозаключение всегда ведет от истинных посылок к истинному заключению.*

*В индуктивном умозаключении посылки и заключение не связаны между собой законом логики и заключение не следует логически из посылок. Достоверность посылок не гарантирует достоверности выводимого из них индуктивно заключения. Оно вытекает из посылок не с необходимостью, а лишь с некоторой вероятностью.*

Понятие дедукции (дедуктивного умозаключения) не является, как будет показано в дальнейшем, вполне ясным. Индукция (индуктивное умозаключение) определяется, в сущности, как «недедукция» и представляет собой еще менее ясное понятие. Можно тем не менее указать относительно определенное «ядро» индуктивных способов рассуждения. В него входят, в частности, неполная индукция, индуктивные методы установления причинных связей, аналогия, так называемые «перевернутые» законы логики и др.

Неполная индукция представляет собой рассуждение, имеющее следующую структуру:

$$\begin{array}{l} S_1 \text{ есть } P, \\ S_2 \text{ есть } P, \\ \dots\dots\dots \\ S_n \text{ есть } P, \\ \hline \text{Все } S_1, S_2, \dots, S_n \text{ есть } S. \\ \hline \text{Все } S \text{ есть } P. \end{array}$$

Посылки данного рассуждения говорят о том, что предметам  $S_1, S_2, \dots, S_n$ , не исчерпывающим всех предметов класса  $S$ , присущ признак  $P$ , и что все перечисленные предметы  $S_1, S_2, \dots, S_n$  принадлежат классу  $S$ . В заключении утверждается, что все  $S$  имеют признак  $P$  (горизонтальная черта стоит вместо слова «следовательно»).

Например:

$$\begin{array}{l} \text{Железо ковко.} \\ \text{Золото ковко.} \\ \text{Свинец ковок.} \\ \text{Железо, золото и свинец — металлы.} \\ \hline \text{Все металлы ковки.} \end{array}$$

Здесь из знания лишь некоторых предметов класса металлов делается общий вывод, относящийся ко всем предметам этого класса.

Убедительность индуктивных обобщений зависит от числа приводимых в подтверждение случаев. Чем обширнее база индукции, тем более правдоподобным является индуктивное заключение.

ние. Но иногда и при достаточно большом числе подтверждений индуктивное обобщение оказывается все-таки ошибочным.

Возьмем пример:

Алюминий — твердое тело.

Железо, медь, цинк, серебро, платина, золото, никель, барий, калий, свинец — твердые тела.

Алюминий, железо, медь, цинк, серебро, платина, золото, никель, барий, калий, свинец — металлы.

---

Все металлы — твердые тела.

Все посылки этого умозаключения истинны, но его общее заключение ложно, поскольку ртуть — единственный из металлов — жидкость.

*Поспешное обобщение*, т.е. обобщение без достаточных на то оснований — обычная ошибка в индуктивных умозаключениях и, соответственно, в эмпирической аргументации. Индуктивные обобщения всегда требуют известной осмотрительности и осторожности. Их убедительная сила невелика, особенно если база индукции незначительна («Софокл — драматург; Шекспир — драматург; Софокл и Шекспир — люди; следовательно, каждый человек — драматург»).

Высказывалось предположение, что к схемам индуктивного умозаключения могут быть отнесены все «перевернутые» законы логики. Под «перевернутыми» законами имеются в виду формулы, получаемые из имеющих форму импликации (условного утверждения) законов логики путем перемены мест основания и следствия. К примеру, поскольку выражение «Если  $A$  и  $B$ , то  $A$ » есть закон логики, то выражение «Если  $A$ , то  $A$  и  $B$ » есть схема индуктивного умозаключения. Аналогично для «Если  $A$ , то  $A$  или  $B$ » и «Если  $A$  или  $B$ , то  $A$ » и т.п. Сходно для законов модальной логики: поскольку выражения «Если  $A$ , то возможно  $A$ » и «Если необходимо  $A$ , то  $A$ » — законы логики, выражения «Если возможно  $A$ , то  $A$ » и «Если  $A$ , то необходимо  $A$ », являются схемами индуктивного рассуждения, и т.п. Законов логики бесконечно много. Это означает, что и схем индуктивного рассуждения (индуктивной аргументации) бесконечное число.

Предположение, что «перевернутые» законы логики представляют собой схемы индуктивного рассуждения, наталкивается на серьезные возражения: некоторые «перевернутые» законы остаются законами дедуктивной логики; ряд «перевернутых» законов, при истолковании их как схем индукции, звучит весьма парадоксально. «Перевернутые» законы логики не исчерпывают, конечно, всех возможных схем индукции.

Наиболее важным и вместе с тем универсальным способом индуктивного подтверждения является *выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая опытная проверка*. Подтверждение следствий оценивается при этом как свидетельство в пользу истинности самого положения.

Вот два примера такого подтверждения.

Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит. Подобным камнем ясного мышления является умение передать свои знания кому-то другому, возможно, далекому от обсуждаемого предмета. Если человек обладает таким умением и его речь ясна

и убедительна, это можно считать подтверждением того, что его мышление является ясным.

Известно, что сильно охлажденный предмет в теплом помещении покрывается капельками росы. Если мы видим, что у человека, вошедшего в дом, запотели очки, мы можем с достаточной уверенностью заключить, что на улице морозно.

В каждом примере рассуждение идет по схеме: «Из первого вытекает второе; второе истинно; значит, первое также является, по всей вероятности, истинным» («Если на улице мороз, у человека, вошедшего в дом, очки запотеют; очки и в самом деле запотели; значит, на улице мороз»).

Однако истинность посылок не гарантирует здесь истинности заключения. Из посылок «если есть первое, то есть второе» и «есть второе» заключение «есть первое» вытекает только с некоторой вероятностью (например, человек, у которого в теплом помещении запотели очки, мог специально охладить их, скажем, в холодильнике, чтобы затем внушить нам, будто на улице сильный мороз).

Выведение следствий и их подтверждение, взятое само по себе, никогда не в состоянии установить справедливость обосновываемого положения. Подтверждение следствия только повышает его вероятность. Но ясно, что далеко не безразлично, является выдвинутое положение маловероятным или же оно высоко правдоподобно.

Чем большее число следствий нашло подтверждение, тем выше вероятность проверяемого утверждения. Отсюда рекомендация — *выводить из выдвигаемых и требующих надежного фундамента положений как можно больше логических следствий с целью их проверки.*

Значение имеет не только количество следствий, но и их характер. Чем более *неожиданные следствия* какого-то положения получают подтверждение, тем более сильный аргумент они дают в его поддержку. И наоборот, чем более ожидаемо в свете уже получивших подтверждение следствий новое следствие, тем меньше его вклад в обоснование проверяемого положения.

Общая теория относительности А.Эйнштейна позволила сделать своеобразный и неожиданный вывод: не только планеты вращаются вокруг Солнца, но и эллипсы, которые они описывают, должны очень медленно вращаться относительно Солнца. Это вращение тем больше, чем ближе планета к Солнцу. Для всех планет, кроме Меркурия, оно настолько мало, что не может быть уловлено. Эллипс Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, осуществляет полное вращение в 3 млн. лет, что удается обнаружить. И вращение этого эллипса действительно было открыто астрономами, причем задолго до Эйнштейна. Никакого объяснения такому вращению не находилось. Теория относительности не опиралась при своей формулировке на данные об орбите Меркурия. Поэтому

му когда из ее гравитационных уравнений было выведено оказавшееся верным заключение о вращении эллипса Меркурия, это справедливо было расценено как важное свидетельство в пользу теории относительности.

Подтверждение неожиданных предсказаний, сделанных на основе какого-то положения, существенно повышает его правдоподобность. Неожиданное предсказание всегда связано с риском, что оно может не подтвердиться. Чем рискованней предсказание, выдвигаемое на основе какой-то теории, тем больший вклад в ее обоснование вносит подтверждение этого предсказания.

Типичным примером здесь может служить предсказание теории гравитации Эйнштейна: тяжелые массы (такие, как Солнце) должны притягивать свет точно так же, как они притягивают материальные тела. Вычисления, произведенные на основе этой теории, показывали, что свет далекой фиксированной звезды, видимой вблизи Солнца, достиг бы Земли по такому направлению, что звезда казалась бы смещенной в сторону от Солнца, иначе говоря, наблюдаемое положение звезды было бы сдвинуто в сторону от Солнца по сравнению с реальным положением. Этот эффект нельзя наблюдать в обычных условиях, поскольку близкие к Солнцу звезды совершенно теряются в его лучах. Их можно сфотографировать только во время затмения. Если затем те же самые звезды сфотографировать ночью, то можно измерить различия в их положении на обеих фотографиях и таким образом подтвердить предсказанный эффект. Экспедиция Эддингтона отправилась в Южное полушарие, где можно было наблюдать очередное солнечное затмение, и подтвердила, что звезды действительно меняют свое положение на фотографиях, сделанных днем и ночью. Это оказалось одним из наиболее важных свидетельств в пользу эйнштейновской теории гравитации.

Как бы ни было велико число подтверждающихся следствий и какими бы неожиданными, интересными или важными они не оказались, положение, из которого они выведены, все равно остается *только вероятным*. Никакие следствия не способны сделать его истинным. Даже самое простое утверждение в принципе не может быть доказано на основе одного подтверждения вытекающих из него следствий.

Это — центральный пункт всех рассуждений об эмпирическом подтверждении. Непосредственное наблюдение того, о чем говорится в утверждении, дает уверенность в истинности последнего. Но область применения такого наблюдения является ограниченной. Подтверждение следствий — универсальный прием, применимый ко всем утверждениям. Однако прием, только повышающий правдоподобие утверждения, но не делающий его достоверным.

Л. Витгенштейн рассматривает такой пример. Считается, что вождь одного племени своими ритуальными танцами способен вызывать дождь. На каком основании мы полагаем, что люди этого племени ошибочно связывают танец вождя с дождем? Если их система взглядов также согласованна, как и наша, то мы никак не можем судить о них с точки зрения наших представлений и нашей практики. Если, к примеру, мы ссылаемся на статистические данные в пользу того, что ритуальные танцы не имеют никакого отношения к дождям, племен-

ной вождь объяснит нам, что боги капризны. Окажется, таким образом, что, если после танца дождь идет, это подтверждает, что танец способен вызывать дождь; если после танца дождя все-таки нет, это подтверждает, что боги капризны и не обращают внимания на танец. Этому, по мнению Витгенштейна, защитник современной картины мира не сможет противопоставить ничего, что было бы убедительным для тех, кого он хочет убедить.

Общий вывод Витгенштейна скептичен: обратить инакомыслящего разумными доводами невозможно. В таких случаях можно только крепко держаться за свои убеждения и ту практику, в рамках которой они сложились, и объявить противоречащие взгляды еретическими, безумными и т.п. Люди верят в капризных богов, в гадание, в независимое существование физических объектов потому, что они обучены выносить свои суждения и оценки на основании этих предпосылок. Когда меняется система воззрений, меняются понятия, а вместе с ними меняются значения всех слов. На инакомыслящих можно воздействовать не рассуждениями и доводами, а только твердостью собственных убеждений, убедительностью, граничащей с внушением. Если таким образом удастся все-таки повлиять на человека другой культуры, это никоим образом не будет означать, что наши убеждения по каким-то intersубъективным основаниям предпочтительнее, чем его воззрения<sup>1</sup>.

Пример Витгенштейна выразительно показывает, что подтверждение следствий лишь повышает правдоподобие обосновываемого утверждения, но в принципе не способно сделать его достоверным. При этом само правдоподобие носит во многом субъективный характер. Положение, весьма правдоподобное для представителей одной культуры и одних верований, может казаться мало правдоподобным для тех, кто принадлежит к другой культуре и придерживается иных верований.

Пример с танцем дождя рассматривает и П.Фейерабенд, делающий из него выводы, направленные против непоколебимой веры в науку и ее самокритичность. Что может быть с научной точки зрения более иррационально и некритично, чем танец дождя? Однако, утверждает Фейерабенд, у нас на самом деле нет никаких рациональных, базирующихся на современной науке доводов в пользу того, что танцы дождя племени Хопи не могут вызывать дождя. Нет никаких статистических данных о соотношении дождей и танцев, выполненных должным образом. Ведь для эффективности танцев дождя может потребоваться такая солидарность народа племени, которая теперь уже не существует, и такая степень психической концентрации и самоотдачи, какая нынче уже не встречается. Причиной неэффективности танцев дождя в наши дни может являться утеря гармонии между человеком и природой во всем мире. «Отказывать танцам дождя в эффективности на том основании, что они не эффективны в наши дни, — это все равно, что отбрасывать закон инерции, потому что мы не видим объектов, движущихся по прямой с постоянной скоростью сколь угодно долго без приложения силы»<sup>2</sup>.

Утверждение Фейерабенда, что в отрицании эффективности танцев дождя нет ничего научного, является явной передержкой. Нет особой научной теории, трактующей связь ритуальных

<sup>1</sup>Wittgenstein L. On Certainty. — Oxford, 1969. — P. 132—133.

<sup>2</sup>Feyerabend P.K. Dialogue on Method // The Structure and Development of Science. — Dordrecht, 1979. — P. 112.

танцев с дождем, но такая теория и не нужна: физика атмосферы ясно говорит, что такая связь отсутствует. Критика эффективности танцев дождя отвечает современным стандартам рациональности. Отсутствие дождя после исполнения танца дождя должно считаться опровергающим примером для утверждения «Если вождь племени исполнит танец, то пойдет дождь». Другое дело, что сама рациональность понималась когда-то иначе в рамках другой, первобытной культуры.

Ссылка Фейерабенда на то, что результативности танцев дождя мешает, быть может, утраченная солидарность народа племени, — пример аргумента, который нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Аналогия между подтверждением закона инерции и подтверждением эффективности танцев дождя является поверхностной. В целом аргументы, приводимые Фейерабендом, представляют собой типичный пример недобросовестной, софистической аргументации, ставящей своей целью не истину, а утверждение принятой точки зрения с использованием не только корректных, но и некорректных приемов.

Важность эмпирического обоснования утверждений невозможно переоценить. Обусловлено это прежде всего тем, что конечным источником и критерием наших знаний выступает опыт. Познание начинается с живого, чувственного созерцания, с того, что дано в непосредственном наблюдении. Чувственный опыт связывает человека с миром, теоретическое знание — только надстройка над эмпирическим базисом.

Вместе с тем опыт не является абсолютным и бесспорным гарантом неопровержимости знания. Он тоже может критиковаться, проверяться и пересматриваться. «В эмпирическом базисе объективной науки, — пишет К.Поппер, — нет ничего “абсолютного”. Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или «данного» основания. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере некоторое время, выдерживать тяжесть нашей структуры»<sup>1</sup>.

Таким образом, если ограничить круг способов обоснования утверждений их прямым или косвенным подтверждением в опы-

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 382.

те, то окажется непонятным, каким образом все-таки удастся переходить от гипотез к теориям, от предположений к истинному знанию. Эмпирическое обоснование должно быть дополнено теоретическим обоснованием.

### 3. Факты как примеры

Эмпирические данные могут использоваться в ходе аргументации в качестве *примеров, иллюстраций и образцов*<sup>1</sup>. Выступая в качестве примера факт или частный случай делает возможным *обобщение*; в качестве иллюстрации он *подкрепляет* уже установленное общее положение; и наконец, в качестве образца он *побуждает к подражанию*.

Использование частных случаев в качестве образцов не имеет отношения к аргументации в поддержку о п и с а т е л ь н ы х утверждений. Образцы используются для обоснования ц е н н о с т е й и аргументации в их поддержку. Эта проблема будет обсуждаться позднее.

Употребление фактов как примеров и иллюстраций может рассматриваться как один из вариантов обоснования какого-то положения путем подтверждения его следствий. Но в таком качестве они являются весьма слабым средством подтверждения: о правдоподобии общего положения невозможно сказать что-нибудь конкретное на основе одного-единственного говорящего в его пользу факта. Скажем, Сократ прекрасно владел искусством вести спор и определять понятия; но, отправляясь только от этого частного случая, нельзя правдоподобно заключить, что все люди хорошо умеют вести спор и определять или что по меньшей мере все древние греки искусно спорили и удачно определяли понятия.

Факты, используемые как примеры и иллюстрации обладают рядом особенностей, выделяющих их из числа всех тех фактов и частных случаев, которые привлекаются для подтверждения общих положений и гипотез. Примеры и иллюстрации *более доказательны*, или *более вески*, чем остальные факты. Факт или частный случай, избираемый в качестве примера, должен достаточно отчетливо выразить т е н д е н ц и ю к о б о б щ е н и ю.

<sup>1</sup>См.: Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации» // Язык и моделирование социального взаимодействия. — М., 1987. В дальнейшем анализе примеров и иллюстраций используется в основном эта работа.

Тенденциозность факта-примера существенным образом отличает его от всех иных фактов. Если говорить строго, то факт-пример никогда не является чистым описанием какого-то реального состояния дел. Он говорит не только о том, что есть, но и отчасти и непрямо о том, что должно быть. Он соединяет функцию описания с функцией оценки (предписания), хотя доминирует в нем, несомненно, первая из них<sup>1</sup>. Этим обстоятельством объясняется широкое распространение примеров и иллюстраций в процессах аргументации, и прежде всего в гуманитарной и практической аргументации, а также в повседневном общении.

*Пример — это факт или частный случай, используемый в качестве отправного пункта для последующего обобщения и для подкрепления сделанного обобщения.*

«...Грех или моральная испорченность, — пишет Дж.Беркли, — состоят не во внешнем физическом действии или движении, но во внутреннем отклонении воли от законов разума и религии. Ведь избивание врага в сражении или приведение в исполнение смертного приговора над преступником, согласно закону, не считаются греховными, хотя внешнее действие здесь то же, что в случае убийства»<sup>2</sup>. Здесь Беркли приводит два примера (убийство на войне и исполнение смертного приговора), которые призваны подтвердить общее положение о грехе или моральной испорченности.

«Мы несомненно убиваем кого-то, — пишет М.Оссовская, — когда каким-то явным действием, к примеру ударом топора или выстрелом с близкого расстояния, причиняем смерть. Но следует ли понятие убийства применять к описанному в прессе случаю, когда женщина, желая избавиться от своей соседки-старушки, сообщила ей о мнимой смерти ее сына, в результате чего произошло то, что и ожидалось: смертельный инфаркт? Можно ли говорить об убийстве в случае мужа, который своим поведением довел жену до самоубийства, или который, используя свои гипнотические способности, настойчиво вбивал ей в голову мысль о самоубийстве?»<sup>3</sup>. Здесь примеры используются для прояснения смысла понятия «умышленное убийство». Они должны привести в конечном счете к определению этого общего понятия и подтвердить приемлемость предлагаемого определения.

Чаще всего рассуждение, использующее примеры, протекает по схеме: «если всякое  $S$  есть  $P$ , то  $S_1$  есть  $P$ ,  $S_2$  есть  $P$  и т.д.;  $S_1$  есть  $P$ ,  $S_2$  есть  $P$  и т.д.; значит всякое  $S$  есть  $P$ ». Это схема и н д у к т и в н о г о (правдоподобного) рассуждения.

Аргументация с помощью примера пока исследована очень слабо. Сказывается, по всей вероятности, то, что современная методология науки ориентирована по преимуществу на естественнонаучное познание, в котором примеры не столь часты, как в гуманитарных науках. Проблемы практического мышления, вклю-

<sup>1</sup>О двойственных, описательно-оценочных утверждениях говорится в главе «Аргументация и ценности».

<sup>2</sup>Беркли Дж. Сочинения. — М., 1978. — С. 331.

<sup>3</sup>Ossowska M. Normy moralne. Próba systematyzacji. — Warszawa, 1970. — S. 33.



чающего идеологию и утопию, вообще не нашли пока методологического и эпистемологического осмысления. Результатом является то, что примеры растворяются в числе других фактов, а рассуждение, использующее примеры, — в общей, с трудом допускающей расчленение массе индуктивных рассуждений. Остается пока в тени и *типизирующая функция* примера.

Европейская логика всегда была равнодушна к анализу роли примеров в аргументации, поскольку считалось, что доказательная или убедительная сила примеров столь же ничтожна, как и убедительность всех изолированных, приводимых по одиночке фактов. В древнеиндийской логике аргументация с помощью примера нашла отражение в следующем пятичленном умозаключении:

Гора пылает,  
Потому что дымится;  
Все, что дымится, пылает так же, как очаг,  
Такова и гора,  
Следовательно, это так.

Переформируем это рассуждение более привычным образом: «Если очаг дымится, то он пылает. Все, что дымится, пылает. Гора дымится. Следовательно, гора пылает». Переход от первого утверждения ко второму является индуктивным обобщением; переход от второго и третьего утверждений к заключению — дедуктивным умозаключением. Индуктивное обобщение опирается на типичный пример пылающего и потому дымящегося объекта — на пылающую гору (вероятно, вулкан), что придает этому обобщению известную надежность.

Примеры могут использоваться только для поддержки описательных утверждений и в качестве отправного пункта для описательных обобщений. Они не способны поддерживать оценки и утверждения, подобные клятвам, обещаниям, рекомендациям, декларациям и т.д., т.е. тяготеющие к оценкам. Примеры не могут служить и исходным материалом для оценочных и подобных им обобщений. И наконец, примеры не способны поддерживать нормы, являющиеся, как будет показано далее, частным случаем оценочных утверждений. То, что иногда представляется в качестве примера, призванного как-то подкрепить оценку, норму и т.п., на самом деле является образцом. Отличие примера и образца существенно. Пример представляет собой описательное утверждение, говорящее о некотором факте, в то время как образец — это оценочное утверждение, относящееся к какому-то частному случаю и устанавливающее частный стандарт, идеал и т.п.

Примеры широко используются в гуманитарных науках. Но, как полагают некоторые теоретики истории, в истории, нередко представляемой как парадигма гуманитарного познания вообще, примеры неуместны. Отличительным свойством истории являет-

ся внимание как раз к тому, что уникально, что могло случиться только при данных обстоятельствах и лишь с данными людьми и никогда более не способно повториться. Пример же всегда типизирует и намечает определенную тенденцию к обобщению, чего должна избегать история. Вряд ли это мнение справедливо. История говорит не только об уникальном, но и о том, что является в человеческой жизни массовым и повторяющимся, особенно когда речь идет о поведении больших масс людей, об исполнении обычаев и обрядов, о характерном для определенной среды или определенных обстоятельств поведении и т.п. Все это может быть убедительно дано через примеры, подобранные соответствующим образом и выявляющие общие тенденции в индивидуальном и потому неповторимом поведении.

«В естественных науках частные случаи используются либо как примеры, которые должны привести к формулировке некоего закона или к определению некоей структуры, либо как своего рода образчики, то есть как иллюстрация к уже известному закону или структуре. В области права сослаться на прецедент означает привести его как пример, обосновывающий правило, новое по крайней мере в некоторых своих аспектах. В других случаях юридическое установление часто рассматривается как пример общих принципов, опознаваемых в дальнейшем на основании данного установления»<sup>1</sup>.

Излагая факты в качестве примеров чего-либо, оратор или писатель обычно дает понять, что речь идет именно о примерах, за которыми должно последовать обобщение, или мораль. Но так бывает не всегда. «Некоторые американские журналы любят публиковать рассказы о карьере того или иного крупного промышленника, политика или кинозвезды, не выводя эксплицитно из них никакой морали. Факты, приводимые в этих рассказах, можно рассматривать как вклад в историю (всеобщую или частную), либо как примеры для произвольного обобщения, либо как иллюстрацию к одному из рецептов общественного успеха; причем герои подобных рассказов предлагаются в качестве образцов преуспеяния, а сами рассказы призваны воспитывать читающую публику. Ничто не позволяет судить о цели изложения с полной определенностью; по всей вероятности, такой рассказ должен выполнять и успешно выполняет одновременно все эти роли, ориентируясь на разные категории читателей»<sup>2</sup>. Этот пример говорит

<sup>1</sup>Перельман Х., *Олбрехт-Тытека Л.* Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 208.

<sup>2</sup>Там же.

о том, что, во-первых, факты, используемые в качестве примера, могут быть многозначны: они могут подсказывать разные обобщения и каждая категория читателей может выводить из них свою, близкую ее интересам мораль. Во-вторых, данный пример показывает, что между примером, иллюстрацией и образцом далеко не всегда удается провести ясные границы. Одна и та же совокупность приводимых фактов может истолковываться одними как пример, наводящий на обобщение, другими — как иллюстрация уже известного общего положения, третьими — как образец, достойный подражания.

*Цель* примера — подвести к формулировке общего утверждения и в какой-то мере быть доводом в поддержку обобщения. С этой целью связаны *критерии выбора* примера.

Прежде всего, избираемый в качестве примера факт или частный случай должен выглядеть достаточно ясным и неоспоримым. «В чем бы ни состоял способ подачи примера, к какой бы области ни относилось рассуждение, приведенный пример должен — для того, чтобы он был воспринят в таком качестве — обладать статусом факта, хотя бы предварительно; обращая внимание публики на этот статус, оратор получает большое преимущество. ...Несогласие с примером, — оттого ли, что предлагаемому обобщению можно противопоставить столь же убедительные возражения, — сильно ослабляет в глазах публики пропонируемый оратором тезис. В самом деле, выбор примера в качестве элемента доказательства налагает на оратора обязательство, подобно своего рода обету. Публика вправе полагать, что весомость главного тезиса напрямую зависит от той аргументации, которая претендует на его обоснование»<sup>1</sup>.

Если факты-примеры, взятые поодиночке, не подсказывают с должной ясностью направление предстоящего обобщения или не подкрепляют уже сделанное обобщение, рекомендуется перечислять несколько однотипных примеров.

Приводя примеры один за другим, выступающий уточняет свою мысль, как бы комментируя ее. При этом примеры должны «взаимодействовать» друг с другом в том смысле, что упоминание нового примера модифицирует значение уже известных; оно позволяет уточнить ту точку зрения, в рамках которой следует рассматривать предыдущие факты. А именно в области права, несмотря на то, что прецедент иногда упоминается при первом решении суда, принятом в соответствии с некоторой интерпретацией закона, окончательное решение приговора выявляется лишь постепенно, в ходе последующих решений»<sup>2</sup>. Если ав-

<sup>1</sup>Там же. — С. 210.

<sup>2</sup>Там же. С. 211.

тор при аргументации ограничился одним-единственным примером, это указывает, вероятно, на то, что степень обобщения данного примера представляется ему самоочевидной. Почти такая же ситуация возникает, когда автор упоминает многочисленные примеры, объединяя их формулой «часто мы видим, что...» и т.п. Эти примеры чем-то отличаются один от другого, но с точки зрения конкретного обобщения они рассматриваются как единый пример. «Увеличение числа недифференцированных примеров становится важным, когда, не стремясь к обобщению, автор хочет определить частоту события и сделать заключение о вероятности встретиться с ним в будущем. И здесь, впрочем, недифференцированный характер событий предполагает тем не менее разнообразие условий; кроме того, выбор примеров должен производиться таким образом, чтобы убедить читателя в их репрезентативности»<sup>1</sup>.

Иногда вместо того, чтобы приводить много однотипных примеров, аргументацию усиливают с помощью «иерархизированного примера»<sup>2</sup>. «...Все почитают мудрецов, — писал Аристотель, — паросцы почитали Архилоха, хотя он был клеветник, хиосцы — Гомера, хотя он не был их согражданином, митиленцы — Сафо, хотя она была женщина, лакедемоняне избрали Хилона в число геронтов, хотя чрезвычайно мало любили науки...»<sup>3</sup>. Форма таких примеров проста: «Имеет место то-то и то-то, несмотря на...» и далее перечисляются те ограничения, которые в иных случаях могли бы оказаться существенными.

Если намерение аргументировать с помощью примера не объявляется открыто, сам приводимый факт и его контекст должны показывать, что слушатели имеют дело именно с примером, а не с описанием изолированного явления, воспринимаемым как простая информация. Если определенные явления упоминаются вслед за другими, в чем-то им подобными, мы склонны воспринимать их как примеры. «Некий прокурор, выведенный в пьесе в качестве персонажа, может сойти просто за частное лицо; если, однако, в той же пьесе выведены два прокурора, то их поведение будет восприниматься как типичное именно для лиц данной профессии»<sup>4</sup>.

Пример должен подбираться и формулироваться таким образом, чтобы он побуждал перейти от единичного или частного к общему, а не от частного опять-таки к частному. Аргументация от частного к частному, столь характерная для сократических диалогов, вполне правомерна. Однако единичные явления, упоминаемые в такой аргументации, не

<sup>1</sup>Там же. — С. 212.

<sup>2</sup>См.: Там же. С. 211.

<sup>3</sup>Аристотель. Риторика. — Кн. II, 23, 1398.

<sup>4</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 208.

представляют собой примеров. «Нужно готовиться к войне против персидского царя и не позволять ему захватить Египет, ибо прежде Дарий перешел [в Грецию] не раньше, чем захватил Египет, а захватив его, переправился. Точно так же и Ксеркс двинулся [на Грецию] не прежде, чем взял [Египет], а взяв его, переправился, так что и этот [то есть царствующий ныне], переправится [в Грецию], если захватит [Египет], поэтому нельзя ему этого позволять»<sup>1</sup>. Рассуждение от частного к частному опирается на определенную и не р ц и ю м ы ш л е н и я, на движение его по намечающейся прямой линии. В данном рассуждении эта линия ведет от одной ситуации к другой, в то время как задача примеров вести от индивидуальных или частных явлений к общему, резюмирующему их положению.

Факт, используемый в качестве примера, должен восприниматься если и не как обычное явление, то во всяком случае как л о г и ч е с к и и ф и з и ч е с к и в о з м о ж н о е. Если это не так, то пример просто обрывает последовательность рассуждения и приводит к обратному результату или к комическому эффекту. «Если для доказательства того, что из-за невзгод иные несчастные могут поседеть за одну ночь, приводится рассказ о том, как этот незаурядный случай произошел с одним торговцем, который так горевал по поводу пропажи своих товаров во время кораблекрушения, что внезапно поседел ...его парик, то этим достигается эффект, придающий комизм аргументации»<sup>2</sup>. Сходным образом обстоит дело с рассказом миллионера о том, как ему удалось разбогатеть: «Я купил яблоко за один пенс, помыл его и продал за три пенса; потом я купил три яблока, помыл их и продал за девять пенсов... Этим я занимался целый год, а потом умер мой дядя и оставил мне в наследство миллион».

Особого внимания требуют *противоречащие примеры*. Обычно считается, что такие примеры могут использоваться только при опровержении ошибочных обобщений, их фальсификации. Если выдвигается общее положение «Все лебеди белые», то пример с черными лебедями, живущими в Австралии, способен опровергнуть данное общее утверждение. Если бы удалось встретить хотя бы одну белую ворону, то, приведя ее в качестве примера, можно было бы попытаться фальсифицировать общее мнение, что все вороны черные, или по крайней мере потребовать введения в него каких-то оговорок.

<sup>1</sup>Аристотель. Риторика. — Кн. II. 20, 1393.

<sup>2</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 211.

Рассуждение в этих случаях идет по схеме: «Все  $S$  есть  $P$ ; но  $S_n$  не есть  $P$ ; следовательно, некоторые  $S$  не есть  $P$ ». Общая схема фальсификации: «Если имеет место первое, то имеет место второе; но второго нет; следовательно, нет и первого».

Фальсификация на основе примера ведет к отмене общего положения, в частности, научного закона, или к изменению сферы его действия, учитывающему новый случай.

Однако противоречащие примеры нередко используются с намерением воспрепятствовать *неправомерному обобщению* и, демонстрируя свое несогласие с ним, подсказать то единственное направление, в котором может идти обобщение. Задача противоречащих примеров в этом случае не фальсификация какого-то общего положения, а выявление такого положения.

Говоря о понятии (морального) достоинства, которое определить в общем виде трудно, М.Оссовская приводит не только случаи, когда можно без колебаний говорить о наличии у человека достоинства, но и случаи, в которых оно явно отсутствует: подлизывание к кому-то с надеждой на особые милости; навязывание себя кому-то, кто явно не намерен стать другом; слепое, беспрекословное послушание взрослого и самостоятельного в своих действиях человека; оппортунизм как поведение, противное собственным убеждениям; согласие с тем, что кто-то оценивает наши поступки в деньгах, хотя такая калькуляция и не кажется возможной (так поступает, к примеру, тот, кто спасает тонущего ребенка, а затем принимает от его родителей деньги за спасение); и т.д., всего двенадцать случаев<sup>1</sup>.

Психологические исследования подтверждают, что для усвоения какого-то общего утверждения или правила необходимы не только позитивные, но и негативные (противоречащие) примеры. «Опыты Элиасберга убеждают нас в том, что существует взаимосвязь между восприятием противоречащих фактов и осознанием правила. Ребенок должен найти конфеты, лежащие под некоторыми из карточек (синими); когда вырисовывается тенденция к выбору им синих карточек, вводят новый опыт, в котором под одной из синих карточек конфет не оказывается. Именно в этот момент правило выводится на уровень ясного его осознания, и ребенок незамедлительно его формулирует. Таким образом, неудивительно, что при аргументации бывает возможно использовать противоречащие примеры с целью не только отмены правила, но и его выявления. Как раз сюда относятся те случаи в юриспруденции, когда закон, касающийся исключения, выступает единственным средством обнаружения правила, которое до этого никогда сформулировано не было»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Ossowska M. Normy moralne. — S. 52, 54—55.

<sup>2</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 213.

Иногда высказывается мнение, что примеры должны приводиться обязательно до формулировки того обобщения, к которому они подталкивают, так как задача примера вести от единичного и простого к более общему и сложному. Вряд ли это мнение оправданно. Порядок изложения не особенно существен для аргументации с помощью примера. Примеры могут предшествовать обобщению, но могут также следовать за ним. Функция примера не ограничивается обобщением, он может подкреплять обобщение конкретными и типичными его подтверждениями. Если упор делается на то, чтобы придать мысли движение и помочь ей по инерции прийти к какому-то обобщающему положению, то примеры обычно предшествуют обобщению. Если же на первый план выдвигается подкрепляющая функция примеров, то, возможно, их лучше приводить после обобщения. Однако эти две задачи, стоящие перед примерами, настолько тесно связаны, что разделение их и тем более противопоставление, отражающееся на последовательности изложения, возможно только в абстракции.

Скорее здесь можно говорить о другом правиле, связанном со сложностью и неожиданностью того обобщения, которое делается на основе примеров. Если оно является сложным или просто неожиданным для слушателей, лучше подготовить его введение предшествующими ему примерами. Если обобщение в общих чертах известно слушателям и не звучит для них парадоксом, то примеры могут следовать за его введением в изложении.

#### 4. Факты как иллюстрации

*Иллюстрация — это факт или частный случай, призванный укрепить убежденность слушающего в правильности уже известного и принятого общего положения.*

Пример подталкивает мысль к новому обобщению и подкрепляет это обобщение. Иллюстрация проясняет известное общее положение, демонстрирует его значение с помощью целого ряда возможных применений, усиливает эффект его присутствия в сознании слушающего.

С различием задач примера и иллюстрации связано различие критериев выбора примеров и выбора иллюстраций.

Пример должен выглядеть достаточно твердым, однозначно трактуемым фактом. Иллюстрация вправе вызывать небольшие сомнения, но она должна особенно живо воздействовать на воображение слушателя, останавливая на себе

внимание. «...Иллюстрацию, целью которой является эффект присутствия, иногда бывает необходимо развернуть с помощью конкретных, задерживающих внимание деталей, тогда как пример, напротив, следует предусмотрительно «ощипать» во избежание рассеивания мысли или ее отклонения от цели, намеченной оратором. Иллюстрация в гораздо меньшей степени, чем пример, рискует быть неверно интерпретированной, так как нас при этом ведет правило известное и зачастую вполне привычное»<sup>1</sup>.

Вот то, что можно назвать «иллюстрацией иллюстрации».

Описывая позднее средневековье, Й.Хейзинга подчеркивает, что жизнь средневекового христианина была во всех отношениях проникнута, всесторонне насыщена религиозными представлениями. Не было ни одной вещи, ни одного суждения, которые не приводились бы в постоянную связь с Христом, с христианской верой. Все основывалось исключительно на религиозном восприятии вещей, и в этом проявлялся невиданный расцвет искренней веры. Но такое религиозное напряжение не могло существовать постоянно. Когда оно отсутствовало, то все, чему надлежало побуждать религиозное сознание, глохло, впадало в ужасающее повседневное безбожие, доходя до изумляющей посторонности, несмотря на потусторонние формы.

Хейзинга иллюстрирует это общее положение ярким, западающим в память описанием поступков Генриха Сузо — человека самой возвышенной святости. Его религиозное напряжение не ослабевало ни на мгновение, в результате его поведение порой выглядело с современной точки зрения весьма комичным. Он оказывал честь всем женщинам ради Девы Марии и ступал в грязь, давая дорогу какой-нибудь нищенке. Следуя обычаям земной любви, он чествовал возлюбленную как невесту Премудрость. Стоило ему услышать любовную песенку, он тотчас же обращал ее к Премудрости. За трапезой, когда он ел яблоко, он обыкновенно разрезал его на четыре дольки: три из них он съедал во имя св. Троицы, четвертую же ел «в любви, с коею божия небесная мать ясти давала яблочко милому своему дитятке Иисусу», и поэтому съедал эту часть с кожурой, поскольку малые дети едят яблоки неочищенными. В течение нескольких дней после Рождества — судя по всему, из-за того, что младенец Иисус был еще слишком мал, чтобы есть яблоки, — четвертую дольку он не ел вовсе, принося ее в жертву Деве Марии, чтобы через мать яблоко досталось и сыну. Всякое питье он выпивал в пять глотков, по числу ран на теле Господа; в конце же он делал двойной глоток, ибо из раны в боку Иисуса истекла и кровь и вода. Все это было, замечает Хейзинга, «освящением всех жизненных связей», поистине доведенным до крайности<sup>2</sup>.

Аристотель различал два употребления примера, в зависимости от того, имеются у оратора какие-либо общие принципы или нет: «...необходимо бывает привести много примеров тому, кто помещает их в начале, а кто помещает их в конце, для того достаточно одного [примера], ибо свидетель, заслуживающий веры, бывает полезен даже в том случае, когда он один»<sup>3</sup>. Роль фактов, по Аристотелю, зависит от того, предшествуют они тому общему

<sup>1</sup>Там же. — С. 215.

<sup>2</sup>Хейзинга Й. Осень Средневековья. — М., 1988. — С. 164—165.

<sup>3</sup>Аристотель. Риторика. — Кн. II, 20, 1394а.



положению, к которому относятся, или следуют после него. Но дело, как кажется, в том, что факты, приводимые до обобщения, — это обычно примеры, в то время как один или немногие факты, даваемые после него, представляют собой иллюстрацию. Об этом говорит предупреждение Аристотеля, что требовательность слушателя к примерам более высока, чем к иллюстрациям.

Различие между примером и иллюстрацией не всегда является отчетливым. Не каждый раз удается решить, служит ли частный случай для обоснования общего положения или же такое положение излагается с опорой на подкрепляющие его частные случаи.

В «Рассуждении о методе» Р.Декарт выдвигает общий принцип: «...часто работа, составленная из многих частей и сделанная руками многих мастеров, не имеет такого совершенства, как работа, над которой трудился один человек»<sup>1</sup>. Этот принцип подкрепляется затем перечислением конкретных примеров. Здание, построенное одним архитектором, прекраснее, а город правильнее спланирован; конституция, созданная одним законодателем, несравненно лучше продумана; умозаключения здравомыслящего человека о предметах не более чем вероятных, ближе к истине, чем книжная наука; суждения тех, кто с рождения руководствуется единственно разумом, более четки и устойчивы, чем мнения людей, руководимых разными учителями.

Все перечисленные случаи можно рассматривать как примеры, призванные подтвердить приемлемость общего высказывания о превосходстве того, что создано одним человеком. Но первые два случая можно отнести к примерам, а два последние — к иллюстрациям общего положения, уже установленного при помощи предыдущих примеров. «...В самом деле, — пишут Х.Перельман и Л.Олбрехт-Тытека, — если представление о прекрасном, упорядоченном, систематичном не мешало современникам Декарта согласиться с его рассуждениями касательно здания, города, конституции или религии, то два последних утверждения совершенно парадоксальны и могли быть восприняты с определенной благосклонностью лишь в том случае, если видеть в них иллюстрации к уже установленному правилу, ибо они предполагают концепцию и критерий истины и метода, характерные только для картезианской мысли. При перечислении не все частные случаи, призванные подкрепить правило, играют одну и ту же роль, ибо в то время как первые из них должны быть неоспоримыми, вескими, следующие за ними уже пользуются доверием, достигнутым первыми, а последние могут служить всего лишь иллюстрациями»<sup>2</sup>. Переход от примера к иллюстрации иногда происходит незаметно.

Обычная задача иллюстрации — облегчить понимание общего положения при помощи неоспоримого случая.

В эссе «Улисс» К.Р.Юнг выдвигает общую идею, что глубокое средневековое никак не кончится в нашей жизни: «Я полагаю, что средневековая католическая Ирландия имеет, по-видимому, протяженность до сих пор мне неизвестную и бесконечно большую, чем это обозначено на привычных нам географических картах»<sup>3</sup>. Эту общую идею Юнг иллюстрирует тем огромным воз-

<sup>1</sup>Декарт Р. Рассуждение о методе. — М., 1953. — С. 17.

<sup>2</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 216.

<sup>3</sup>Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. — М., 1992. — С. 173.

действием, которое роман Р.Джеймса «Улисс» оказал на его современников. Действие, развертывающееся в этом романе, настолько ограничено, что, казалось бы, могло не вызвать к себе какого-либо интереса. Но мир, напротив, совсем не остался равнодушным. «Если судить по воздействию “Улисса” на современников, то оказывается, что его ограниченность воплощает в себе более или менее универсальные черты. Так что “Улисс” пришелся своим современникам в общем-то ко времени. У нас, должно быть, существует целое сообщество модернистов, которое многочисленно настолько, что с 1922 г. сумело без остатка проглотить десять его изданий. Книга эта непременно открывает им нечто такое, чего раньше они вообще, может быть, не знали и не чувствовали. Они не впадают от нее в адскую скуку, а, наоборот, растут вместе с ней, чувствуют себя обновленными, продвинувшимися в познании, обращенными на путь истины или готовыми начать все с начала и, очевидно, приведенными в определенное желательное состояние, без которого лишь жгучая ненависть могла бы подвигнуть читателя на то, чтобы внимательно, без фатально неизбежных приступов сна прочесть все эти 735 страниц»<sup>1</sup>.

Убедительность факта, приводимого Юнгом в качестве иллюстрации, подчеркивается количественными характеристиками воздействия «Улисса» на современников: числом изданий этого романа, его большим объемом. Понятно, что данный факт не мог бы служить примером: роман слишком сложен и многогранен, чтобы быть веским, однозначно трактуемым подтверждением какого-то одного общего положения.

Часто иллюстрация выбирается с учетом того эмоционального резонанса, который она может вызвать. Так поступает, например, Аристотель, предпочитающий стиль периодический стилю связному, не имеющему ясно видимого конца: «...Потому что всякому хочется видеть конец; по этой-то причине [состязающиеся в беге] задыхаются и обессиливают на поворотах, между тем как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предел бега»<sup>2</sup>.

Иллюстрация, конкретизируя общее положение с помощью частного случая, усиливает эффект присутствия. На этом основании в ней иногда видят образ, живую картину абстрактной мысли. Иллюстрация не ставит, однако, перед собой цель заменить абстрактное конкретным и тем самым перенести рассмотрение на другие объекты. Это делает *аналогия*, иллюстрация же — не более чем частный случай, подтверждающий уже известную общую истину или облегчающий более отчетливое ее понимание. «(Нравственное зло) можно допустить или разрешить лишь постольку, — пишет Б.Лейбниц, — поскольку оно рассматривается как обязательное следствие необходимого долга: как если бы тот, кто, не желая допустить другого до греха, сам пренебрег бы своим долгом, подобно тому, как офицер, стоящий на ответ-

<sup>1</sup>Там же.

<sup>2</sup>Аристотель. Риторика. Кн. III, 9, 1409а.

ственном посту, особенно в период опасности, покинул бы его, чтобы предотвратить драку двух солдат гарнизона, собирающихся застрелить друг друга»<sup>1</sup>. Здесь прямая задача иллюстрации — облегчить понимание общего принципа<sup>2</sup>.

Неудачный пример ставит под сомнение то общее положение, которое он призван подкрепить. Противоречащий пример способен даже опровергнуть это положение. Иначе обстоит дело с неудачной, неадекватной иллюстрацией. Общее положение, к которому она приводится, не ставится под сомнение, и неадекватная иллюстрация расценивается скорее как негативная характеристика того, кто ее применяет, свидетельствующая о непонимании им общего принципа или о его неумении подобрать удачную иллюстрацию.

Неадекватная иллюстрация может иметь комический эффект: «Надо уважать своих родителей. Когда один из них вас бранит, живо ему возражайте». При описании какого-то определенного лица особенно эффективно ироническое использование иллюстраций. Сначала этому лицу дается позитивная характеристика, а затем приводятся иллюстрации, прямо несовместимые с нею. Так, в «Юлии Цезаре» Шекспира Антоний, постоянно напоминая, что Брут честный человек, приводит одно за другим свидетельства его неблагодарности и предательства.

В аргументации часто используются *сравнения*. Те сравнения, которые не являются сравнительными оценками (предпочтениями), представляют собой обычно иллюстрации одного случая посредством другого, при этом оба случая рассматриваются как конкретизации одного и того же общего принципа. Типичный пример сравнения: «Людей показывают обстоятельства. Стало быть, когда тебе выпадает какое-то обстоятельство,

<sup>1</sup>Leibniz G.W. Die philosophischen Schriften. — Bd. 6. — Leipzig, 1932. — S. 117.

<sup>2</sup>Можно отметить, что общее положение, выдвигаемое и иллюстрируемое Лейбницем, — это закон логики абсолютных оценок «Если хорошо, что за первым следует второе, но вместе с тем второе плохо, то первое также является плохим». Например, «если хорошо, что за проступком следует наказание, а быть наказанным — плохо, то и совершить проступок — плохо». Плохое определяется как позитивная ценность противоположного. Это позволяет свести данный закон к закону: «Если хорошо, что вслед за первым следует второе, и первое является хорошим, то хорошим будет и второе».

Пример Лейбница показывает, что иллюстрироваться частными, эмоционально насыщенными случаями могут даже столь абстрактные идеи, как законы логики. Этот пример говорит также о том, что иллюстрация, призванная сделать более понятным какой-то принцип, чаще всего совершенно не претендует на то, чтобы в какой-то мере подкрепить или подтвердить этот принцип.

помни, что это бог, как учитель гимнастики, столкнул тебя с грубым концом»<sup>1</sup>.

Возвращаясь к началу этой главы, можно сказать, что иллюстрация особенно наглядно показывает, что эмпирическое обоснование есть только частный случай эмпирической аргументации. Последняя включает не только прямое подтверждение в непосредственном чувственном опыте и косвенное подтверждение путем подтверждения логических следствий обосновываемого положения. К эмпирической аргументации относятся также примеры, подтверждающее значение которых очень невелико и функция которых никогда не сводится к эмпирическому подтверждению. К эмпирической аргументации принадлежат, наконец, иллюстрации, о подтверждающей силе которых вообще не приходится говорить.

---

<sup>1</sup>*Эпиктет*. Беседы. — Кн. I, 24, 1.

<b>Глава 3. Теоретическая аргументация</b> .....	<b>56</b>
1. Дедуктивное обоснование .....	57
2. Системная аргументация .....	65
3. Опровержимость и проверяемость .....	74
4. Условие совместимости .....	79
5. Методологическая аргументация .....	89
6. Границы обоснования .....	99

## Глава 3

# ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Общие утверждения, научные законы, принципы и т.п. не могут быть обоснованы чисто эмпирически, путем ссылки только на опыт. Они требуют также *теоретического обоснования*, опирающегося на рассуждение и отсылающего к другим принятым утверждениям. Без этого нет ни абстрактного теоретического знания, ни хорошо обоснованных убеждений.

Невозможно доказать общее утверждение посредством ссылок на свидетельства, относящиеся к каким-то отдельным случаям его применимости. Универсальные обобщения науки — это своего рода гипотезы, строящиеся на базе существенно неполных рядов наблюдений. Подобные универсальные утверждения невозможно доказать не только исходя из тех наблюдений, в ходе обобщения которых они были выдвинуты, но и на основе последующих обширных и детализированных серий предсказаний, выведенных из них и нашедших свое подтверждение в опыте.

Теории, концепции и иные обобщения эмпирического материала не выводятся логически из этого материала. Одну и ту же совокупность фактов можно обобщить по-разному и охватить разными теориями. При этом ни одна из них не будет вполне согласоваться со всеми известными в своей области фактами. Сами факты и теории не только постоянно расходятся между собой, но и никогда четко не отделяются друг от друга.

Все это говорит о том, что согласие теории с экспериментами, фактами или наблюдениями недостаточно для однозначной оценки ее приемлемости. Эмпирическая аргументация всегда требует дополнения теоретической. Не эмпирический опыт, а теоретические рассуждения оказываются обычно решающими при выборе одной из конкурирующих концепций.

В отличие от эмпирической аргументации способы теоретической аргументации чрезвычайно многообразны и внутренне разнородны. Они включают дедуктивное обоснование, систем-

ную аргументацию, методологическую аргументацию и т.д. Никакой единой, проведенной последовательно классификации способов теоретической аргументации не существует.

## 1. Дедуктивное обоснование

Одним из важных способов теоретической аргументации является *дедуктивная аргументация*.

*Рассуждение, в котором некоторое утверждение вытекает (логически следует) из других утверждений, называется дедуктивным, или просто дедукцией.*

*Дедуктивная аргументация — это выведение обосновываемого положения из иных, ранее принятых утверждений.*

Если выдвинутое положение удастся логически (дедуктивно) вывести из уже установленных положений, это означает, что оно приемлемо в той же мере, что и сами эти положения.

Допустим, кто-то, не знакомый с азами теории электричества, высказывает догадку, что постоянный ток характеризуется не только силой, но и напряжением. Для подтверждения этой догадки достаточно открыть любой справочник и узнать, что всякий ток имеет определенное напряжение. Из этого общего положения вытекает, что постоянный ток также имеет напряжение.

В рассказе Л.Н.Толстого «Смерть Ивана Ильича» есть эпизод, имеющий прямое отношение к логике.

Иван Ильич чувствовал, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В мучительных поисках какого-нибудь просвета он ухватился даже за старую свою мысль, что правила логики, верные всегда и для всех, к нему самому неприложимы. «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера: Кай — человек, люди — смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай — человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он был совсем, совсем особенное от всех других существо... И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но не мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».

Ход мыслей Ивана Ильича продиктован, конечно, охватившим его отчаянием. Только оно способно заставить предположить, что верное всегда и для всех окажется вдруг неприложимым в конкретный момент к определенному человеку. В уме, не охваченном ужасом, такое предположение не может даже возникнуть. Как бы ни были нежелательны следствия наших рассуждений, они должны быть приняты, если приняты исходные посылки.

Дедуктивное рассуждение — это всегда в каком-то смысле принуждение. Размышляя, мы постоянно ощущаем давление и несвободу. Не случайно Аристотель, первым подчеркнувший безоговорочность логических законов, с сожалением заметил:

«Мышление — это страдание», ибо «коль вещь необходима, в тягость она нам».

В обычных процессах аргументации фрагменты дедуктивного обоснования обычно предстают в очень сокращенной форме. Нередко результат дедукции выглядит как наблюдение, а не как итог рассуждения.

Хорошие примеры дедукций, в которых заключение предстает как *наблюдение*, дает А.Конан-Дойль в рассказах о Шерлоке Холмсе.

«— Доктор Уотсон, мистер Шерлок Холмс, — представил нас друг другу Стэмфорд.

— Здравствуйте! — приветливо сказал Холмс. — Я вижу, вы жили в Афганистане.

— Как вы догадались? — изумился я...

— ...Благодаря давней привычке цепь умозаключений возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не замечая промежуточных посылок. Однако они были, эти посылки. Ход моих мыслей был таков: «Этот человек по типу — врач, но выправка у него военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков — лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястья у него гораздо блее. Лицо изможденное, — очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку — держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане»<sup>1</sup>.

Обосновывая утверждение путем выведения его из других принятых положений, мы не делаем это утверждение абсолютно достоверным и неопровержимым. Но мы в полной мере переносим на него ту степень достоверности, которая присуща положениям, принимаемым в качестве посылок дедукции. Если, скажем, мы убеждены, что все люди смертны и что Иван Ильич, при всей его особенности и неповторимости, человек, мы обязаны признать также, что и он смертен.

Может показаться, что дедуктивное обоснование является, так сказать, лучшим из всех возможных способов обоснования, поскольку оно сообщает обосновываемому утверждению ту же твердость, какой обладают посылки, из которых оно выводится. Однако такая оценка была бы явно завышенной. Вывести новые общие положения из утвердившихся истин удастся далеко не всегда. Наиболее интересные и важные утверждения, способные быть посылками обоснования, как правило, сами являются общими и не могут быть следствиями имеющихся истин. Утверждения, требующие обоснования, обычно говорят об относительно новых, не изученных в деталях явлениях, не охватываемых еще универсальными принципами.

Обоснование одних утверждений путем ссылки на истинность или приемлемость других утверждений — не единственная функ-

<sup>1</sup>Конан-Дойль А. Собр. соч.: В 8-ми т. — М., 1966. — Т. 1. — С. 39.



ция, выполняемая дедукцией в процессах аргументации. Дедуктивное рассуждение служит также для *верификации* (косвенного подтверждения) утверждений: из проверяемого положения дедуктивно выводятся его эмпирические следствия; подтверждение этих следствий оценивается как возможный довод в пользу исходного положения. Дедуктивное рассуждение может использоваться также для фальсификации гипотез. В этом случае демонстрируется, что вытекающие из гипотез следствия являются ложными. Не достигшая успеха фальсификация данных представляет собой *ослабленный вариант верификации*: неудача в опровержении эмпирических следствий проверяемой гипотезы является аргументом, хотя и весьма слабым, в поддержку этой гипотезы. И наконец, дедукция используется для *систематизации* теории, прослеживания логических связей входящих в нее утверждений, построения объяснений, опирающихся на общие принципы, предлагаемые теорией. Прояснение логической структуры теории, укрепление ее эмпирической базы и выявление ее общих предпосылок является, как будет ясно из дальнейшего, вкладом в обоснование входящих в нее утверждений.

Дедуктивная аргументация применима во всех областях рассуждения и в любой аудитории.

Вот пример такой аргументации, взятый из теологической литературы: «Я хочу здесь доказать, — пишет К.С.Льюис, — что не стоит повторять глупостей, которые часто приходится слышать насчет Иисуса, вроде того, что “Я готов принять Его как великого учителя жизни, но в то, что Он был Богом, верить отказываюсь”. Именно этого говорить и не стоит. Какой великий учитель жизни, будучи просто человеком, стал бы говорить то, что говорил Христос? В таком случае он был бы или сумасшедшим — не лучше больного, выдающего себя за вареное яйцо — или настоящим дьяволом. От выбора никуда не деться. Либо этот человек был и остается Сыном Божиим, либо он был умалишенный, а то и хуже... Можно не слушать Его, считая слабоумным, можно оплевывать Его и убить Его, считая дьяволом, а можно и пасть к Его ногам, называя Его Господом Богом. Не будем только нести всякой покровительственной чуши насчет учителей жизни. Такого выбора Он нам не оставил, да и не хотел оставлять»<sup>1</sup>. Эта аргументация носит типично дедуктивный характер, хотя структура ее не особенно ясна.

Более простым и ясным является рассуждение средневекового философа И.С.Эриугены: «И если блаженство есть не что иное, как жизнь вечная, а жизнь вечная — это познание истины, то блаженство — это не что иное, как познание истины»<sup>2</sup>. Это рассуждение представляет собой дедуктивное умозаключение, а именно категорический силлогизм (первая фигура, модус *Barbara*).

<sup>1</sup>Цит. по: Мак-Дауэлл Д. Неоспоримые свидетельства. — М., 1990. — С. 92—93.

<sup>2</sup>Эриугена И.С. О божественном предопределении // Сегодня. — 1994. — 6 августа.

Удельный вес дедуктивной аргументации в разных областях знания существенно различен. Очень широко она используется в математике и математической физике и только эпизодически в истории или философии. Аристотель писал, имея в виду как раз сферу приложения дедуктивной аргументации: «Не следует требовать от оратора научных доказательств, точно так же как от математики не следует требовать эмоционального убеждения»<sup>1</sup>. Сходную мысль высказывал и Ф.Бэкон: «...Излишняя педантичность и жестокость, требующие слишком строгих доказательств, а еще больше небрежность и готовность удовольствоваться весьма поверхностными доказательствами в других, принесли науке огромный вред и очень сильно задержали ее развитие»<sup>2</sup>. Дедуктивная аргументация является очень сильным средством, но, как и всякое такое средство, она должна использоваться узконаправленно.

В зависимости от того, насколько широко используется дедуктивная аргументация, все науки принято делить на *дедуктивные* и *индуктивные*. В первых используется по преимуществу или даже единственно дедуктивная аргументация. Во вторых такая аргументация играет лишь заведомо вспомогательную роль, а на первом месте стоит эмпирическая аргументация, имеющая индуктивный, вероятностный характер. Типично дедуктивной наукой считается математика, образцом индуктивных наук являются естественные науки.

Деление наук на дедуктивные и индуктивные, широко распространенное еще несколько десятилетий назад, сейчас во многом утратило свое былое значение. Оно ориентировано на науку, рассматриваемую в статике, прежде всего как систему надежно установленных истин.

Применение правил дедукции к любым посылкам гарантирует получение заключений, столь же надежных, как и сами посылки. Если посылки истинны, то истинны и дедуктивно выведенные из них заключения.

На этом основании античные математики, а вслед за ними и античные философы настаивали на исключительном использовании дедуктивных рассуждений.

Средневековые философы и теологи также переоценивали значение дедуктивной аргументации. Их интересовали самые общие истины, касающиеся бога, человека и мира. Но чтобы убедить кого-то, что бог есть в своей сущности доброта, что человек — его подобие и что в мире царит божественный порядок, дедуктивное рассуждение, отправляющееся от немногих общих принципов, подходит гораздо больше, чем индукция и эмпирическая аргументация. Характерно, что все предлагавшиеся доказательства существования бога замышлялись их авторами как дедукции из самоочевидных посылок.

<sup>1</sup>Аристотель. Метафизика. II, 3.

<sup>2</sup>Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. — М., 1968. — Т. 1. — С. 326.

Вот как, к примеру, звучал у Фомы Аквинского «аргумент неподвижного двигателя». Вещи делятся на две группы — одни только движимы, другие движут и вместе с тем движимы. Все, что движимо, приводится чем-то в движение, и, поскольку бесконечное умозаключение от следствия к причине невозможно, в какой-то точке мы должны прийти к чему-то, что движет, не будучи само движимо. Этот неподвижный двигатель и есть бог. Фома Аквинский приводил еще четыре доказательства существования бога, носившие опять-таки явно дедуктивный характер: доказательство первой причины, покоящееся снова на невозможности бесконечного умозаключения от следствия к причине; доказательство того, что должен существовать конечный источник всякой необходимости; доказательство того, что мы обнаруживаем в мире различные степени совершенства, которые должны иметь свой источник в чем-то абсолютно совершенном; доказательство того, что мы обнаруживаем, что даже безжизненные вещи служат цели, которая должна быть целью, установленной неким существом вне их, что лишь живые существа могут иметь внутреннюю цель<sup>1</sup>. Логическая структура всех этих доказательств очень неясна. И тем не менее в свое время они представлялись чрезвычайно убедительными.

В начале Нового времени Декарт утверждал, что математика, и в особенности геометрия, является моделью образа действий в науке. Он полагал, что фундаментальным научным методом является дедуктивный метод геометрии, и представлял себе этот метод как строгое рассуждение на основе самоочевидных аксиом. Он думал, что предмет всех физических наук должен быть в принципе тот же, что и предмет геометрии, и что с точки зрения науки единственно важными характеристиками вещей в физическом мире являются пространственные характеристики, изучаемые геометрией. Декарт предлагал картину мира, в которой единственными реальностями, помимо бога, являются, с одной стороны, чисто математическая субстанция, не имеющая никаких характеристик, кроме пространственных, и, с другой, чисто мыслительные субстанции, бытие которых по существу заключается в мышлении, и в частности в их способности схватывать самоочевидные аксиомы и их дедуктивные следствия. Имеются, таким образом, с одной стороны, предмет геометрии и, с другой, души, способные к математическому или геометрическому рассуждению. Познание есть только результат применения этой способности.

Дедуктивная аргументация переоценивалась до тех пор, пока исследование мира носило умозрительный характер и ему были чужды опыт, наблюдение и эксперимент.

Понятие дедукции является общеметодологическим. В логике ему соответствует понятие *доказательства*.

*Доказательство обычно определяется как процедура обоснования истинности некоторого утверждения путем приведения тех истинных утверждений, из которых оно логически следует.*

<sup>1</sup>См.: Рассел Б. История западной философии. — М., 1993. — Т. 1. — С. 473.

Это определение включает два центральных понятия логики: *истина* и *логическое следование*. Оба эти понятия не являются в достаточной мере ясными, и значит, определяемое через них понятие доказательства также не может быть отнесено к ясным.

Многие наши утверждения не являются ни истинными, ни ложными, лежат вне «категории истины». К ним относятся требования, предостережения и т.п. Они указывают, какой данная ситуация должна стать, в каком направлении ее нужно преобразовать. От описаний мы вправе требовать, чтобы они являлись истинными. Но удачный приказ, совет и т.д. мы характеризуем как эффективный или целесообразный, но не как истинный.

В стандартном определении доказательства используется понятие истины. Доказать некоторый тезис — значит логически вывести его из других, являющихся истинными положений. Но, как мы видим, есть утверждения, не связанные с истиной. Очевидно также, что, оперируя ими, нужно быть и логичным, и доказательным.

Таким образом, встает вопрос о существенном расширении понятия доказательства. Оно должно охватывать не только описания, но и утверждения типа оценок и норм.

Задача переопределения доказательства пока не решена ни логикой оценок, ни логикой норм. В результате понятие доказательства остается не вполне ясным по своему смыслу<sup>1</sup>.

Не существует, далее, единого понятия логического следования.

Это понятие определяется через закон логики: из утверждения (или системы утверждений) *A* логически следует утверждение *B* в том и только том случае, когда выражение «если *A*, то *B*» представляет собой закон логики.

Это определение — только общая схема бесконечного множества возможных определений. Конкретные определения логического следования получаются из нее путем указания логической системы, задающей понятие логического закона. Логических же систем, претендующих на статус закона логики, в принципе бесконечно много. Хорошо известны, в частности, классическое определение логического следования, интуиционистское его определение, определение следования в релевантной логике и др. Однако ни одно из имеющихся в современной логике определений логического закона и логического следова-

<sup>1</sup>О попытках распространения понятия доказательства на случай нормативных утверждений см.: *Ивин А.А. Логика норм.* — М., 1973. — Гл. 1.

ния не свободно от критики и от того, что можно назвать «парадоксами логического следования».

В частности, классическая логика говорит, что из противоречия логически следует все, что угодно. Например, из противоречивого утверждения «Токио — большой город, и Токио не является большим городом» следуют, наряду с любыми другими, утверждения: «Математическая теория множеств непротиворечива», «Луна сделана из зеленого сыра» и т.п. Но между исходным утверждением и этими, якобы вытекающими из него утверждениями нет никакой содержательной связи. Здесь явный отход от обычного, или интуитивного, представления о следовании. Точно также обстоит дело и с классическим положением, что логические законы вытекают из любых утверждений. Наш логический опыт отказывается признать, что, скажем, утверждение «Лед холодный или лед не холодный» можно вывести из утверждений типа «Два меньше трех» или «Аристотель был учителем Александра Македонского». Следствие, которое выводится, должно быть как-то связано по своему содержанию с тем, из чего оно выводится. Классическая логика пренебрегает этим очевидным обстоятельством.

Указанные парадоксы, касающиеся логического следования, имеют место и в интуиционистской логике. Но в последней не действует закон исключенного третьего, несомненный для классической логики. Отбрасывается также ряд других логических законов, позволяющих доказывать существование объектов, которые нельзя построить или вычислить. В число отвергаемых попадают, в частности, закон снятия двойного отрицания и закон приведения к абсурду, дающий право утверждать, что математический объект существует, если предположение о его несуществовании приводит к противоречию. Это означает, что доказательство, проведенное с использованием классической логики не обязательно будет считаться также доказательством с точки зрения интуиционистской логики.

Более совершенное, чем классическое и интуиционистское, описание логического следования было дано релевантной логикой. Ей удалось, в частности, исключить стандартные парадоксы логического следования. Предложены также многие другие теории логического следования. С каждой из них связано свое понимание доказательства.

Образцом доказательства, которому в той или иной мере стремятся следовать во всех науках, является математическое доказательство. «Нигде нет настоящих доказательств, — писал Б.Паскаль, — кроме как в науке геометров и там, где ей подражают»<sup>1</sup>. Под «геометрией» Паскаль имел в виду, как это было обычным в его время, всю математику.

Долгое время считалось, что математическое доказательство представляет собой ясный и бесспорный процесс. В нашем веке отношение к математическому доказательству изменилось. Математики разбились на группировки, каждая из которых придерживается своей версии доказательства. Причиной этого послужили несколько обстоятельств. Прежде всего, изменились представления о лежащих в основе доказательства логических принципах. Исчезла уверенность в их единственности и непогрешимости. Возникли также разногласия по поводу того, сколь

<sup>1</sup>*Pascal B. Oeuvres completès. — Paris, 1963. — P. 358.*

далеко простирается сфера логики. Логицисты были убеждены, что логики достаточно для обоснования всей математики; по мнению формалистов, одной лишь логики для этого недостаточно и логические аксиомы необходимо дополнить чисто математическими; представители теоретико-множественного направления не особенно интересовались логическими принципами и не всегда указывали их в явном виде; интуиционисты из принципиальных соображений считали нужным вообще не вдаваться в логику. Подводя итог этому пересмотру понятия доказательства в математике, Р.Л.Уайлдер пишет, что математическое доказательство есть не что иное, как «проверка продуктов нашей интуиции... Совершенно ясно, что мы не обладали и, по-видимому, никогда не будем обладать критерием доказательства, не зависящим ни от времени, ни от того, что требуется доказать, ни от тех, кто использует критерий, будь то отдельное лицо или школа мышления. В этих условиях самое разумное, пожалуй, признать, что, как правило, в математике не существует абсолютно истинного доказательства, хотя широкая публика убеждена в обратном»<sup>1</sup>.

Математическое доказательство является парадигмой доказательства вообще, но даже в математике оно не является абсолютным и окончательным. «Новые контрпримеры подрывают старые доказательства, лишая их силы. Доказательства пересматриваются, и новые варианты ошибочно считаются окончательными. Но, как учит история, это означает лишь, что для критического пересмотра доказательства еще не настало время»<sup>2</sup>.

Математик не полагается на строгое доказательство в такой степени, как обычно считают. «Интуиция может оказаться более удовлетворительной и вселять большую уверенность, чем логика, — пишет М.Клайн. — Когда математик спрашивает себя, почему верен тот или иной результат, он ищет ответа в интуитивном понимании. Обнаружив непонимание, математик подвергает доказательство тщательнейшему критическому пересмотру. Если доказательство покажется ему правильным, то он приложит все силы, чтобы понять, почему интуиция подвела его. Математик жаждет понять внутреннюю причину, по которой успешно срабатывает цепочка силлогизмов... Прогрессу математики, несомненно, способствовали главным образом люди,

<sup>1</sup>Wilder R.L. The Nature of Mathematical Proof / American Mathematical Monthly. — 1944. — V. 51. — P. 320.

<sup>2</sup>Клайн М. Математика. Утрата определенности. — М., 1984. — С. 361.

наделенные не столько способностью проводить строгие доказательства, сколько необычайно сильной интуицией»<sup>1</sup>.

Таким образом, даже математическое доказательство не обладает абсолютной убедительностью и гарантирует только относительную уверенность в правильности доказанного положения. Как пишет К.Айдукевич, «сказать, что в дедуктивных науках обоснованными считаются такие утверждения, для которых приведено дедуктивное доказательство, значит мало что сказать, поскольку мы не знаем ясно, что представляет собой то дедуктивное доказательство, которое делает правомочным в глазах математика принятие доказанного утверждения или которое составляет его обоснование»<sup>2</sup>.

Переоценка роли доказательств в аргументации связана с неявным допущением, что рациональная дискуссия должна иметь характер доказательства, обоснования или логического вывода из некоторых исходных принципов. Сами эти принципы следует принимать на веру, если мы желаем избежать бесконечного регресса, ссылок на все новые и новые принципы. Однако реальные дискуссии только в редких случаях приобретают форму вывода обсуждаемых положений из каких-то более общих истин.

## 2. Системная аргументация

Трудно указать утверждение, которое обосновывалось бы само по себе, в изоляции от других положений. Обоснование всегда носит системный характер. Включение нового положения в систему других положений, придающую устойчивость своим элементам, является одним из наиболее существенных шагов в его обосновании.

*Системная аргументация — обоснование утверждения путем включения его в качестве составного элемента в кажущуюся хорошо обоснованной систему утверждений, или теорию.*

Подтверждение следствий, вытекающих из теории, является одновременно и подкреплением самой теории. С другой стороны, теория сообщает выдвинутым на ее основе положениям определенные импульсы и силу и тем самым содействует их

<sup>1</sup>Там же. — С. 362—363.

<sup>2</sup>Ajdukiewicz K. Zagadnienie uzasadniania // Język a poznanie. — Warszawa, 1965. — Т. 1. — S. 378—379.

обоснованию. Утверждение, ставшее элементом теории, опирается уже не только на отдельные факты, но во многом также на широкий круг явлений, объясняемых теорией, на предсказание ею новых, ранее неизвестных эффектов, на связи ее с другими теориями и т.д. Анализируемое положение, включенное в теорию, получает ту эмпирическую и теоретическую поддержку, какой обладает теория в целом.

Л. Витгенштейн писал о целостности и системности знания: «Не изолированная аксиома бросается мне в глаза как очевидная, но целая система, в которой следствия и посылки взаимно поддерживают друг друга»<sup>1</sup>. Системность распространяется не только на теоретические положения, но и на данные опыта: «Можно сказать, что опыт учит нас каким-то утверждениям. Однако он учит нас не изолированным утверждениям, а целому множеству взаимозависимых предложений. Если бы они были разрознены, я, может быть, и сомневался бы в них, потому что у меня нет опыта, непосредственно связанного с каждым из них»<sup>2</sup>. Основания системы утверждений, замечает Витгенштейн, не поддерживают эту систему, но сами поддерживаются ею. Это значит, что надежность оснований определяется не ими самими по себе, а тем, что над ними может быть надстроена целостная теоретическая система.

Сомнение, как разъясняет Витгенштейн, касается не изолированного предложения, но всегда некоторой ситуации, в которой я веду себя определенным образом. Например, когда я достаю из своего почтового ящика письма и смотрю, кому они адресованы, я проверяю, все ли они адресованы мне, и при этом я твердо придерживаюсь убеждения, что меня зовут Б.П. И поскольку я продолжаю проверять таким образом, для меня ли все эти письма, я не могу осмысленно сомневаться в своем имени.

Сомнение имеет смысл только в рамках некоторой, как выражается Витгенштейн, «языковой игры», или сложившейся практики деятельности, при условии принятия ее правил. Поэтому бессмысленно мне сомневаться, что у меня две руки или что Земля существовала за 150 лет до моего рождения, ибо нет такой практики, внутри которой при принятии ее предпосылок можно было бы сомневаться в этих вещах.

Согласно Витгенштейну *эмпирические предложения* могут быть в некоторых ситуациях проверены и подтверждены в опыте. Но

<sup>1</sup> Wittgenstein L. On Certainty. — Oxford, 1969. — 142.

<sup>2</sup> Ibid. — 140.



есть ситуации, когда они, будучи включенными в систему утверждений, в конкретную практику, не проверяются и сами используются как основание для проверки других предложений. Так обстояло дело в упомянутой ситуации у почтового ящика. «Меня зовут Б.П.» — эмпирическое предложение, используемое как основание для проверки утверждения «Все письма адресованы мне». Однако можно придумать такую историю («практику»), когда мне придется на базе других данных и свидетельств проверять, зовусь ли я Б.П. В обоих случаях статус эмпирического предложения зависит от контекста, от той системы утверждений, элементом которой оно является. Вне контекста бессмысленно спрашивать, является ли данное предложение эмпирически проверяемым или я его твердо придерживаюсь.

Когда мы твердо придерживаемся некоторого убеждения, мы обычно более склонны сомневаться в источнике противоречащих данных, нежели в нем самом. Однако когда эти данные становятся настолько многочисленными, что мешают использовать рассматриваемое убеждение для оценки других утверждений, мы можем все-таки расстаться с ним.

Помимо эмпирических, Витгенштейн выделяет *методологические предложения*. Они тоже случайны в том смысле, что их отрицание не является логическим противоречием. Однако они не являются проверяемыми ни в каком контексте. Витгенштейн предупреждает, что внешнее сходство может запутать нас и побудить относиться одинаково к эмпирическим предложениям типа: «Существуют рыжие собаки» и методологическим типа: «Существуют физические объекты». Но дело в том, что мы не можем вообразить ситуацию, в которой мы могли бы убедиться в ложности методологического предложения. Это зависит уже не от контекста, а от совокупности всего воображаемого опыта.

Витгенштейн выделяет также группу предложений, в которых я едва ли могу сомневаться, и предложения, которые трудно классифицировать (например, утверждение, что я никогда не был в другой солнечной системе).

Свои идеи о различном статусе предложений Витгенштейн представляет в метафоре реки. Эмпирические предложения — это текущие и меняющие свой облик воды реки. Некоторые предложения, имеющие форму эмпирических, отвердели и образовали русло реки. Надо различать движение воды и сотрясения грунта, образующего дно и берега. Однако и ложе состоит

не из одних твердых камней, но и из песка, движущегося так же легко, как и вода.

В свое время Декарт настаивал на необходимости возможно более полного и радикального сомнения. Согласно Декарту, вполне достоверно лишь его знаменитое *cogito* — положение «Я мыслю, следовательно, существую». Витгенштейн придерживается прямо противоположной позиции. Он считает, что для сомнений нужны веские основания, более того, есть категории утверждений, в приемлемости которых мы не должны сомневаться никогда. Выделение этих категорий утверждений непосредственно связано с системным характером человеческого знания, с его внутренней целостностью и единством.

Связь обосновываемого утверждения с той системой утверждений, в рамках которой оно выдвигается и функционирует, существенным образом влияет на эмпирическую проверяемость этого утверждения и, соответственно, на ту аргументацию, которая может быть выдвинута в его поддержку. В контексте своей системы («языковой игры», «практики») утверждение может приниматься в качестве несомненного, не подлежащего критике и не требующего обоснования по меньшей мере в двух случаях.

Во-первых, если отбрасывание этого утверждения означает отказ от определенной практики, от той целостной системы утверждений, неотъемлемым составным элементом которой оно является. Таково, к примеру, утверждение «Небо голубое»: оно не требует проверки и не допускает сомнения, иначе будет разрушена вся практика визуального восприятия и различения цветов. Отбрасывая утверждение «Солнце завтра взойдет», мы подвергаем сомнению всю естественную науку. Сомнение в достоверности утверждения «Если человеку отрубить голову, то обратно она не прирастет» ставит под вопрос всю физиологию и т.д. Эти и подобные им утверждения обосновываются не эмпирически, а ссылкой на ту устоявшуюся и хорошо апробированную систему утверждений, составными элементами которой они являются и от которой пришлось бы отказаться, если бы они оказались отброшенными. Дж. Мур задавался в свое время вопросом: как можно было бы обосновать утверждение «У меня есть рука»? Согласно Витгенштейну, ответ на этот вопрос является простым: данное утверждение очевидно и не требует никакого обоснования в рамках человеческой практики восприятия; сомневаться в нем значило бы поставить под сомнение всю эту практику.

Во-вторых, утверждение должно приниматься в качестве несомненного, если оно сделалось в рамках соответствующей системы утверждений стандартом оценки иных ее утверждений и в силу этого утратило свою эмпирическую проверяемость. Среди таких утверждений, перешедших из разряда описаний в разряд ценностей, можно выделить два типа: (1) утверждения, не проверяемые в рамках определенной, достаточно узкой практики, и (2) утверждения, не проверяемые в рамках любой, сколь угодно широкой практики. Примером утверждений первого типа является утверждение об имени человека, просматривающего почту: пока он занят этой деятельностью, он не может сомневаться в своем имени. Ко второму типу относятся утверждения, называемые Витгенштейном методологическими: «Существуют физические объекты», «Я не могу ошибаться в том, что у меня есть рука» и т.п. Связь этих утверждений с другими нашими убеждениями практически всеобъемлюща. Подобные утверждения зависят не от конкретного контекста, а от совокупности всего воображаемого опыта, в силу чего пересмотр их практически невозможен. Сходным образом обстоит дело с утверждениями «Земля существовала до моего рождения», «Объекты продолжают существовать, даже когда они никому не даны в восприятии» и т.п.: они настолько тесно связаны со всеми другими нашими утверждениями, что практически не допускают исключения из нашей системы знания.

Таким образом, аргументация, приводимая в поддержку какого-то утверждения, существенным образом зависит от связей последнего с той системой утверждений, или практикой, в рамках которой оно используется. Можно выделить пять типов утверждений, по-разному относящихся к практике их употребления:

- 1) утверждения, относительно которых не только возможно, но и разумно сомнение в рамках конкретной практики;
- 2) утверждения, в отношении которых сомнение возможно, но не является разумным в данном контексте (например, результаты надежных измерений; информация, полученная из надежного источника);
- 3) утверждения, не подлежащие сомнению и проверке в данном контексте под угрозой разрушения этого контекста;
- 4) утверждения, сделавшиеся стандартами оценки иных утверждений и потому не проверяемые в рамках данной практики, однако допускающие проверку в других контекстах;

5) методологические утверждения, не проверяемые в рамках любой практики<sup>1</sup>.

Не вполне ясным является отношение между утверждениями, сомнение в которых способно разрушить конкретную практику (3), и утверждениями, утратившими свой эмпирический характер и превратившимися в стандарты оценки иных утверждений (4). Можно предположить, что первые всегда входят в состав вторых и являются стандартами оценки других утверждений.

Аргументация в поддержку утверждений (3) предполагает ссылку на ту систему утверждений, или ту практику, неотъемлемым элементом которой является рассматриваемое утверждение. Аргументация в поддержку утверждений (4) основывается на выявлении их оценочного характера, их необходимости в рамках конкретной практики и, наконец, в указании на эффективность этой практики. Оба типа утверждений можно сделать предметом сомнения, проверки и обоснования, выйдя за пределы их практики, поместив их в более широкий или просто другой контекст. Что касается методологических утверждений, входящих во всякую мыслимую практику, то аргументация в их поддержку может опираться только на убеждение в наличии тотального соответствия между совокупностью наших знаний и внешним миром, на уверенность во взаимной согласованности всех наших знаний и опыта. Однако общая ссылка на совокупный, не допускающий расчленения опыт обычно выглядит не особенно убедительной.

Иногда высказывается мнение, что системный характер нашего знания делает неоправданным вопрос об обосновании любого отдельно взятого утверждения. Всякое более или менее абстрактное предложение, лишь косвенно поддерживаемое непосредственным опытом, может считаться истинным только в рамках какой-то концепции или теории. За ее пределами оно просто бессмысленно, и значит, не может быть ни обосновано, ни опровергнуто. «Мы можем говорить и говорим разумно о том или ином предложении как истинном, — пишет, например, У. Куайн, — скорее тогда, когда мы обращаемся к положениям фактически существующей в данный момент теории, принятой хотя бы в качестве гипотезы. Осмысленно применять понятие “истин-

---

<sup>1</sup>Полная классификация должна включать также утверждения, в которых возможно и разумно сомневаться в любой практике, и утверждения, в которых возможно, но неразумно сомневаться в любой практике.

ный” к такому предложению, которое сформулировано в терминах данной теории и понимается в рамках постулированной в ней реальности»<sup>1</sup>. Даже такие утверждения, как «Брут убил Цезаря» и «Атомный вес натрия — 23», значимы лишь относительно определенной теории. Она представляется нам настолько естественной и очевидной, что ускользает от нашего внимания.

Вряд ли эта крайняя позиция верна. Обоснованность утверждения во многом зависит от той системы представлений, в которую оно включено. Но эта зависимость не абсолютна. Нельзя сказать, что утверждение, истинное в рамках одной теории, может стать ложным в свете какой-то иной теории. Если бы это было так, понятие истины оказалось бы вообще не применимым к отдельным утверждениям.

С темой системности обоснования связан и известный тезис Дюгема—Куайна о возможности сохранения любой гипотезы путем соответствующих изменений той теоретической системы, в рамках которой она выдвигается. Как пишет Куайн, «любое высказывание может во что бы то ни стало сохранять свою истинность, если мы проделаем достаточно решительную корректировку в каком-то ином разделе системы»<sup>2</sup>. Опираясь на данный тезис, можно сказать, что любое произвольное утверждение теоретической системы является истинным «во что бы то ни стало»: ценой соответствующих компенсирующих модификаций в теории любое из входящих в нее положений может быть сохранено перед лицом явно противоречащих ему эмпирических данных.

Убедительных доводов в поддержку тезиса Дюгема—Куайна приведено не было. Сославшись на такую гипотезу, как «На Элмстрит есть кирпичные дома», Куайн замечает, что даже это утверждение, «столь уместное в чувственном опыте... может сохранить силу перед лицом противоречащих ему переживаний с помощью защитной галлюцинации или внесения поправок в высказывания, которые именуется законами логики»<sup>3</sup>. Ссылка на галлюцинацию несерьезна, аргумент о возможном изменении логики не убедителен. Как показывает А. Грюнбаум, нельзя доказать общее положение, что теорию можно модифицировать так, чтобы любая относящаяся к ней гипотеза была непременно сохранена. Для каждого частного случая теории необходимо особое доказательство существования такой модификации<sup>4</sup>.

Таким образом, системность обоснования не означает, что отдельно взятое эмпирическое утверждение не может быть ни обосновано, ни опровергнуто вне рамок той теоретической системы, к которой оно принадлежит.

Важным, но пока почти не исследованным способом обоснования теоретического утверждения является *внутренняя пере-*

---

<sup>1</sup> Куайн У. В. О. Слово и объект // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. — М., 1986. — С. 47.

<sup>2</sup> Quine V. W. O. From a Logical Point of View. — Cambridge, 1961. — P. 43.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> См.: Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. — М., 1969. — С. 131—139.

*стройка теории*, в рамках которой оно выдвинуто. Эта перестройка, или переформулировка, предполагает введение новых образцов, норм, правил, оценок, принципов и т.п., меняющих внутреннюю структуру как самой теории, так и постулируемого ею «теоретического мира».

Новое научное, теоретическое положение складывается не в вакууме, а в определенном теоретическом контексте. Контекст теории определяет конкретную форму выдвигаемого положения и основные перипетии его последующего обоснования. Если научное предположение берется в изоляции от той теоретической среды, в которой оно появляется и существует, остается неясным, как ему удастся в конце концов стать элементом достоверного знания.

Выдвижение предположений диктуется динамикой развития той теории, к которой они относятся, стремлением ее охватить и объяснить новые факты, устранить внутреннюю несогласованность и противоречивость и т.д. Во многом поддержка, получаемая новым положением от теории, связана с внутренней перестройкой последней. Эта перестройка может заключаться во введении номинальных определений (определений-требований) вместо реальных (определений-описаний), принятии дополнительных соглашений относительно изучаемых объектов, уточнении основополагающих принципов теории, изменении иерархии этих принципов и т.д.

Теория придает входящим в нее положениям определенную силу. Эта поддержка во многом зависит от положения утверждения в теории, в иерархии составляющих ее утверждений. Перестройка теории, обеспечивающая перемещение какого-то утверждения от ее «периферии» к ее «ядру», сообщает этому утверждению большую системную поддержку.

Несколько простых примеров поясняют эту сторону дела.

Хорошо известно, что жидкость есть такое состояние вещества, при котором давление передается во все стороны равномерно. Иногда эту особенность жидкости кладут в основу самого ее определения. Если бы вдруг обнаружилось такое состояние вещества, которое во всем напоминало бы жидкость, но не обладало бы, однако, свойством равномерной передачи давления, мы обязаны были бы не считать это состояние жидкостью.

Не всегда жидкость определялась так. В течение довольно долгого времени утверждение, что жидкость передает давление во все стороны равномерно, являлось только предположением. Оно было проверено для многих жидкостей, но его приложимость ко всем иным, еще не исследованным жидкостям оставалась проблематичной. В дальнейшем, с углублением представлений о жидкости, это утверждение превратилось в эмпирическую истину, а затем и в определение жидкости как особого состояния вещества и стало, таким образом, тавтологией.

За счет чего осуществился этот переход от предположения к тавтологии? Здесь действовали два взаимосвязанных фактора. С одной стороны, привлекался все новый опытный материал, относившийся к разным жидкостям и подтверждавший рассматриваемое утверждение. С другой стороны, углублялась и перестраивалась сама теория жидкости, включившая в конце концов это утверждение в свое ядро.

Сходным образом, известный химический закон кратных отношений первоначально был простой эмпирической гипотезой, имевшей к тому же случайное и сомнительное подтверждение. После работ английского химика В. Дальтона химия была радикально перестроена. Положение о кратных отношениях сделалось составной частью определения химического состава, и его стало невозможно ни проверить, ни опровергнуть экспериментально. Химические атомы могут комбинироваться только в отношении один к одному или в некоторой другой простой, целочисленной пропорции — сейчас это конструктивный принцип современной химической теории.

Подобного рода внутреннюю перестройку теории можно попытаться проиллюстрировать на упрощенном примере.

Допустим, нам надо установить, что объединяет между собой следующие города: Вадуц, Валенсия, Валлетта, Ванкувер, Вена, Вьентьян. Сразу можно выдвинуть предположение, что это — города, являющиеся столицами. Действительно, Вьентьян — столица Лаоса, Вена — Австрии, Валлетта — Мальты, Вадуц — Лихтенштейна. Но Валенсия — не столица Испании, а Ванкувер — не столица Канады. Вместе с тем Валенсия — главный город одноименной испанской провинции, а Ванкувер — одноименной канадской провинции. Чтобы сохранить исходную гипотезу, мы должны соответствующим образом уточнить определение понятия столицы. Будем понимать под «столицей» главный город государства или его территориальной части: провинции, области и т.п. В таком случае Валенсия — столица провинции Валенсия, а Ванкувер — столица провинции Ванкувер. Благодаря перестройке «мира столиц» мы добились того, что наше исходное предположение стало истинным.

Теория дает составляющим ее утверждениям дополнительную поддержку. Чем крепче сама теория, чем она яснее и надежней, тем большей является такая поддержка. В силу этого совершенствование теории, укрепление ее эмпирической базы и прояснение ее общих, в том числе философских и методологических предпосылок является одновременно существенным вкладом в обоснование входящих в нее утверждений.

Среди способов прояснения теории особую роль играют выявление логических связей ее утверждений, минимизация ее исходных допущений, построение ее в форме аксиоматической системы и, наконец, если это возможно, ее формализация. «Если мы требуем от наших теорий все лучшей проверяемости, — пишет К. Поппер, — то оказывается неизбежным и требование их логической строгости и большего информативного содержания. Все множество следствий теории должно быть получено дедуктивно; теорию, как правило, можно проверить лишь путем непосредственной проверки отдален-

ных ее следствий — таких следствий, которые трудно усмотреть интуитивно»<sup>1</sup>.

При аксиоматизации теории некоторые ее положения избираются в качестве исходных, а все остальные положения выводятся из них чисто логическим путем. Исходные положения, принимаемые без доказательства, называются **а к с и о м а м и** (постулатами), положения, доказываемые на их основе, — **т е о р е м а м и**.

Аксиоматический метод систематизации и прояснения знания зародился еще в античности и приобрел большую известность благодаря «Началам» Евклида — первому аксиоматическому истолкованию геометрии. Сейчас аксиоматизация используется в математике, логике, а также в отдельных разделах физики, биологии и др. Аксиоматический метод требует высокого уровня развития аксиоматизируемой содержательной теории, ясных логических связей ее утверждений. С этим связана довольно узкая его применимость и наивность попыток перестроить всякую науку по образцу геометрии Евклида.

Кроме того, как показал австрийский логик и математик К.Гёдель, достаточно богатые научные теории (например, арифметика натуральных чисел) не допускают полной аксиоматизации. Это говорит об ограниченности аксиоматического метода и невозможности полной формализации научного знания.

Построение научной теории в форме аксиоматизированной дедуктивной системы не является идеалом и той конечной целью, достижение которой означает предел совершенствования теории.

### 3. Опровержимость и проверяемость

Еще одним способом теоретического обоснования является *анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения*.

От научных положений требуется, чтобы они допускали принципиальную возможность своего опровержения и предполагали определенные процедуры своего подтверждения. Если этого нет, относительно выдвинутого положения нельзя сказать, какие ситуации и факты несовместимы с ним, а какие — поддерживают его. Положение, в принципе не допускающее опровержения и подтверждения, оказывается вне конструктивной критики, оно

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 334.



не намечает никаких реальных путей дальнейшего исследования. Такое утверждение нельзя, конечно, признать обоснованным.

Вряд ли можно назвать обоснованным, допустим, предположение, что ровно через десять лет в этом же месте будет солнечно и сухо. Оно не опирается ни на какие факты, нельзя даже представить, как можно было бы опровергнуть или подтвердить его, если не сейчас, то хотя бы в недалеком будущем.

«Душа не может прыгнуть выше самой себя, — пишет К.Г.Юнг, — то есть не может устанавливать какие-либо абсолютные истины; ибо ее собственная полярность обуславливает релятивность ее высказываний. Когда душа провозглашает абсолютные истины, как например, “вечная сущность есть Единое”, она *volens nolens* впадает в те или иные противоречия. Ведь с одинаковым успехом могли бы значиться: “вечная сущность есть покой” или “вечная сущность есть Все”. В своей односторонности душа разрушает самое себя и утрачивает способность познавать»<sup>1</sup>. Приводимые Юнгом суждения о «вечной сущности» явно не допускают даже в принципе эмпирического подтверждения или опровержения. Нельзя надеяться также на то, что когда-то удастся эмпирически подтвердить или опровергнуть и такие, высказываемые самим Юнгом суждения: «Неверно, будто наше восприятие способно охватить все формы существования» и «То, что душа сама может высказать о себе, никогда не превосходит ее самое»<sup>2</sup>.

В начале этого века Г.Дриш попытался ввести некую гипотетическую «жизненную силу», присущую только живым существам и заставляющую их вести себя так, как они себя ведут. Эта сила — Дриш назвал ее «энтелехией» — имеет будто бы различные виды, зависящие от стадии развития организмов. В простейших одноклеточных организмах энтелехия сравнительно проста. У человека она значительно больше, чем разум, потому что она ответственна за все то, что каждая клетка делает в теле. Дриш не определял, чем энтелехия, допустим, дуба отличается от энтелехии жирафа. Он просто говорил, что каждый организм имеет свою собственную энтелехию. Обычные законы биологии он истолковывал как проявления энтелехии. Если у морского ежа отрезать конечность определенным образом, то еж не выживет. Если отрезать другим способом, то еж выживет, но у него вырастет лишь неполная конечность. Если разрез сделать иначе и на определенной стадии роста морского ежа, то конечность восстановится полностью. Все эти зависимости, известные зоологам, Дриш истолковывал как свидетельства действия энтелехии.

Можно ли было проверить на опыте существование таинственной «жизненной силы»? Нет, поскольку ничем, кроме известного и объяснимого и без нее, она себя не проявляла. Она ничего не добавляла к научному объяснению, и никакие конкретные факты не могли ее коснуться. Не имеющая принципиальной возможности эмпирического подтверждения, гипотеза энтелехии вскоре была оставлена как бесполезная.

Другим примером принципиально непроверяемого утверждения может служить предположение о существовании сверхъестественных, нематериальных объектов, которые никак себя не проявляют и ничем себя не обнаруживают.

К. Поппер отстаивал идею, что принципиальная опровержимость (фальсифицируемость) теории является критерием ее на-

<sup>1</sup>Юнг К.Г. Поздние мысли // Феномен духа в искусстве и науке. — М., 1992. — С. 298.

<sup>2</sup>Там же. С. 299.

учности. Полное подтверждение теории невозможно, достижимо только частичное ее подтверждение. Но такое подтверждение имеют и явно ненаучные концепции. Например, учение астрологов о влиянии звезд на судьбы людей при желании можно подтвердить большим эмпирическим материалом. Поэтому эмпирическая подтверждаемость не может рассматриваться в качестве отличительной особенности науки. То, что некоторые утверждения или система утверждений говорят о реальном мире, проявляется не в подтверждении их опытом, а в том, что опыт может их опровергнуть.

Свои идеи Поппер суммирует так:

«(1) Легко получить подтверждения, или верификации, почти для каждой теории, если мы ищем подтверждений.

(2) Подтверждения должны приниматься во внимание только в том случае, если они являются результатом *рискованных предсказаний*, то есть когда мы, не будучи осведомленными о некоторой теории, ожидали бы события, несовместимого с этой теорией, — события, опровергающего данную теорию.

(3) Каждая “хорошая” научная теория является некоторым запрещением: она запрещает появление определенных событий. Чем больше теория запрещает, тем она лучше.

(4). Теория, не опровержимая никаким мыслимым событием, является ненаучной. Неопровержимость представляет собой не достоинство теории (как часто думают), а ее порок.

(5) Каждая настоящая *проверка* теории является попыткой ее фальсифицировать, то есть опровергнуть. Проверимость есть фальсифицируемость...»<sup>1</sup>.

Все сказанное Поппер суммирует в следующем утверждении: «Критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость, опровержимость, или проверяемость»<sup>2</sup>.

Не допускающая фальсификации теория не налагает никаких ограничений на описываемую ею область явлений и обладает неограниченными объяснительными возможностями. «Я обнаружил, — пишет Поппер, — что те из моих друзей, которые были поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под впечатлением некоторых моментов, общих для этих теорий, в частности под впечатлением их явной *объяснительной силы*. Казалось, эти теории способны объяснить практически

<sup>1</sup> Поппер К. *Логика научного исследования*. // *Логика и рост научного знания*. — С. 244—245.

<sup>2</sup> Там же. — С. 245.

все, что происходило в той области, которую они описывали. Изучение любой из них как будто бы приводило к полному духовному перерождению или к откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, скрытые от непосвященных. Раз ваши глаза однажды были раскрыты, вы будете видеть подтверждающие примеры всюду: мир полон верификациями теории. Все, что происходит, подтверждает ее. Поэтому истинность теории кажется очевидной и сомневающиеся в ней выглядят людьми, отказывающимися признать очевидную истину либо потому, что она несовместима с их классовыми интересами, либо в силу присущей им подавленности, непонятой до сих пор и нуждающейся в лечении»<sup>1</sup>. Непрерывный поток подтверждений и наблюдений, «верифицирующих» теорию, является выражением не силы, а, наоборот, слабости этой теории<sup>2</sup>.

Требование, чтобы научная теория допускала принципиальную возможность опровержения, Р.Арон использует для критики теории заработной платы Маркса. Теория, согласно которой стоимость рабочей силы измеряется стоимостью товаров, необходимых рабочему и его семье, либо ложна, либо не подлежит опровержению и, следовательно, является ненаучной. Объем необходимых товаров представляет собой либо физиологический минимум, либо минимум, меняющийся от общества к обществу. По Марксу, минимум определяется скорее уровнем культуры, чем естественными потребностями. В этом случае, каков бы ни был уровень зарплаты, он никогда не будет выше того минимума, которого требуют коллективное сознание и потребности трудящегося. И никогда не будет противоречия между теорией и сколь угодно высоким уровнем зарплаты. «Но является ли теория научной в современном смысле слова, если ни один факт не может ее опровергнуть?»<sup>3</sup>.

Об историческом материализме Маркса Арон пишет, что он также «не поддается ни верификации, ни опровержению. При анализе капитализма его нельзя опровергнуть количественными данными, так как он их не признает. При анализе исторических событий он опять-таки неопровержим, потому что он в конце концов их объясняет и принимает»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>Там же. — С. 242.

<sup>2</sup>Сходную идею высказывал ранее Ч.Пирс, полагавший, что в качестве гипотез, подлежащих испытанию, предпочтительны наиболее смелые догадки, в наибольшей степени подверженные опровергающему экспериментированию. В частности, Пирс писал: «С гипотезами следует поступать следующим образом: дедуктивно вывести следствия, сравнить их с результатами эксперимента, используя индукцию, отбросить гипотезу в случае неудачи, повторить попытку и т.д. Как долго будет продолжаться этот процесс, пока мы не найдем гипотезу, выдержавшую все испытания, сказать нельзя; но можно надеяться, что в конце концов нам удастся это сделать» (*Pierce Ch.S. The Collected Papers.* — Cambridge, 1958. — V. 7. — § 220). Пирс придавал исключительное значение своей доктрине принципиальной погрешимости и опровержимости научного знания. Он распространял эту доктрину не только на эмпирическое естествознание, но и на формальные науки: математику и логику.

<sup>3</sup>Арон Р. Мнимый марксизм. — М., 1993. — С. 278—279.

<sup>4</sup>Там же. — С. 334.

Положения, в принципе не допускающие проверки, надо, конечно, отличать от утверждений, непроверяемых лишь сегодня, на нынешнем уровне развития науки. Сто с небольшим лет назад представлялось очевидным, что мы никогда не узнаем химического состава отдаленных небесных тел. Различные гипотезы на этот счет казались принципиально непроверяемыми. Но после создания спектроскопии они сделались не только проверяемыми, но и перестали быть гипотезами, превратившись в экспериментально устанавливаемые факты.

Утверждения, не допускающие проверки сразу, не отбрасываются, если в принципе остается возможность проверки их в будущем. Но обычно такие утверждения не становятся предметом серьезных научных дискуссий. Так обстоит дело, к примеру, с предположением о существовании внеземных цивилизаций, практическая возможность проверки которого пока что ничтожна.

Требование принципиальной фальсифицируемости является важным, но трудно приложимым. Оно предполагает, с одной стороны, изолированность теоретических утверждений, и, с другой, наличие абсолютно непроблематичных наблюдений. Но любое теоретическое утверждение связано с другими подобными утверждениями и зависит от них. А наблюдения теоретически нагружены и для установления их смысла необходимы некоторые теоретические допущения. Исследователь никогда не оказывается в ситуации, когда он может сравнивать изолированное теоретическое утверждение с ничем не опосредствованным миром. Далее, требование фальсифицируемости предполагает, что утверждения, сопоставляемые с опытом, формулируются с помощью достаточно определенных терминов, чтобы исключить сомнения в том, противоречат данные утверждения какому-то фактам или нет. Этому предположению не удовлетворяют многие гипотезы, особенно в гуманитарных науках. Допустим, кто-то утверждает, что все поступки совершаются исключительно из эгоистических побуждений. До тех пор, пока понятие эгоизма не будет должным образом уточнено, выдвинутая гипотеза будет неуязвимой для критики. Каждый контрпример поведения, кажущегося альтруистическим, можно истолковывать, сменяя смысл слова «эгоистический», как подтверждение глубокого эгоизма, находящего в альтруизме свое парадоксальное выражение. И наконец, требование фальсифицируемости трудно применить в таких науках, как математика и логика. Принято считать, что их суждения необходимо истинны. Как можно сопоставить их с эмпирическими данными? Какие «факты» мож-

но противопоставить математической или логической теории? На эти вопросы нет ясных ответов. Математика и логика опираются в конечном счете на опыт, но это — совокупный опыт познания, не допускающий расчленения на отдельные «факты»<sup>1</sup>.

#### 4. Условие совместимости

Обоснованное утверждение должно находиться в согласии с фактическим материалом, на базе которого и для объяснения которого оно выдвинуто. Оно должно соответствовать также имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям и т.п. Это — так называемое *условие совместимости*.

Если, к примеру, кто-то предлагает детальный проект вечного двигателя, то нас в первую очередь интересуют не тонкости конструкции и не ее оригинальность, а то, знаком ли ее автор с законом сохранения энергии. Энергия, как хорошо известно, не возникает из ничего и не исчезает бесследно, она только переходит из одной формы в другую. Это означает, что создание вечного двигателя несовместимо с одним из фундаментальных законов природы, такой двигатель невозможен в принципе, независимо от его конструкции.

Как говорил еще в прошлом веке один из французских романтиков, если человек заявляет, что его теория и открытия отменяют все предшествующие, то теория эта наверняка безумна и беспочвенна, а открытия ложны.

Являясь принципиально важным, условие совместимости не означает, конечно, что от каждого нового положения следует требовать полного приспособления к тому, что сегодня принято считать законом. Как и соответствие фактам, соответствие утверждения теоретическим истинам не должно истолковываться чересчур прямолинейно. Может случиться, что новое знание заставит иначе посмотреть на то, что принималось раньше, уточнить или даже отбросить что-то из старого знания. Согласование с принятыми теориями разумно до тех пор, пока оно направлено на отыскание истины, а не на сохранение авторитета старой теории.

---

<sup>1</sup>Сомнительно, пишет Т.Кун, что фальсифицирующий опыт действительно существует. «...Ни одна теория никогда не решает всех головоломок, с которыми она сталкивается в данное время, а также нет ни одного уже достигнутого решения, которое было бы совершенно безупречно. Наоборот, именно неполнота и несовершенство существующих теоретических данных дают возможность в любой момент определить множество головоломок, которые характеризуют нормальную науку. Если бы каждая неудача установить соответствие теории природе была бы основанием для ее опровержения, то все теории в любой момент можно было бы опровергнуть» (Кун Т. Структура научных революций. — С. 186).

Если требование совместимости понимать абсолютно, возможность интенсивного развития науки исключается. Ей предоставляется возможность развиваться за счет распространения на новые явления уже открытых законов, но она лишается права пересматривать уже сформулированные положения. Фактически это есть отрицание развития науки.

Не всегда открытие нового явления или выдвижение новой научной теории должно противоречить старым представлениям. «В принципе, — пишет Т.Кун, — новое явление может быть обнаружено без разрушения какого-либо элемента прошлой научной практики. Хотя открытие жизни на Луне в настоящее время было бы разрушительным для существующих парадигм (поскольку они сообщают нам сведения о Луне, которые кажутся несовместимыми с существованием жизни на этой планете), открытие жизни в некоторых менее изученных частях галактики не было бы таким разрушительным»<sup>1</sup>. Новая теория может не противоречить предшествующим. Она может касаться исключительно тех явлений, которые ранее не были известны. Новая теория может быть теорией более высокого уровня, связывающей воедино группу теорий более низкого уровня. К примеру, теория сохранения энергии обеспечивает как раз такую связь между динамикой, химией, электричеством, оптикой, теорией теплоты и др. Возможны и другие связи между старыми и новыми теориями, не ведущие к их несовместимости. Если бы все связи между теориями были таковы, то развитие науки было бы подлинно кумулятивным. Новые явления могли бы просто раскрывать упорядоченность в некоторой области природы, до этого никем не замеченную. В эволюции науки новое знание приходило бы на смену невежеству, а не другому знанию, не совместимому с прежним. Однако, заключает Кун, упрямые факты истории науки говорят о том, что «кумулятивное приобретение новшеств не только фактически случается редко, но в принципе невозможно»<sup>2</sup>.

В первых же строках своей статьи о планетарной модели атома Резерфорд, выдвинувший эту модель, писал: «Вопрос об устойчивости предлагаемого атома на этой стадии не следует подвергать сомнению...». И действительно, по классическим законам атом не мог быть устроен наподобие Солнечной системы: вращение вынуждало бы электроны непрерывно излучать энергию, а потеря энергии приводила бы их, в согласии с Ньютоном, к неминуемому падению на ядро. Модель Резерфорда была теоретически незаконнорожденной с точки зрения предшествовавших представлений.

<sup>1</sup>Кун Т. Структура научных революций. — С. 126.

<sup>2</sup>Там же. — С. 128.

История науки наглядно показывает, что новая теория, радикально порывающая с традицией, на первых порах буквально погружена в «океан аномалий».

Так, гелиоцентрическое учение Коперника во времена Галилея было настолько явно и очевидно несовместимо с фактами, что Галилей был вынужден назвать его явно ложным. «Нет пределов моему изумлению тому, — писал он, — как мог разум Аристарха (античного предшественника этого учения. — *А.И.*) и Коперника произвести такое насилие над их чувствами, чтобы вопреки последним восторгаться и убедить»<sup>1</sup>.

Модель атома, созданная в начале этого века Н.Бором, была введена и сохранена, несмотря на явные и точные свидетельства, не согласующиеся с нею.

Теория оптических цветов И.Ньютона утверждала, что свет состоит из лучей различной преломляемости, которые могут быть разделены, воссоединены, подвергнуты преломлению, но никогда не изменяют своего внутреннего строения и обладают чрезвычайно малым пространственным сечением. Сам Ньютон признавал, что его теория лучей несовместима с существованием зеркальных отображений. Поскольку поверхность зеркала является гораздо более грубой, чем поперечное сечение лучей, зеркало не должно отражать свет. Ньютон спас свою теорию, введя особую гипотезу, что отражение луча производится не одной точкой отражающего тела, но некоторой «силой тела», равномерно рассеянной по всей его поверхности. Что представляет собой эта «сила», было совершенно не ясно.

Ни одна гипотеза не способна охватить всех явлений, изучаемых в конкретной области. Круг их не определен однозначно и жестко, границы его в большей или меньшей мере размыты. Гипотеза ориентируется, как правило, не на все, а лишь на немногие, но ключевые в каком-то смысле факты.

Сами факты не являются чем-то абсолютно твердым и неизменным. Они могут пересматриваться, уточняться и даже отбрасываться. Новая теория с этого и начинается: с перепроверки и собственной интерпретации наиболее важных из ранее установленных фактов. Кроме того, полное значение факта и его конкретный смысл могут быть поняты зачастую только, так сказать, по контрасту, благодаря гипотезе, вступившей в конфликт с этим фактом.

Факт — не просто то, что непосредственно дано в опыте, что мы видим, слышим и т.п. Факт всегда существует в рамках определенной теоретической конструкции и является теоретически нагруженным: помимо чисто чувственного значения он имеет и определенное теоретическое содержание.

Гипотеза, не отвечающая факту, вырывает его из привычного теоретического контекста. Тем самым она повышает вероятность обнаружить в нем то, что раньше проходило незамеченным.

---

<sup>1</sup>Цит. по: *Фейерабенд П.* Избранные труды по методологии науки. — С. 187.

Криминалисты рассматривают стертые надписи в ультрафиолетовых лучах: невидимое при обычном свете проступает в условиях необычного освещения. Так же и с гипотезами, противоречащими фактам. Иногда они позволяют увидеть в уже известных фактах совершенно новую сторону, как бы стертую или затушеванную той прежней теорией, через очки которой мызираем на них. Это можно уподобить также рассматриванию предмета на контрастном фоне: детали, незаметные на белом фоне, могут привлечь внимание, когда предмет помещается на черный или цветной фон.

Таким образом, в конкретном исследовании могут оказываться полезными даже гипотезы, прямо и недвусмысленно не согласующиеся с устоявшимися фактами. В большинстве случаев эти гипотезы обречены на провал, но, даже будучи опровергнуты, они приносят свою пользу — представляют известное в новом, необычном свете.

Все это относится и к согласованию гипотез с принятыми в науке законами и теориями.

Итак, выдвигаемая гипотеза должна учитывать весь относящийся к делу фактический и теоретический материал. Она должна соответствовать ему. Но если конфликт все-таки имеет место, гипотеза должна быть в состоянии доказать несостоятельность того, что раньше принималось за твердо установленный факт или за доказанное теоретическое положение. Во всяком случае она должна позволять по-новому взглянуть на исследуемые явления, на факты и их теоретическое осмысление.

Новое положение должно находиться в согласии не только с хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определенными *общими принципами*, сложившимися в практике научных исследований. Эти принципы разнородны, они обладают разной степенью общности и конкретности, соответствие им желательно, но не обязательно.

Наиболее известный из них — *принцип простоты*. Согласно этому принципу при объяснении изучаемых явлений не должно быть много независимых допущений, а те, что используются, должны быть возможно более простыми. Принцип простоты проходит через всю историю естественных наук. Многие крупнейшие естествоиспытатели указывали, что в своих исследованиях они руководствовались именно этим принципом. В частности, И.Ньютон выдвигал особое требование «не излишествовать» в причинах при объяснении явлений.

Вместе с тем понятие простоты не является однозначным. Можно говорить о простоте допущений, лежащих в основе теоретического обобщения, о независимости друг от друга таких допущений.



ний. Но простота может пониматься и как удобство манипулирования, легкость изучения и т.д. Не очевидно также, что стремление обойтись меньшим числом посылок, взятое само по себе, повышает надежность выводимого из них заключения.

«Казалось бы, разумно искать простейшее решение, — пишет У.Куайн. — Но это предполагаемое свойство простоты намного легче почувствовать, чем описать»<sup>1</sup>. И тем не менее, продолжает он, «действующие нормы простоты, как бы их ни было трудно сформулировать, играют все более важную роль. В компетенцию ученого входит обобщение и экстраполяция образцовых данных, и, следовательно, постижение законов, покрывающих больше явлений, чем было учтено; и простота в его понимании как раз и есть то, что служит основанием для экстраполяции. Простота относится к сущности статистического вывода. Если данные ученого представлены в виде точек графа, а закон должен быть представлен в виде кривой, проходящей через эти точки, то он чертит самую плавную, самую простую кривую, какую только может. Он даже немного воздействует на точки, чтобы упростить задачу, оправдываясь неточностью измерений. Если он может получить более простую кривую, вообще опустив некоторые точки, он старается объяснить их особым образом... Чем бы ни была простота, она не просто увлечение»<sup>2</sup>.

Простота не столь необходима, как согласие с опытными данными и соответствие ранее принятым теориям. Но иногда обобщения формулируются таким образом, что точность и соответствие опыту в какой-то степени приносятся в жертву достижению приемлемого уровня простоты, и в особенности простоты математического вычисления. Например, в физике много законов, выражающих те или иные пропорциональности, скажем закон Гука в теории упругости или закон Ома в электродинамике. Во всех подобных случаях не возникает сомнений, что нелинейные отношения описывали бы факты с большей точностью, но до тех пор, пока это возможно, пытаются добиться успеха использованием линейных законов<sup>3</sup>.

Требование простоты меняет свое значение в зависимости от контекста. Даже чисто математическая оценка про-

<sup>1</sup>Куайн У.В.О. Слово и объект!// Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. XVIII. — М., 1986. — С. 42.

<sup>2</sup>Там же. — С. 42—43.

<sup>3</sup>См.: Малкей М. Наука и социология знания. — С. 93.

стоты зависит от уровня развития математики. Одно время в физике предпочитались законы, не требующие для своего выражения дифференциального исчисления. В этот период в противоборстве с корпускулярной и волновой теориями света использовался довод, что корпускулярная теория обладает большей математической простотой, в то время как волновая теория требует решения сложных дифференциальных уравнений<sup>1</sup>.

Еще одним принципом, часто используемым при оценке выдвигаемых предположений, является *принцип привычности* (консерватизма). Он рекомендует избегать неоправданных новаций и стараться, насколько это возможно, объяснять новые явления с помощью известных законов. «Привычность, — пишет У. Куайн, — это то же, чем мы пользуемся, когда ухитряемся “объяснить” новые сущности с помощью старых законов, например, когда мы придумываем молекулярную теорию, чтобы вернуть явления тепла, капиллярного притяжения и поверхностного натяжения в лоно привычных старых законов механики. Привычность имеет значение и тогда, когда “неожиданные наблюдения”... побуждают нас пересматривать старую теорию; действие привычности заключается в этом случае в предпочтении минимального изменения»<sup>2</sup>.

Принципы простоты и привычности обладают разной ценностью: если простота и консерватизм дают противоположные рекомендации, предпочтение должно быть отдано простоте. По мысли У. Куайна, эти требования входят в «ядро» научного метода: научный метод в первом приближении может быть определен посредством обращения к чувственным данным, к понятию простоты и понятию привычности<sup>3</sup>.

Ученые, оценивающие новые идеи, опираются также на многие иные критерии, такие как широта применения, точность, плодотворность, изящество и т.д.

*Принцип универсальности* предполагает проверку выдвинутого положения на приложимость его к классу явлений, более широкому, чем тот, на основе которого оно было первоначально сформулировано. Если утверждение, верное для одной области, оказывается достаточно универсальным и ведет к новым заключениям не только в исходной, но и в смежных областях, его объективная значимость заметно возрастает. Тенденция к

<sup>1</sup>См.: Там же.

<sup>2</sup>Куайн У.В.О. Слово и объект. — С. 43.

<sup>3</sup>Там же. — С. 46.

экспансии, к расширению сферы своей применимости в большей или меньшей мере присуща всем плодотворным научным обобщениям.

Хорошим примером здесь может служить гипотеза квантов, выдвинутая М.Планком. В конце прошлого века физики столкнулись с проблемой излучения так называемого абсолютно черного тела, т.е. тела, поглощающего все падающее на него излучение и ничего не отражающего. Чтобы избежать не имеющих физического смысла бесконечных величин излучаемой энергии, Планк предположил, что энергия излучается не непрерывно, а отдельными дискретными порциями — квантами. На первый взгляд гипотеза казалась объясняющей одно сравнительно частное явление — излучение абсолютно черного тела. Но если бы это действительно было так, то гипотеза квантов вряд ли удержалась бы в науке. На самом деле введение квантов оказалось необычайно плодотворным и быстро распространилось на целый ряд других областей. А.Эйнштейн разработал на основе идеи о квантах теорию фотоэффекта, Н.Бор — теорию атома водорода. В короткое время квантовая гипотеза объяснила из одного основания чрезвычайно широкое поле весьма различных явлений.

«Понять природу, — говорил В.Паули, — это ведь значит действительно заглянуть в ее внутренние взаимосвязи, точно знать, что мы познали ее скрытые механизмы. Такое знание не дается познанием одного отдельного явления или одной отдельной группы явлений, даже когда мы открыли в них определенный порядок; оно приходит лишь благодаря тому, что познается как взаимосвязанное и редуцируется к одному простому корню огромное множество опытных фактов. Ведь достоверность покоится как раз на таком множестве. Опасность ошибки становится тем меньше, чем обильнее и многообразнее явления и чем проще общий принцип, к которому они могут быть возведены... Наша мысль удовлетворяется, когда мы познаем, что какая-нибудь особенная, по внешней видимости запутывающая ситуация является лишь специфическим случаем чего-то более общего, что в качестве такового поддается более простой формулировке. Возведение пестрого множества к общему и простому, или, если сказать в духе греков, “многого” к “единому”, и есть ведь то самое, что мы называем “пониманием”»<sup>1</sup>.

Расширение поля действия нового утверждения, его способность объяснять и предсказывать совершенно новые факты является несомненным и важным доводом в его поддержку. Подтверждение какого-то научного положения фактами и экспериментальными законами, о существовании которых до его выдвижения невозможно было даже предполагать, прямо говорит

<sup>1</sup>Гейзенберг В. Часть и целое!// Проблема объекта в современной науке. — М., 1980. — С. 54—55.

о том, что это положение отражает глубокое внутреннее родство изучаемых явлений<sup>1</sup>.

П. Дирак говорил, что красивая, внутренне согласованная теория не может быть неверной. В этой лаконичной формулировке соединяются два других общих принципа, или требования, играющих важную роль в оценке новой теории: *принцип красоты* и *принцип логичности*. О втором речь будет идти далее. Что касается первого, то, согласно ему, хорошая теория должна отличаться особым эстетическим впечатлением, элегантностью, ясностью, стройностью и даже романтичностью. Особую роль требование красоты играет в математике, меньшую — в естествознании и совсем малую — в гуманитарных науках. «Первые варианты большинства новых парадигм являются незрелыми, — пишет Т. Кун. — Когда со временем получает развитие полный эстетический образ парадигмы, оказывается, что большинство членов сообщества уже убеждены другими средствами. Тем не менее значение эстетических оценок может иногда оказываться решающим. Хотя эти оценки привлекают к новой теории только немногих ученых, бывает так, что это именно те ученые, от которых зависит ее окончательный триумф. Если бы они не приняли ее быстро в силу чисто индивидуальных причин, то могло бы случиться, что новый кандидат в парадигмы никогда не развился бы достаточно для того, чтобы привлечь благосклонность научного сообщества в целом»<sup>2</sup>.

Споры вокруг новых теорий во многом касаются не столько их способности к решению уже стоящих проблем, сколько перспектив, открываемых такими теориями в дальнейших исследованиях, в том числе и в разрешении будущих проблем. В силу этого выбор новой теории существенно опирается на веру в нее, на внутреннее убеждение в том, что у нее есть будущее.

<sup>1</sup>К. Поппер сводит принцип универсальности к принципу простоты: «Новая теория должна исходить из *простой, новой, плодотворной и объединяющей идеи* относительно некоторой связи или отношения (такого, как гравитационное притяжение), существующего между до сих пор не связанными вещами (такими как планеты и яблоки), или фактами (такими, как инерционная и гравитационная массы), или новыми «теоретическими сущностями» (такими, как поля и частицы). Это *требование простоты* несколько неопределенно, и, по-видимому, его трудно сформулировать достаточно ясно. Кажется, однако, что оно тесно связано с мыслью о том, что наши теории должны описывать структурные свойства мира, то есть с мыслью, которую трудно развить, не впадая в регресс в бесконечность» (Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 365).

<sup>2</sup>Кун Т. Структура научных революций. — С. 197.

«Что-то должно заставить по крайней мере нескольких ученых почувствовать, — продолжает Кун, — что новый путь избран правильно, и иногда это могут сделать только личные и нечеткие эстетические соображения. С их помощью ученые должны вернуться к тем временам, когда большинство из четких методологических аргументов указывали другой путь. Ни астрономическая теория Коперника, ни теория материи де Бройля не имели других сколько-нибудь значительных факторов привлекательности, когда впервые появились. Даже сегодня общая теория относительности Эйнштейна действует притягательно главным образом благодаря своим эстетическим данным. Привлекательность подобного рода способны чувствовать лишь немногие из тех, кто не имеет отношения к математике»<sup>1</sup>.

Помимо указанных, имеются и другие общие принципы, используемые при оценке новых идей и теорий. Среди них есть не только неясные, но и просто ошибочные утверждения<sup>2</sup>.

Принципы простоты, привычности, универсальности, красоты и др. носят контекстуальный характер: их конкретизация зависит как от области знания, так и от стадии развития этого знания. Скажем, простота в физике не сводится к математической простоте и отличается от простоты в биологии или истории; простота сформировавшейся, хорошо обоснованной теории отлична от простоты теории, только ищущей свои основания.

В каждой области знания имеются также свои стандарты адекватности новой теории. Они являются не только контекстуальными, но и имеют во многом конвенциональный характер. Эти стандарты, принимаемые научным сообществом, касаются общей природы объектов, которые предстоит исследовать и объяснить, той количественной точности, с которой это должно быть сделано, строгости рассуждений, широты данных и т.п.

Так, аристотелевские и схоластические объяснения сводились к сущностям материальных тел и их «скрытым качествам». Но уже в XVII в. на рассуждение о камне, который упал потому, что его «природа» движет его по направлению к центру Вселенной, стали смотреть лишь как на тавтологичную игру слов. Идея Ньютона, что тяготение является действительно некоей внутренней силой природы, вначале не принималась потому, что подобным образом истолкованное тяготение было скрытым качеством в том же самом смысле, как и схоластическое понятие «стремления к падению».

Можно выделить определенные общие классы стандартов, или критериев, адекватности, однако отдельные стандарты, вхо-

<sup>1</sup>Там же. — С. 200.

<sup>2</sup>См. в этой связи: Карнап Р. Философские основания физики. — М., 1975. — С. 275—276.

дящие в тот или иной класс, по-разному реализуются в каждой конкретной области исследований. Д.Равец выделяет два широких типа стандартов адекватности: относящиеся к процессам вывода и связанные с фактическими данными. Стандарты второго типа более разнообразны, «...ибо они контролируют не только условия продуцирования данных и информации, но также силу и пригодность этих данных в конкретном контексте»<sup>1</sup>. Сложность множества релевантных стандартов адекватности сравнима со сложностью самой решаемой проблемы. Это множество существенным образом зависит от области исследований. «Следовательно, — заключает Равец, — невозможно создать точный список критериев адекватности, использующихся в применении к некоторому широком кругу проблем»<sup>2</sup>.

Сходную мысль высказывает и М.Малкей, уподобляющий стандарты адекватности неявному (скрытому) знанию, не допускающему сколь-нибудь полной кодификации: «Ранее принятые утверждения, когда они используются для защиты справедливости последующих, не обеспечивают полной надежности этого процесса, ибо все научные утверждения в своей основе не вполне убедительны. Критерии адекватности не более надежны, ибо они даже не могут быть установлены с помощью обычных процедур, то есть посредством аргументации, базирующейся на контролируемых наблюдениях. Отчасти поэтому их трудно, как правило, сделать четкими; в чем-то они сродни скрытому знанию, которое мастера своего дела передают друг другу в непосредственном общении, и эта их особенность помогает объяснить, почему философы пока что не преуспели в сколько-нибудь детальном их изучении. Это также означает, что такие критерии нелегко подвергать критическим публичным оценкам посредством журнальных публикаций. Итак, в то время как критерии научной адекватности фигурируют в качестве ресурсов для оценки новых научных утверждений, их собственная «адекватность» может быть установлена лишь самым косвенным и ненадежным образом»<sup>3</sup>.

Теория, методы научного исследования и стандарты адекватности теснейшим образом переплетаются между собой. С изменением теории обычно происходят значительные изменения и в стандартах адекватности.

<sup>1</sup>*Ravetz J.R. Scientific Knowledge and Its Social Problems. — Oxford, 1971. — P. 154.*

<sup>2</sup>*Ibid. — P. 155.*

<sup>3</sup>*Малкей М. Наука и социология знания. — С. 96.*

Таким образом, новые научные утверждения не оцениваются с помощью универсальных и неизменных критериев. Принимаемые в науке правила обоснования, требование совместимости, общие принципы и стандарты адекватности не являются жесткими. Границы «научного метода» расплывчаты и отчасти конвенциональны. Любое значительное изменение теории ведет к изменению совокупности тех методологических средств, которые в ней используются. Выводы даже естественной науки определяются не только физическим, но и социальным миром.

## 5. Методологическая аргументация

Метод — это система предписаний, рекомендаций, предостережений, образцов и т.п., указывающих как сделать что-то. Метод охватывает прежде всего средства, необходимые для достижения определенной цели, но может содержать также характеристики, касающиеся самой цели. Метод регламентирует некоторую сферу деятельности, и является, как таковой, совокупностью предписаний. Вместе с тем метод обобщает и систематизирует опыт действий в этой сфере. Являясь итогом и выводом из предшествующей практики, он своеобразным образом описывает эту практику.

*Методологическая аргументация — это обоснование отдельного утверждения или целостной концепции путем ссылки на тот несомненно надежный метод, с помощью которого получено обосновываемое утверждение или отстаиваемая концепция.*

Например, для обоснования утверждения « $242+345=587$ » проще всего сослаться на однозначный, никогда не подводящий метод сложения двух чисел. Утверждая, что небо голубое, мы можем сослаться на то, что в обычных условиях оно всегда видится таким человеком с нормальным зрением. Если мы ошибаемся, говоря, что  $12 \cdot 12 = 145$ , то это залог существования процедуры счета, приводящей к правильным результатам. Если кто-то утверждает, что небо зеленое, мы в первую очередь интересуемся той системой требований, которой руководствовался наблюдатель, и в частности требований к его зрению.

Иногда методологической обоснованности придается столь большое значение, что в терминах метода определяется само понятие обоснования. «...Обосновать утверждение, — пишет, например К.Айдукевич, — значит оправдать его принятие с помощью метода, который обеспечивает достижение поставленной цели, например, обеспечивает получение истинного знания о действительности. Отнесение утверждения к обоснованным означает, что

его принятие оправдано использованием процедуры, эффективной с точки зрения нашей цели, и, далее, сама эта процедура заслуживает позитивной оценки и что следование ей позитивно ценно в аспекте данной цели. На эту оценку может опираться норма, позволяющая применять данную процедуру всякий раз, когда нужно достичь данной цели»<sup>1</sup>.

Представления о сфере применимости методологической аргументации менялись от одной эпохи к другой. Существенное значение придавалось ей в Новое время, когда считалось, что именно методологическая гарантия, а не соответствие фактам как таковое, сообщает суждению его обоснованность. Современная методология науки скептически относится к мнению, что строгое следование методу способно само по себе обеспечить истину и тем более служить ее обоснованием.

Возможности методологической аргументации очень различны в разных областях знания. Ссылки на метод, с помощью которого получено конкретное заключение, довольно обычны в естественных науках, крайне редки в гуманитарных науках и почти не встречаются в практическом и тем более в художественном мышлении.

Методологизм Нового времени естественным образом вытекал из фундаментальных предпосылок мышления этой эпохи и из ее оппозиции средневековому мышлению, тяготевшему к умозрительным спекуляциям. На первых порах методологизм наиболее ярко проявлялся в сфере эмпирического познания. Стремление наблюдать, скрупулезно описывать разнообразные природные явления, устанавливать с максимально возможной полнотой и точностью различия между ними, какими бы незначительными они ни казались, совершенно не было свойственно средневековому ученому. Предстояло научиться вести систематическое наблюдение, не искажаемое предвзятыми допущениями. Показательна в этом плане борьба Ф.Бэкона против беспорядочного опыта, характерного для позднего средневековья, стремление доказать, что научное значение имеет лишь методический опыт, полученный в результате строгим образом регламентированных процедур. Даже изготовление золота и совершение разных чудес следовало, по Бэкону, осуществлять по строгим, методологически выверенным рецептам. Чуть позднее Р.Декарт попытался разработать универсальный метод, гарантирующий достижение истины в любых областях исследования. О характере правил, предполагаемых таким методом, выразительно говорит предложение Декарта «делать всюду настолько полные перечни и такие общие обзоры, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено»<sup>2</sup>. Этот методологический императив, существенный для перехода от умозрительных ненаучных теорий к систематическому изучению фактов, мало что дает теперь для оценки полученных на его основе утверждений.

В теории познания Нового времени проблема обоснования во многом сводилась к изучению тех способов или процедур, которые обеспечивали бы безус-

<sup>1</sup>*Ajdukiewicz K.* Język a poznanie. — Warszawa, 1965. — Т. 2. — S. 334.

<sup>2</sup>*Декарт Р.* Рассуждение о методе. — М., 1953. — С. 23.



ловно твердые, неоспоримые основания для знания. Это узкое истолкование данной проблемы, выдвигающее на первый план методологическое обоснование, можно назвать «классическим методологизмом». В русле последнего идет и относящееся к Новому времени разделение всех наук в зависимости от используемого в них метода на *дедуктивные* и *индуктивные науки*.

Даже в XIX в. Ч. Пирс полагал, что основной метод науки — индукция — необходимо ведет научное исследование к истине. «Индукция оправдывается не отношением между фактами, о которых идет речь в посылках, и фактами, о которых говорится в заключении, — писал Пирс, — индукция не гарантирует необходимого или объективного следования вторых из первых. Оправдание индуктивного вывода состоит в том, что он достигается методом, который, если его правильно применять, должен вести к истинному знанию через длинную цепь своих отдельных применений либо к действительному миру, либо к любому мыслимому миру»<sup>1</sup>. «Оправдание» индукции оказывается, таким образом, методологическим, хотя само понятие метода трактуется предельно широко: индукция оправдывается бесконечной применимостью научного метода, т.е., по сути, не является вполне оправданной ни в один конкретный момент времени. Сам же научный метод, как он понимается Пирсом, — это не какой-то небольшой и вместе с тем исчерпывающий список правил, а внутренне сложный и утонченный аппарат, интеллектуальная дисциплина, требующая многолетнего изучения и применения в реальной теоретической и экспериментальной практике.

К.Айдукевич долгое время шел в русле «классической» традиции и определял понятие обоснования через понятие метода. Однако в одном из последних своих выступлений он подверг эту традицию сомнению. «Если бы нас спросили, что значит обосновать какое-то утверждение, — говорил он, — то в первый момент мы были бы, пожалуй, склонны сказать, что обосновать утверждение значит то же, что и прийти к его принятию путем, гарантирующим его истинность или всегда ведущим только к истине. Но это определение — даже отвлекаясь от его общности — не может нас удовлетворить»<sup>2</sup>. В этом выступлении Айдукевич показал, что классический методологизм является весьма ограниченной точкой зрения. Проблема обоснования должна ставиться предельно широко, чтобы в обсуждение было вовлечено понятие *принятия утверждения*, связанное по своему смыслу с человеческой деятельностью. Научные методы сами должны оцениваться и оправдываться с *прагматической* точки зрения.

За методологизмом всегда скрывается опасность «релятивизации» научного и иного знания. Если содержание нашего знания определяется не независимой от него реальностью, а тем, что мы можем или хотим увидеть в ней, а истинность знания определяется не соответствием реальности, а соблюдением методологиче-

<sup>1</sup>Pierce Ch.S. The Collected Papers. — Cambridge, 1958. — V. 7. — P. 125.

<sup>2</sup>Ajdukiewicz K. Język a poznanie. — S. 374.

ских канонов, то из-под науки ускользает почва объективности. Никакие суррогаты, подобные intersubjectивности наблюдений, общепринятости метода, его успешности и полезности добываемых результатов, не способны заменить истину и обеспечить достаточно прочный фундамент для принятия знания. Если отказаться от истины как критерия объективности описательных утверждений, придется признать, что каждое коренное изменение научных методов и концептуальных каркасов ведет к изменению самой реальности, в которой пребывает и которую исследует ученый. Переворот в методологии окажется разрывом со старым видением мира и его истолкованием.

Методологизм сводит научное мышление к системе устоявшихся, по преимуществу технических способов нахождения нового знания. Одновременно он отрывает науку от других сфер человеческой деятельности. Результатом является то, как пишет М. Мерло-Понти, что «научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности технических приемов и процедур фиксации и улавливания. Мыслить — означает пробовать, примеривать, осуществлять операции, преобразовывать при единственном условии экспериментального контроля, в котором участвуют только в высокой степени «обработанные» феномены, скорее создаваемые, чем регистрируемые нашими приборами»<sup>1</sup>. Наука, лишенная свободы операций, перестает быть подвижной и текучей и во многом лишается способности увидеть в себе построение, в основе которого лежит необработанный, или существующий, мир. «Сказать, что мир по номинальному определению *есть* объект *X* наших операций, означает возвести в абсолют познавательную ситуацию ученого, как будто все, что было и есть, всегда существовало только для того, чтобы попасть в лабораторию»<sup>2</sup>. Слепыми операциям, выполненным по правилам научного метода, методологизм придает к о н с т и т у и р у ю щ е е значение: они формируют мир опыта, мир эмпирических данных. Наука оказывается имеющей дело только с хорошо «обработанными» явлениями. «Необходимо, чтобы научное мышление — мышление обзора сверху, мышление объекта как такового, — пишет Мерло-Понти, — переместилось в изначальное «*есть*», местоположение, спустилось на почву чувственно воспринятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни, для нашего тела, — и не для того

<sup>1</sup> Мерло-Понти М. Око и дух. — М., 1992. — С. 9—10.

<sup>2</sup> Там же. — С. 10.

возможного тела, которое я называю своим, того часового, который молчаливо стоит у основания моих слов и моих действий. Необходимо, чтобы вместе с моим телом пробудились и ассоциированные тела — «другие», не бывающие для меня просто особями одного со мной рода, как утверждает зоология, но захватывающие меня и захватываемые мной, “другие”, вместе с которыми я осваиваю единое и единственное, действительное и наличное Бытие, — так, как никогда ни одно животное не воспринимало и не осваивало других индивидов своего биологического вида, своей территории или своей среды обитания. В этой изначальной историчности парящее и импровизирующее мышление науки учится обременяться самими вещами и самим собой, вновь становясь философией...»<sup>1</sup>.

В своих крайних вариантах методологизм склоняет к субъективной теории истины: истинно утверждение, полученное по определенным правилам и удовлетворяющее определенным критериям. Эти правила и критерии могут относиться к происхождению или источнику знания, к его надежности или устойчивости, к его полезности, к силе убежденности или к неспособности мыслить иначе. Объективная теория истины как соответствия фактам, напротив, предполагает, что некоторая концепция может быть истинной, даже если никто не верит в нее и ее происхождение не безукоризненно; другая же концепция может быть ложной, даже если она отвечает всем методологическим требованиям и образцам и кажется имеющей хорошие основания для ее признания.

Согласно принципу эмпиризма, только наблюдения или эксперименты играют в науке решающую роль в признании или отбрасывании научных высказываний, включая законы и теории. В соответствии с этим принципом методологическая аргументация может иметь только второстепенное значение и никогда не способна поставить точку в споре о судьбе конкретного научного утверждения или теории. Е.Гедимин сформулировал общий методологический принцип эмпиризма, гласящий, что различные правила научного метода не должны допускать «диктаторской стратегии». Они должны исключать возможность того, что мы всегда будем выигрывать игру, разыгрываемую в соответствии с этими правилами: природа должна быть способна хотя бы иногда наносить нам поражения<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Там же. — С. 11.

<sup>2</sup>См.: *Giedymin J. A Generalization of Refutability Postulate// Studia Logica. — 1960. — V. 10.*

Методологические правила расплывчаты и неустойчивы, они всегда имеют исключения. Особую роль в научном рассуждении играет **и н д у к ц и я**, связывающая наше знание с опытом. Но она вообще не имеет ясных правил. «Ни одно наблюдение, — пишет К.Поппер, — никогда не может гарантировать, что обобщение, выведенное из истинных — и даже часто повторяющихся — наблюдений, будет истинно... Успехи науки обусловлены не правилами индукции, а зависят от счастья, изобретательности и от чисто дедуктивных правил критического рассуждения»<sup>1</sup>. Когда речь идет о «правилах обоснованной индукции» или о «кодексе обоснованных индуктивных правил», имеется в виду не некий реально существующий перечень «правил индукции» (его нет и он в принципе невозможен), а вырабатываемое долгой практикой **м а с т е р с т в о** обобщения, относящееся только к той узкой области исследований, в рамках которой оно сложилось. Описать это мастерство в форме системы общеобязательных правил так же невозможно, как невозможно кодифицировать мастерство художника или мастерство политика.

Научный метод, несомненно, существует, но он не представляет собой исчерпывающего перечня правил и образцов, обязательных для каждого исследователя. Даже самые очевидные из этих правил могут истолковываться по-разному и имеют многочисленные исключения. Правила научного метода могут меняться от одной области познания к другой, поскольку существенным содержанием этих правил является некодифицируемое **м а с т е р с т в о** — умение проводить конкретное исследование и делать вытекающие из него обобщения, которое вырабатывается только в самой практике исследования.

Понимая методологизм предельно широко, можно выделить три его версии, различающиеся по своей силе:

1) старый методологизм (Декарт, Кант и др.): существуют универсальные, значимые всегда и везде правила и методы научного исследования;

2) контекстуальный методологизм: правила зависят от контекста исследования, никакие из них не являются универсальными; имеются однако универсальные условные суждения и соответствующие им **у с л о в н ы е п р а в и л а**, предписывающие в определенной ситуации определенное действие;

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 271.

3) не только абсолютные, но и условные правила и образцы имеют свои пределы, так что даже контекстуально определенные правила могут иногда приводить к отрицательным результатам.

Методологизму противостоит *антиметодологизм*, согласно которому все методологические правила всегда бесполезны и должны быть отброшены.

Характерным примером третьей позиции является так называемый «методологический анархизм» П.Фейерабенда, выражаемый им принципом «Все дозволено». «Идея метода, содержащего жесткие, неизменные и абсолютно обязательные принципы научной деятельности, — пишет Фейерабэнд, — сталкивается со значительными трудностями при сопоставлении с результатами исторического исследования. При этом выясняется, что не существует правила — сколь бы правдоподобным и эпистемологически обоснованным оно ни казалось, — которое в то или иное время не было бы нарушено. Становится очевидным, что такие нарушения не случайны и не являются результатом недостаточного знания или невнимательности, которых можно было бы избежать. Напротив, мы видим, что они необходимы для прогресса науки»<sup>1</sup>. И далее: «...Идея жесткого метода или жесткой теории рациональности покоится на слишком наивном представлении о человеке и его социальном окружении. Если иметь в виду обширный исторический материал и не стремиться «очистить» его в угоду своим низшим инстинктам или в силу стремления к интеллектуальной безопасности до степени ясности, точности, “объективности”, “истинности”, то выясняется, что существует лишь *один* принцип, который можно защищать при всех обстоятельствах и на *всех* этапах человеческого развития, — *допустимо все*»<sup>2</sup>.

Позиция Фейерабенда иногда истолковывается как призыв не следовать вообще никаким правилам и нормам, и значит, как некоторый новый методологический императив, призванный заместить прежние методологические нормы. Однако Фейерабэнд утверждает нечто иное: поиски совершенно универсальных, не знающих исключений и не имеющих ограничений в своем применении методологических правил способны привести только к такому пустому и бесполезному правилу, как

<sup>1</sup>Фейерабэнд П. Избранные труды по методологии науки. — М., 1986. — С. 153.

<sup>2</sup>Там же. — С. 158—159.

«Все дозволено». Оно означает, что любой способ деятельности исследователя где-нибудь может оказаться дозволенным, оправданным контекстом исследования и ведущим к успеху.

Фейерабенд стремится показать, что всякое методологическое правило, даже самое очевидное для здравого смысла, имеет границы, за которыми его применение неразумно и мешает развитию науки. Методологические правила нужны и всегда помогают исследователю: ученый, переступивший некоторую норму, руководствуется при этом другой нормой, так что какие-то нормы есть всегда. Проблема не в том, какие нормы и стандарты методологии признавать, а какие — нет. Проблема в отношении к методологическим предписаниям и в их использовании. В некоторых ситуациях одни методологические нормы можно заменять другими, быть может противоположными. «...Такие события и достижения, как изобретение атомизма в античности, коперниканская революция, развитие современного атомизма (кинетическая теория, теория дисперсии, стереохимия, квантовая теория), постепенное построение волновой теории света, оказались возможными лишь потому, что некоторые мыслители либо сознательно *решили* разорвать путы “очевидных” методологических правил, либо *непроизвольно* нарушали их. Еще раз повторяю: такая либеральная практика есть не просто факт истории науки — она и разумна, и *абсолютно необходима* для развития знания»<sup>1</sup>. В случае любого конкретного правила, каким бы фундаментальным или необходимым для науки оно ни казалось, всегда встретятся обстоятельства, при которых целесообразно не только игнорировать это правило, но даже действовать вопреки ему. Существуют, например, обстоятельства, когда вполне допустимо вводить, разрабатывать и защищать гипотезы, противоречащие обоснованным и общепринятым экспериментальным результатам, или же такие гипотезы, содержание которых меньше, чем содержание уже существующих и эмпирически адекватных альтернатив, или просто противоречивые гипотезы и т.п. Иногда исследователь, отстаивающий свою позицию, вынужден отказаться от корректных приемов аргументации и использовать *пропаганду* или же *принуждение*, потому что аудитория оказывается психологически невосприимчивой к приводимым им аргументам.

---

<sup>1</sup>Там же. — С. 153—154.

Критика Фейерабендом сильных версий методологизма, если отвлечься от ее полемических крайностей, в основе своей верна. Не существует абсолютных, значимых всегда и везде правил и образцов научного исследования, и поиски их являются пустым делом. Условные методологические правила имеют исключения даже в тех ситуациях, к которым они относятся. Эти правила также имеют свои пределы и иногда приводят к отрицательному результату.

Вместе с тем выводы, делаемые Фейерабендом из своей критики, не вполне ясны и в конечном счете внушают известное недоверие к научному методу.

Все методологические правила рассматриваются Фейерабендом в одной плоскости, в результате чего исчезает различие между важными и второстепенными методологическими требованиями, между вынужденными и спонтанными отступлениями от стандартной научной методологии. Способы аргументации, реально применяемые в науке, также уравниваются в правах, так что, скажем, стандартное обоснование гипотезы путем подтверждения ее следствий и пропаганда оказываются почти что одинаково приемлемыми<sup>1</sup>.

Научное исследование — не диалог изолированного ученого с природой, как это представляло себе Новое время, а одна из форм социальной деятельности. Ученый — человек своего времени и своей среды, он использует те аргументы, которые характерны для этого времени и которые могут быть восприняты его средой. Научная аргументация, как и всякая иная, должна учитывать свою *аудиторию*, и в частности то, что последняя иногда более восприимчива к ссылкам на традицию, чем, допустим, к ссылкам на эксперимент.

Однако ученый, проводящий исследование, руководствуется прежде всего правилами, входящими в *ядро* методологических требований. Лишь неудача в применении стандартных правил заставляет его обращаться к тому, что не общепринято в методологии, или даже к тому, что противоречит существующим ее образцам. Ученый начинает также со стандартных приемов *корректной* научной аргументации, и старается не отступать от них до тех пор, пока к этому его не вынудят обстоятель-

---

<sup>1</sup>«Нет никаких гарантий, — пишет Фейерабэнд, — что известная форма рациональности всегда будет приводить к успеху, так же как у нас нет оснований думать, что известные формы иррациональности всегда будут вести к неудачам» (*Feyerabend P.K. Changing Patterns of Reconstruction // British Journal for the Philosophy of Science. — 1977. — V. 28. — № 4. — P. 368.*)

ства, и в частности аудитория. Обращение к таким приемам, как, скажем, пропаганда или угрозы принуждением, не оцениваются при этом как подлинно научные аргументы.

Научный метод не содержит правил, не имеющих или в принципе не допускающих исключений. Все его правила условны и могут нарушаться, даже при выполнении их условия. Любое правило может оказаться полезным при проведении научного исследования, так же как любой прием аргументации может оказать воздействие на убеждения научного сообщества. Но из этого никак не вытекает, что все реально используемые в науке методы исследования и приемы аргументации равноценны, и безразлично, в какой последовательности они используются. В этом отношении «методологический кодекс» вполне аналогичен моральному кодексу.

Методологическая аргументация является, таким образом, вполне правомерной, а в науке, когда ядро методологических требований достаточно устойчиво, необходимой. Однако методологические аргументы никогда не имеют решающей силы.

Прежде всего, методология гуманитарного познания не настолько ясна и бесспорна, чтобы на нее можно было ссылаться. Иногда даже представляется, что в науках о духе используется совершенно иная методология, чем в науках о природе.

О методологии практического и художественного мышления вообще трудно сказать что-нибудь конкретное. Как пишет Х.-Г.Гадамер, «в опыте искусства мы имеем дело с истинами, решительно возвышающимися над сферой методического познания, то же самое можно утверждать и относительно наук о духе в целом, наук, в которых наше историческое предание во всех его формах хотя и становится *предметом* исследования, однако вместе с тем само *обретает голос в своей истине*»<sup>1</sup>.

Далее, методологические представления ученых являются в каждый конкретный промежуток времени итогом и выводом предшествующей истории научного познания. Методология на-

---

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — М., 1988. — С. 40. Сходную мысль о «внеметодическом» («неоперационном») характере гуманитарного мышления выражает М.Мерло-Понти: если «операционное» мышление «берется трактовать человека и историю и, полагая возможным не считаться с тем, что мы знаем о них благодаря непосредственному контакту и расположению, начинает их конструировать, исходя из каких-то абстрактных параметров, то, поскольку человек в самом деле становится тем *manipulandum* [манипулируемым], которым думал быть, мы входим в режим культуры, где нет уже, в том, что касается человека и истории, ни ложного, ни истинного, и попадаем в сон или кошмар, от которого ничто не сможет пробудить» (Мерло-Понти М. Око и дух. С. 11).



уки, формулируя свои требования, опирается на данные истории науки. Настаивать на безусловном выполнении этих требований значило бы возводить определенное историческое состояние науки в вечный и абсолютный стандарт.

Каждое новое исследование является не только применением уже известных методологических правил, но и их проверкой. Исследователь может подчиниться старому методологическому правилу, но может и счесть его неприменимым в каком-то конкретном новом случае. История науки включает как случаи, когда апробированные правила приводили к успеху, так и случаи, когда успех был результатом отказа от какого-то устойчивого методологического стандарта. Ученые не только подчиняются методологическим требованиям, но и критикуют их и создают как новые теории, так и новые методологии.

## 6. Границы обоснования

Недостаточное внимание к обоснованию утверждений, отсутствие объективности, системности и конкретности в рассмотрении предметов и явлений ведут в конечном счете к *эклектике* — некритическому соединению разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых взглядов и идей. Для *эклектики* характерны пренебрежение логическими связями положений, объединяемых в одну систему, подмена объективно значимых способов обоснования теми, которые имеют лишь субъективную убедительность, широкое применение многозначных и неточных понятий, ошибки в определениях и классификациях и т.п. Используя вырванные из контекста факты и формулировки, произвольно объединяя противоположные воззрения, *эклектика* стремится вместе с тем создать видимость предельной логической последовательности и строгости.

Как известно, подобного рода «системотворчество» процветало в средневековой схоластике, когда приводились десятки и сотни разнообразных, внутренне не связанных доводов «за» и «против» обсуждаемого положения.

Субъективными предпосылками *эклектики* чаще всего являются поверхностность, компилятивность и, пожалуй, самодовольство, особенно когда эти недостатки соединяются со стремлением выглядеть оригинальным во что бы то ни стало. Источником *эклектики* может быть и неумеренно почтительное, некритичное отношение к существующим авто-

ритетам, готовность заранее соглашаться с любым их мнением и решением.

Писатель Д. Оруэлл в романе-антиутопии «1984» описывает своеобразную «управляемую реальность», в атмосфере которой сформировался герой и которая играет роль доминанты его мышления. Эта извращенная «реальность», именуемая также «двоемыслием», является, как нетрудно видеть, внутренне разорванной, непоследовательной: «...Его мысль скользнула в запутанный лабиринт двоемыслия. Знать и не знать, сознавать всю правду и в то же время говорить тщательно сочиненную ложь: придерживаться одновременно двух мнений, исключающих друг друга, знать, что они взаимно противоположны, и верить в оба; пользоваться логикой против логики; отвергать мораль и вместе с тем претендовать на нее... Даже для того, чтобы понять слово “двоемыслие”, необходимо прибегать к двоемыслию». Это “раздвоение мыслей” есть, конечно же, эклектика, и связана она с определенными социальными обстоятельствами: с резким диссонансом между господствующей идеологией и той реальной жизнью, выражением которой ее пытаются представить.

Иногда эклектика выступает в качестве досадного, но неизбежного момента в развитии знания. Чаще всего это имеет место в период формирования системы воззрений или теории, когда осваивается новая проблематика и еще недостижим синтез разрозненных фактов, представлений и гипотез в единую систему.

Эклектика нередко сознательно применяется в рекламе и массовой коммуникации, если фрагментарность и пестрота видения мира имеют большее значение, чем цельность, внутренняя связность и последовательность.

Желая привлечь новых пациентов, один американский врач-отоларинголог дал в газетах объявление такого содержания: «Около половины жителей США носят очки. Это еще раз доказывает, что без ушей жизнь нельзя. Принимаю ежедневно с 10 до 14 часов».

Здесь очевидное, намеренное соединение только внешне связанных вещей направлено на то, чтобы сделать объявление запоминающимся.

Пустота и теоретическое бесплодие эклектики обычно маскируется ссылками на необходимость охватить все многообразие существующих явлений единым, интегрирующим взглядом, не упуская при этом их реальных противоречий.

Элементы эклектики так или иначе присутствуют в начальном периоде изучения нового, сложного материала, когда знания остаются еще фрагментарными и когда нет еще возможности выделить в массе сведений наиболее существенное и определяющее. Это следует иметь в виду, чтобы не казалось хорошо усвоенным то, что еще не обрело внутренней последовательности и единства.

Обоснование не только сложная, но и многоэтапная процедура. Обоснованное утверждение, вошедшее в теорию в качест-

ве ее составного элемента, перестает быть проблематичным знанием. Но это не означает, что оно становится абсолютной истиной, истиной в последней инстанции, не способной к дальнейшему развитию и уточнению.

Обоснование утверждения делает его не абсолютной, а лишь относительной истиной, верно схватывающей на данном уровне познания механизм исследуемых явлений. В процессе дальнейшего углубления знаний такая истина может быть и непременно будет уточнена. Но ее основное содержание, подвергнувшись ограничению и уточнению, сохранит свое значение.

Сложность процедуры обоснования теоретических утверждений склоняет некоторых философов и ученых к мнению, что эта процедура никогда не приводит к сколько-нибудь твердому результату и все наше знание по самой своей природе условно и гипотетично. Оно начинается с предположения и навсегда остается им, поскольку не существует пути, ведущего от правдоподобного допущения к несомненной истине.

Б. Рассел, в частности говорил, что «все человеческое знание недостоверно, неточно и частично». «Не только наука не может открыть нам природу вещей, — утверждал А. Пуанкаре, — ничто не в силах открыть нам ее». К. Поппер долгое время отстаивал мысль, что такая вещь, как подтверждение гипотез, вообще выдумка. Возможно только их опровержение на основе установления ложности вытекающих из них следствий. То, что мы привыкли считать достоверным знанием, представляет собой, по мысли Поппера, лишь совокупность предположений, до поры до времени выдерживающих попытки опровергнуть их.

Еще более радикальную позицию занимает П. Фейерабенд, утверждающий, что так называемый «научный метод», всегда считавшийся наиболее эффективным средством получения нового знания и его обоснования, не более чем фикция: «Наука не выделяется в положительную сторону своим методом, ибо такого метода не существует; она не выделяется и своими результатами: нам известно, чего добилась наука, однако у нас нет ни малейшего представления о том, чего могли бы добиться другие традиции»<sup>1</sup>. Авторитет науки Фейерабенд склонен объяснять внешними для нее обстоятельствами: «...Сегодня наука господствует не в силу ее сравни-

<sup>1</sup>Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — С. 518.

тельных достоинств, а благодаря организованным для нее пропагандистским и рекламным акциям»<sup>1</sup>. В ключе этого «развенчания» научного метода и его результата — объективного научного знания идет и общий вывод Фейерабенда: «...Наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанная людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки — этого наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института. Такое отделение — наш единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны, но которого никогда не достигали»<sup>2</sup>.

Если наука не дает объективного, обоснованного знания и настолько близка к мифу и религии, что должна быть, подобно им, отделена от государства и, в частности, от процесса обучения, то сама постановка задачи обоснования знания лишается смысла. Факт и слово авторитета, научный закон и вера или традиция, научный метод и интуитивное озарение становятся совершенно равноправными. Тем самым стирается различие между объективной истиной, требующей надежного основания, и субъективным мнением, зачастую не опирающимся на какие-либо разумные доводы.

Так сложность и неоднозначность процесса обоснования склоняет к идее, что всякое знание — гипотеза, и даже внушает мысль, что наука мало отличается от религии и мифа. Действительно, поиски абсолютной надежности и достоверности обречены на провал, идет ли речь о химии, истории или математике. Научные теории всегда в той или иной мере предположительны. Они дают не абсолютную, а только относительную истину.

Но это именно истина, а не догадка или рискованное предположение. Практические результаты применения научного знания для преобразования мира, для осуществления человеческих целей ясно свидетельствуют о том, что в теориях

---

<sup>1</sup>Там же. — С. 513.

<sup>2</sup>Там же. — С. 146.

науки есть объективно истинное и, значит, неопровержимое содержание<sup>1</sup>.

Наука, при всей ее важности, не является ни единственной, ни даже центральной сферой человеческой деятельности. Научное познание — по преимуществу только средство для решения обществом своих многообразных проблем. Сводить все формы человеческой деятельности к научному познанию или строить их по его образцу не только наивно, но и опасно. Результатом подобного сведения были бы супружество как точная наука, игра в карты по-научному, воспитание детей по-научному, любовь по науке и даже милосердие, обоснованное по-научному.

Ранее речь шла о способах обоснования, применяемых в науке и в тех областях жизни, в которых центральную роль играет последовательное, доказательное рассуждение. Но даже систему научного знания нельзя утвердить исключительно аргументами. Попытка обосновать всякое научное положение привела бы к регрессу в бесконечность. В фундаменте обоснования лежит способ действия, конкретная практика.

Неоправданно распространять приемы обоснования, характерные для науки, на другие области, имеющие с нею, возможно, мало общего и убеждающие совсем иными средствами. В художественном произведении ничего не нужно специально доказывать, напротив, надо отрешиться от жела-

---

<sup>1</sup>«Ушло в прошлое наивное представление, — пишет М. Малкей, — что наука строится на постоянно разрастающейся совокупности нейтральных фактов. Отброшена также идея о невозможности пересмотра хорошо установленных фактов, равно как и вытекающая из нее концепция относительной прямолинейности процесса накопления научного знания. Тем не менее, хотя понятие «факт» стало более условным и хотя отныне факты должны рассматриваться в их взаимосвязи со специфическими интеллектуальными структурами, было бы неправильно воспринимать в целом ученых как людей, рассматривающих опытное или теоретическое знание, которым они владеют, в качестве гипотетического и находящегося под постоянной угрозой опровержения. На деле одним из важнейших факторов, существенно повлиявшим на впечатляющее интеллектуальное развитие современной науки, была как раз способность ее сторонников забывать об исходных предпосылках и концентрироваться исключительно на использовании этих предпосылок для осуществления детальных эмпирических исследований... Современная наука пользуется необычной по сравнению с другими областями интеллектуальной деятельности свободой от споров относительно своих оснований. Большинство научных исследований осуществляется в условиях столь сильной защищенности всех цепочек исходных положений, что пересмотр их или опровержение делаются практически невозможными» (Малкей М. Наука и социология знания. — С. 73—74).

ния строить цепочки рассуждений, выявляя следствия принятых посылок<sup>1</sup>.

«Сила разума в том, — говорил Б.Паскаль, — что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять». Под «разумом» имеется, конечно, в виду аргументирующий, обосновывающий разум, находящийся наиболее совершенное воплощение в науке.

Эстетик Ж.Жубер замечает об Аристотеле: «Он был не прав в своем стремлении сделать все в своих книгах научным, то есть доказуемым, аргументированным, неопровержимым; он не учел, что существуют истины, доступные одному лишь воображению, и что, быть может, именно эти истины — самые прекрасные»<sup>2</sup>. И если это верно в отношении Аристотеля, занимавшегося прежде всего логикой и философией, то тем более не правы те, кто «поверяя алгеброй гармонию», хотят перестроить по строгому научному образцу идеологию, мораль, художественную критику и т.д.

Рациональные способы обоснования — незаменимое орудие человеческого разума. Но область их приложения не безгранична. Расширение ее сверх меры столь же неоправданно, как и неумеренное сужение. «Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум» (Б.Паскаль).

---

<sup>1</sup>Аргументация, и прежде всего обоснование, *объективирует* поддерживаемое положение, устраняет личностные, субъективные моменты, связанные с ним. Отсутствие аргументов в пользу какого-то убеждения не означает, однако, его полной субъективности. Особенно хорошо об этом говорит искусство. «...Сущность художественного произведения, — пишет К.Юнг, — состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями — чем больше оно ими обременено, тем меньше речь может идти об искусстве, — но в том, что оно говорит от имени духа человечества, сердца человечества и обращается к ним. Чисто личное — это для искусства ограниченность, даже порок. «Искусство», которое исключительно или хотя бы в основном лично, заслуживает того, чтобы его рассматривали как невроз. Если фрейдовская школа выдвинула мнение, что каждый художник обладает инфантильно-автоэротически ограниченной личностью, то это может иметь силу применительно к художнику как личности, но неприменимо к нему как творцу. Ибо творец ни автоэротичен, ни гетерэротичен, ни как-либо еще эротичен, но в высочайшей степени объективен, существенен, сверхличен, пожалуй даже бесчеловечен или сверхчеловечен, ибо в своем качестве художника он есть свой труд, а не человек» (Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. — С. 145).

<sup>2</sup>Жубер Ж. Литературная критика // Эстетика французского романтизма. — М., 1988. — С. 327.

<b>Глава 4. Контекстуальная аргументация</b> .....	105
1. Традиция и авторитет .....	106
2. Интуиция и вера .....	125
3. Здравый смысл и вкус .....	140

## Глава 4

# КОНТЕКСТУАЛЬНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

В зависимости от того, на какую аудиторию распространяется воздействие аргументации, все способы аргументации можно разделить на *универсальные* и *контекстуальные*.

*Универсальная аргументация применима в любой аудитории.*

К универсальным способам аргументации относятся рассмотренные ранее прямое подтверждение, косвенное эмпирическое подтверждение (в частности, подтверждение следствий), многообразные способы теоретической аргументации: дедуктивное обоснование, системная аргументация, методологическая аргументация и др.

*Контекстуальная аргументация эффективна в определенной аудитории.*

Контекстуальные способы аргументации охватывают аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.

Граница между универсальной и контекстуальной аргументацией относительна. Способы аргументации, являющиеся на первый взгляд универсально приложимыми, могут оказаться неэффективными в конкретной аудитории. И наоборот, некоторые контекстуальные аргументы, подобные аргументам к традиции или интуиции, могут казаться убедительными едва ли не в любой аудитории.

Универсальная аргументация иногда характеризуется как «рациональная», а контекстуальная — как «нерациональная» или даже как «иррациональная». Такое различие не является, как будет ясно из дальнейшего, оправданным. Оно резко сужает сферу «рационального», исключая из нее большую часть гуманитарных и практических рассуждений, немислимых без использования «классики» (авторитетов), продолжения традиции, апелляции к здравому смыслу, вкусу и т.п.

Человек погружен в историю, особенности его мышления и сам горизонт определяются эпохой. Правильное понимание той



к о н е ч н о с т и, которая господствует над человеческим бытием и историческим сознанием, должно включать принятие контекстуальной аргументации как необходимого составного элемента рациональной аргументации. «Размышление о том, чем является истина в науках о духе, — пишет Х.-Г.Гадамер, — не должно стремиться к мыслительному выделению самого себя из исторического предания, связанность которым сделалась для него очевидной. Такое размышление должно, следовательно, поставить себе самому требование добиться от себя невозможной исторической ясности своих собственных посылок... Оно должно ясно сознавать, что его собственное понимание и истолкование не является чистым построением из принципов, но продолжением и развитием издавна идущего свершения. Оно не может поэтому просто и безотчетно пользоваться своими понятиями, но должно воспринять то, что дошло до него из их первоначального значения»<sup>1</sup>.

## 1. Традиция и авторитет

Из всех контекстуальных аргументов наиболее употребимым и наиболее значимым является *аргумент к традиции*. В сущности, все контекстуальные аргументы содержат в свернутом, имплицитном виде ссылку на традицию. Признаваемые авторитеты, интуиция, вера, здравый смысл, вкус и т.п. формируются исторической традицией и не могут существовать независимо от нее.

Чуткость аудитории к приводимым аргументам в значительной мере определяется теми традициями, которые она разделяет. Это верно не только для аргументации в науках о духе, но во многом и для аргументации в науках о природе. Традиция закрепляет те наиболее общие допущения, в которые нужно верить, чтобы аргумент казался правдоподобным, создает ту предварительную установку, без которой он утрачивает свою силу.

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — М., 1988. — С. 42. Гадамер подчеркивает, что науки о духе решительно возвышаются над сферой методического познания, поскольку в этих науках «наше историческое предание во всех его формах хотя и становится предметом исследования, однако вместе с тем само обретает голос в своей истине. Опыт исторической традиции принципиально возвышается над тем, что в ней может быть исследовано. Он является не только истинным или ложным в том отношении, которое подвластно исторической критике, — он всегда возвещает такую истину, к которой следует *приобщиться*» (Там же. — С. 40).

«...Один и тот же аргумент, выражающий одно и то же отношение между понятиями и опирающийся на хорошо известные допущения, — отмечает П.Фейерабенд, — в одно время может быть признан и даже прославляться, в другое — не произвести никакого впечатления»<sup>1</sup>. В качестве примера Фейерабенд приводит спор между сторонниками и противниками гипотезы Коперника. Стремление Коперника разработать такую систему мироздания, в которой каждая часть вполне соответствовала бы всем другим частям и в которой ничего нельзя было бы изменить, не разрушая целого, не могло найти отклика у тех, кто был убежден, что фундаментальные законы природы открываются нам в повседневном опыте, и кто, следовательно, рассматривал полемику между Аристотелем и Коперником как решающий аргумент против идей последнего. Из анализа индивидуальных реакций на учение Коперника следует, заключает Фейерабенд, что *«аргумент становится эффективным только в том случае, если он подкреплён соответствующей предварительной установкой, и лишается силы, если такая установка отсутствует... Чисто формальных аргументов не существует»*<sup>2</sup>.

*Традиция представляет собой анонимную, стихийно сложившуюся систему образцов, норм, правил и т.п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей.* Традиция может быть настолько широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития. Наиболее популярные традиции, как правило, не осознаются таковыми. Особенно наглядно это проявляется в так называемом «традиционном» обществе, где традициями определяются все сколь-нибудь существенные стороны социальной жизни. «Одной из существенных черт магического сознания древнего — племенного или “закрытого” общества, — пишет К.Поппер, — является господствующее в таком обществе убеждение, будто оно существует в заколдованном круге неизменных табу, законов и обычаев, которые считаются столь же неизбежными, как восход солнца, смена времен года и тому подобные совершенно очевидные закономерности природы. И только после падения магического “закрытого общества” стало возможным теоретическое осмысление отличия “природы” от “общества”»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М., 1986. — С. 469.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992. — Т. 1. — С. 91.

Традиции имеют отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер. В них аккумулируется предшествующий опыт успешной деятельности, и они оказываются своеобразным его выражением. С другой стороны, они представляют собой проект и предписание будущего поведения. Традиции являются тем, что делает человека звеном в цепи поколений, что выражает пребывание его в историческом времени, присутствие в «настоящем» как звене, соединяющем прошлое и будущее.

*Традиционализм и антитрадиционализм* — две крайних позиции в трактовке традиции. Традиционализм исходит из убеждения, что практическая мудрость по-настоящему воплощена в делах, а не в писаных правилах, и ставит традицию выше разума. Антитрадиционализм, напротив, считает традицию предрасудком, который должен быть преодолен с помощью разума.

Господство традиционализма не только в теории, но и в практической жизни характерно для коллективистических обществ с жесткой структурой. Таквыми являются средневековое феодальное общество, так называемые «восточные деспотии» (Древний Египет, Древний Китай и др.) и тоталитарные общества XX в. Жесткая структура присуща также высокоинтегрированной массе, в частности армии, церкви, определенным политическим партиям. Во многом эта же структура реализуется в «нормальной», или «парадигмальной», науке, т.е. в научной дисциплине, имеющей твердое ядро, добившейся успеха и устоявшейся.

Таким образом, история человечества — это главным образом история коллективистических обществ. Индивидуалистические общества существовали лишь в античных Греции и Риме, а начиная с XVII в., утвердились в Западной Европе. В XX в. в ряде стран Западной Европы индивидуалистические общества на довольно длительный период были замещены коллективистическими. Кроме того, в современном индивидуалистическом обществе имеются достаточно обширные и влиятельные сообщества, имеющие жесткую структуру: армия, церковь, некоторые политические партии, нормальная наука.

Это показывает, что в человеческой истории всегда была и остается почва для гипертрофированного традиционализма и, соответственно, для особого распространения аргументации, связанной с традицией.

Жесткая структура предполагает непроницаемый водораздел между «верхом» и «низом», ее общая ориентация является под-

черкнуто спекулятивной: «верх» полностью детерминирует «низ», определяя стиль мышления, чувства и деятельность последнего. «Верх» включает три взаимосвязанные части: разумную, чувственную и деятельностную. В тоталитарном обществе роль разумной части «верха» играет тоталитарная идеология; объектом особых чувств являются создатели тоталитарной доктрины; деятельностная часть детально регламентирует все формы группового поведения. В средневековом обществе земному миру как «низу» противостоял небесный мир, разумная часть которого включала Откровение, чувственная — сыновнюю любовь к Богу и деятельностная — беспрекословное исполнение того, что предписано богом. В «нормальной» науке ее парадигма и те, кто внес наибольший вклад в ее разработку, противостоят научному сообществу, разрабатывающему парадигму, почитающему ее создателей и руководствующемуся в своей деятельности указанными образцами и правилами. В различных жестких структурах части «верха» соотносятся по-разному: в средневековом обществе на первом плане стоит чувственная часть «верха», в тоталитарном обществе и в «нормальной» науке доминирует разумная часть. Отношение индивидов, составляющих «низ» общества, к трем частям его «верха» можно охарактеризовать как в е р у в то, что утверждается в разумной части «верха», л ю б о в ь к чувственной его части и безусловное п о в и н о в е н и е предписаниям деятельностной части. Отношение, связывающее индивидов «низа» — это отношение их р а в е н с т в а между собой относительно «верха».

Общество или сообщество, строящееся на основе жесткой структуры, всегда является оптимистическим и коллективистическим, по-своему жизнерадостным и уверенным в себе. Оно отличается устремленностью к «прекрасному будущему миру», яркостью и остротой жизни, мечтой о подвиге и славе, идиллическим образом жизни. Вместе с тем это общество, перегруженное идеалами доблести и служения высшим, наиндивидуальным целям, равнодушное к личности и ее правам, к материальному благополучию, настороженно относящееся к остальному миру и мечтающее навязать ему свой образ жизни и мышления.

Из всех обществ с жесткой структурой наиболее полно и всесторонне исследовано средневековое общество. Целесообразно поэтому рассмотреть проблему традиционализма применительно к этому обществу.

В средние века все устоявшееся, завоевавшее в жизни прочное место, считается правильным. Оно не обязательно закреп-

ляется в нормах права, но охраняется традицией, обычаем и в большинстве случаев этого достаточно. Само право мыслится как старинное, авторитет его подкрепляется ссылкой на старину. «Нововведение не осознавалось как таковое, и вся законодательная деятельность проходила преимущественно в форме реставрации старинного права, нахождения и уточнения обычаев отцов и дедов. Право той эпохи было ориентировано на прошлое. Высокая оценка старины характерна для всех сфер средневековой жизни»<sup>1</sup>.

Предание, или традиция, истолковывается в средние века как фактор, поправляющий «писанные законы» на основе утвердившихся в текущей жизни новых правил и норм поведения. «Мы видим, — писал, например, патриарх Никифор, — что даже писанные законы теряют значение вследствие того, что получают силу отличные от них предания и обычаи. Обычай все укрепляет, ибо дело сильнее слова. Что такое закон, как не записанный обычай? Равно как и обычай опять же есть неписанный закон»<sup>2</sup>.

Средневековый человек благоговейно относится к прошлому. В нем он видит идеальное состояние общества и стремится его возродить или к нему возвратиться. Древность какого-то установления рассматривается как несомненное свидетельство в его пользу. Обновление понимается как реставрация, прогресс — как возвращение к прошлому.

Средневековье, несомненно, консервативно, но средневековый традиционализм не является просто консерватизмом, поскольку в установке на старину видится особая доблесть и старое считается обладающим особым моральным достоинством. Только от века существующее может иметь моральную силу и непререкаемый авторитет. «Не сдвигай с места камней, которые установил твой отец... — настаивает еще в V в. монах Винцент Леринский. — Ибо если новшества надобно избегать, то древности следует держаться; если новое нечисто, то старое учение свято»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., 1984. — С. 154.

<sup>2</sup>Цит. по: Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. — Киев, 1991. — С. 226. Никифор приводит такой пример на тему отношения писанных правил и традиции. Грамматические правила представляются предельно стабильными. Но даже «грамматики, если случается, что слово в тексте отклоняется от господствующего правила и пишется иначе, согласно установившемуся обычаю, ссылаются на предание, считая его правилом правил» (Там же. — С. 227—228).

<sup>3</sup>Цит. по: Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — С. 154.

Характерно, что средневековая традиция лишена конкретности, сложности и противоречий. Ей придается форма некоторых линий, но отчетливо различаемых и никогда не прерывающихся.

Традиционализму всегда сопутствует *консерватизм*. В средневековом сознании консерватизм проявляется многообразно. Прежде всего оно озабочено сохранением ядра религиозной доктрины, лежащей в основе средневекового мировоззрения. Неприкосновенными считаются и все ее детали, но в условиях постоянно изменяющейся действительности отдельными ее частями приходится поступаться. В частности, так обстояло дело с расширением в позднее средневековье традиционного перечня деяний милосердия и включением в него неупоминаемого в Библии седьмого деяния — погребения умерших. Консерватизм распространяется и на обсуждаемые проблемы: их круг является ограниченным и устойчивым, все они представляют собой только переформулировку вопросов, поставленных еще в авторитетных источниках.

Средневековый мыслитель консервативен и по своей психологии: его раздражает даже само намерение обсуждать проблемы, не затрагивавшиеся ранее и не освященные традицией. Он настороженно относится и к попыткам по-новому, другим языком изложить старое содержание. «В отличие от литературы нового времени, — пишет А.Я.Гуревич, — литература средних веков подчинялась строгому этикету, господству тем и клише, переходивших из одного сочинения в другое на протяжении длительного времени; в наличии “общих мест” и привычной, знакомой топки средневековые авторы видели достоинство, но ни в коей мере не недостаток. Ориентация на авторитет и традицию породила огромную “избыточность” информации, однако, “неинформативными” сочинения средневековой письменности представляются лишь с современной точки зрения, которая превыше всего ценит оригинальность и ищет новой информации. Средневековый автор, равно как и его читатель, несомненно, находил удовлетворение в повторении знакомых истин и формул, в нагнетании явных и скрытых цитат, в бесконечных вариациях на раз и навсегда заданную тему»<sup>1</sup>.

Средневековью, постоянно стремящемуся действовать только в русле традиции, несвойственна тяга к реформам, к введе-

<sup>1</sup>Там же. — С. 30—31.

нию новшеств. Даже просто нестандартизированное поведение индивида вызывает осуждение окружающих. Средневековый человек поставлен в твердо определенные рамки, его деятельность всесторонне регламентирована традицией и правом, он хорошо знает, как ему следует поступать в каждом конкретном случае. Имея детализированный сценарий поведения, человек охотно доверяется ему, поскольку следование установившимся образцам, реализация общепринятого регламента — без всяких отступлений от него — расценивается как несомненная моральная доблесть и не кажется стесняющей индивида.

Нужно подчеркнуть специфическое отношение средних веков к традиции и установившимся на ее основе правилам. Как отмечает Ю.М.Лотман, следование правилу, освященному многовековой традицией, для средневекового человека является делом чести и доблести, ибо это стремление к тому идеалу, к которому можно приближаться, но которого нельзя достигнуть. «Картина усложняется еще и тем, — замечает Лотман, — что средневековая жизнь — многоступенчатая лестница, и между идеальным осуществлением правил — уделом героев — и столь же идеальным их нарушением — поведением дьявола — существует протяженная лестница, которая более всего приближается к реальной жизни»<sup>1</sup>.

*Отказ от новаторства* не является, таким образом, сознательным выбором средневекового человека. Этот отказ органически вытекает из общего характера средневековой культуры — прежде всего из ее традиционализма — и не воспринимается представителями данной культуры как внешнее ограничение творческой свободы. «Теоретический метод средневекового философа, как и метод художника той эпохи, можно назвать иконографическим, — пишет Г.Г.Майоров. — Его задача — передать современникам и потомству образ истины таким, каким он дается в первообразе, не привнося ничего от себя и максимально исключая свою субъективность из творческого процесса»<sup>2</sup>. Для воспроизведения истины, не меняющейся со временем, мыслитель и художник должны выйти за пределы своей субъективности и не привносить ничего личного, индивидуального в создаваемое произведение.

Именно этим стремлением к безличности и полной объективности в процессе творчества объясняется широко распрост-

<sup>1</sup>См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. — М., 1992. — С. 81—83.

<sup>2</sup>Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. — М., 1979. — С. 10.

раненная в средние века и так удивляющая современного читателя и зрителя *анонимность* произведений средневековой философии, науки и искусства. Почти все произведения искусства той эпохи дошли до нас безымянными, многие философские произведения были приписаны их авторами более крупным авторитетам, что является, по сути, одной из форм анонимности.

Традиционализм в сфере творчества означал подчинение *канону*, устойчивому во времени. Каноничность средневекового творчества была одним из определяющих его свойств.

В традиционализме нашли свое выражение реализм и корпоративность средневекового сознания, его тенденция подчинять элементы и части целому, рассматриваемому не только как более важное, но и как более реальное, чем любые составляющие его части. Средневековый человек всегда принадлежит к определенной группе и конкретному сословию, и он говорит не от своего имени, а от лица этой группы<sup>1</sup>. Так, средневековый философ рассуждает только от имени «христианской философии», он никогда не говорит от первого лица, от собственного имени. Безразлично, чьими устами будет высказана истина. Она выше того отдельного человека, которому довелось увидеть ее свет. Целое выше своей части, сверхличное выше личного, традиция выше ее отдельного представителя. Этот *антииндивидуализм* средневековых мыслителей находит свое выражение, в частности в том, что в текстах преобладают безличные обороты, а личная форма глагола употребляется во множественном числе: «мы говорим», «мы полагаем» и т.п. Фома Аквинский использует, например, личную форму единственного числа только в одном виде: «отвечаю, что следует утверждать».

*Аргумент к традиции был одним из основных в средневековой жизни, а в вопросах практических он оказывался обычно решающим.*

Характерным примером роли ссылок на традицию в средневековой аргументации может служить спор иконопочитателей с их противниками в византийской эстетике в VIII—IX вв. Прямых указаний на создание культовых хри-

<sup>1</sup>«Личность в средние века, — пишет А.Я.Гуревич, — не завершенная система, силы, способности и свойства которой внутренне связаны и нерасторжимы, и не неповторимая индивидуальность, ценящаяся именно благодаря своим особенностям. Позитивную оценку в личности получает лишь типическое, повторяющееся, а потому такие качества ее, которые делают ее пригодной к общению и к коллективному действию с себе подобными, вместе с другими членами социальной группы, корпорации. Не часть, но целое, не индивидуальность, а общность выступают на первый план... “Индивидуальное невыразимо” — это признание средневековых философов выявляет общую установку эпохи на демонстрацию в первую очередь типического, общего, сверхиндивидуального» (Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — С. 280).



стианских изображений в Новом Завете нет, так что апеллировать к авторитетному источнику иконопочитатели не могли. Однако иконы за много веков вошли в самую плоть византийской культуры. Даже сто с лишним лет официальных гонений на их почитателей не пресекли традицию использования икон. Защитники изображений приводили многие доводы в поддержку своей позиции. «Однако главным и практически непререкаемым аргументом в пользу изображений в этот период становятся для иконопочитателей не хитроумные логические, культовые, богословские и социально-бытовые доказательства, а простые ссылки на установившуюся традицию использования религиозных изображений. Незыблемый культуроохранительный принцип древних цивилизаций, противостоящий всем еще не проверенным логикой культурного развития новациям: так делали наши предки..., к IX веку стал занимать ведущее место и в византийской культуре, свидетельствуя о том, что близится к завершению этап активного формирования этой культуры и она вступила в пору своей зрелости»<sup>1</sup>.

Просвещение истолковывало традицию как одну из форм *авторитета*. На этом основании был выдвинут общий лозунг преодоления всех предрассудков и прежде всего *предрассудков авторитета* и *предрассудков поспешности*. Поспешность — источник ошибок, возникающих при пользовании собственным разумом. Она может быть устранена или скорректирована путем методически дисциплинированного употребления разума. Предрассудки авторитета проистекают из того, что люди вообще не пользуются собственным разумом, передоверяя способность рассуждать авторитету. И эти предрассудки самые опасные.

Как верно указывает Х.-Г.Гадамер, «действительным результатом Просвещения является ...подчинение разуму всех авторитетов»<sup>2</sup>, и, в конечном счете, их отрицание. Противоположность между верой в авторитет и использованием собственного разума сама по себе вполне оправдана. «Авторитет, если он занимает место собственных суждений, и в самом деле становится источником предрассудков. Однако это не исключает для него возможности быть также источником истины; эту-то возможность и упустило из виду Просвещение, безоговорочно отвергнув все предрассудки»<sup>3</sup>. Учение о предрассудках должно быть освобождено от просвещенческого экстремизма, вообще отрицающего авторитет как источник вразумных суждений.

К традиции как разновидности авторитета относится все, что касается авторитета вообще.

«То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом, и все наше историческое конечное бытие оп-

<sup>1</sup>Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. — С. 225.

<sup>2</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 331.

<sup>3</sup>Там же.

ределается постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами»<sup>1</sup>. В значительной степени благодаря обычаям и преданию существуют нравы и этические установления. Все попытки основать систему морали на одном разуме, остаются абстрактными. «Критическое сознание», начиная с Декарта, много раз обращалось к проблеме «рационально обоснованной» системы морали, но, в сущности, ничего или почти ничего не достигло.

Романтизм, возвеличивая традицию и противопоставляя ее разумной свободе, рассматривает ее как историческую данность, подобную данностям природы. В результате традиция оказывается противоположностью свободному самоопределению, поскольку выступает как некая самоочевидность и не нуждается в разумных основаниях. «На мой взгляд, — пишет Гадамер, — безусловной противоположности между традицией и разумом не существует. Сколь бы проблематичной ни была сознательная реставрация старых или сознательное основание новых традиций, романтическая вера в “естественные традиции”, перед которыми разум якобы просто-напросто умолкает, исполнена не меньших предрассудков и в основе своей носит просвещенческий характер»<sup>2</sup>.

Истолкование Гадамером соотношения традиции и разума удачно избегает крайностей и Просвещения, и романтизма. Традиция завоевывает свое признание, опираясь прежде всего на познание и не требует слепого повиновения. Она не является также чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не допускающей критического обсуждения; традиция — это точка пересечения человеческой свободы и человеческой истории.

Противопоставление традиции и разума должно учитывать то, что разум не является неким изначальным фактором, призванным играть роль беспристрастного и безошибочного судьи. Разум складывается исторически, и рациональность может рассматриваться как одна из традиций. «...Рациональные стандарты и обосновывающие их аргументы, — пишет П.Фейерабенд, — представляют собой видимые элементы конкретных традиций, которые включают в себя четкие и явно выраженные принципы и незаметную и в значительной мере неизвестную, но абсолютно необходимую ос-

<sup>1</sup>Там же. — С. 333.

<sup>2</sup>Там же. — С. 334.

нову предрасположений к действиям и оценкам. Когда эти стандарты приняты участниками такой традиции, они становятся “объективной” мерой превосходства. В этом случае мы получаем “объективные” рациональные стандарты и аргументы, обосновывающие их значимость»<sup>1</sup>.

Вместе с тем разум — это не одна из многих равноправных традиций, а особая, можно сказать *привилегированная традиция*. Он старше всех иных традиций и способен пережить любую из них. Он является универсальным и охватывает всех людей, в то время как другие традиции ограничены не только во времени, но и в пространстве. Разум — самая гибкая из традиций, меняющаяся от эпохи к эпохе. Он представляет собой критическую, и в частности, самокритическую традицию. И наконец, разум имеет дело с истиной, стандарты которой не являются конвенциональными.

Из того, что разум — одна из традиций, Фейерабенд делает два радикальных вывода. Во-первых, *«традиции не являются ни плохими, ни хорошими, они просто есть»*. «”Говорить объективно”, то есть независимо от участия в той или иной традиции, невозможно»<sup>2</sup>. Рациональность не является верховным судьей над традициями. Она сама есть традиция или сторона некоторой традиции, и потому она ни хороша, ни плоха — она просто есть. Во-вторых, *«некоторой традиции присущи желательные или нежелательные свойства только при сравнении с другой традицией»*, т.е. только когда она рассматривается участниками, которые воспринимают мир в терминах свойственных им ценностей»<sup>3</sup>. Утверждения этих участников кажутся объективными, вследствие того, что ни сама традиция, ни ее участники в этих утверждениях не упоминаются. В то же время они субъективны, поскольку зависят от избранной традиции. Их субъективность становится заметной, как только участники осознают, что другие традиции приводят к другим оценкам.

Эти выводы Фейерабенда не кажутся обоснованными. Его позиция представляет собой, в сущности, воспроизведение старой романтической трактовки традиции как исторической данности, не подлежащей критике и усовершенствованию. Очевидно, однако, что традиции проходят через разум и могут оцениваться им. Эта оценка является исторически ограниченной,

<sup>1</sup>Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М., 1986. — С. 492—493.

<sup>2</sup>Там же. — С. 493.

<sup>3</sup>Там же.

поскольку разум всегда принадлежит определенной эпохе и разделяет все ее «предрассудки». Тем не менее оценка разума может быть более широкой и глубокой, чем оценка одной традиции с точки зрения какой-то иной, неуниверсальной и некритической традиции. Разные традиции не просто существуют наряду друг с другом. Они образуют определенную иерархию, в которой разум занимает особое место.

Следствием ошибочной трактовки соотношения традиции и разума является заключение Фейерабенда о решающем влиянии традиции на оценку убедительности аргументации. *«У каждой традиции имеются свои способы привлечения сторонников, — пишет он. — Некоторые традиции осознают эти способы и варьируют их в соответствии с особенностями той или иной группы. Другие считают, что существует лишь один способ заставить людей принять их взгляды. В зависимости от принятой традиции этот способ будет считаться приемлемым, смехотворным, рациональным, глупым или будет отброшен как “обычная пропаганда”. Один и тот же аргумент будет для одного наблюдателя лишь пропагандистской уловкой, а для другого — выражением существа человеческого рассуждения»<sup>1</sup>.*

Традиция действительно способна усиливать или ослаблять значение аргументов и даже производить определенную их селекцию. В первую очередь это касается контекстуальной аргументации. Но возможности традиции являются ограниченными. Она может снизить воздействие универсальной аргументации, но не способна отменить его полностью. Точно так же она не способна превращать любой аргумент в простую пропагандистскую уловку.

Противоположность традиции и разума носит относительный характер: традиции складываются при участии разума, а сам разум в каждый конкретный период является продолжением и развитием имманентно присущей человеку традиции рациональности. «Даже самая подлинная и прочная традиция, — пишет Х.-Г.Гадамер, — формируется не просто естественным путем, благодаря способности к самосохранению того, что имеется в наличии, но требует согласия, принятия, заботы. По существу своему традиция — это сохранение того, что есть, сохранение, осуществляющееся при любых исторических переменах. Но такое сохранение суть акт разума, отличающийся, правда, своей незаметностью. Отсюда проистекает то, что обновление,

<sup>1</sup>Там же. — С. 494.

планирование выдают себя за единственное деяние и свершение разума. Но это всего лишь видимость. Даже там, где жизнь меняется стремительно и резко, как, например, в революционные эпохи, при всех видимых превращениях сохраняется гораздо больше старого, чем предполагают обыкновенно, и это старое господствует, объединяясь с новым в новое единство. Во всяком случае, сохранение старого является свободной установкой не в меньшей мере, чем переворот и обновление. Поэтому ни просвещенческая критика традиции, ни ее романтическая реабилитация не ухватывают ее подлинного исторического бытия»<sup>1</sup>.

Обращение к традиции для поддержки выдвигаемых положений — обычный способ аргументации в обществах, где господствует традиционализм и где традиция ставится если не выше разума, то по меньшей мере наравне с ним. В обществах и сообществах с жесткой структурой аргумент к традиции является одним из самых весомых и убедительных. Это относится и к «нормальной» науке, продолжающей и развивающей определенную традицию.

Аргумент к традиции неизбежен во всех тех научных рассуждениях, в которые входит «настоящее» как тема обсуждения или как один из факторов, определяющих позицию исследователя<sup>2</sup>.

Обращение к традиции — обычный способ аргументации в морали. Наши установления и поступки в значительной степени определяются традицией. Все попытки обоснования или усовершенствования системы морали, абстрагирующиеся от традиции, неизбежно являются декларативными и не имеющими никаких практических последствий. «Совершенно немислимо было бы ожидать от современной науки и ее прогресса обоснования новой морали»<sup>3</sup>.

Повседневная жизнь во многом опирается на традицию, и апелляция к ней — стандартный прием практической аргументации.

Аргументу к традиции близок *аргумент к авторитету* — ссылка на мнение или действие лица, прекрасно зарекомендовавшего себя в данной области своими суждениями или поступками. Традиция

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 334—335.

<sup>2</sup>«...В науках о духе, — пишет Гадамер, — вопреки всему их методологизму присутствует действенный момент традиции, составляющий их подлинное существо и характерную особенность» (Там же. С. 336).

<sup>3</sup>Там же. — С. 332.

складывается стихийно и не имеет автора, авторитетом же является конкретное лицо<sup>1</sup>.

Аргумент к авторитету встречается во всех областях познания и деятельности. Наиболее част он в обществах с жесткой структурой, немислимым не только без сохранения и соблюдения определенных традиций, но и без собственных, признаваемых всеми авторитетов. И здесь характерным примером является средневековая культура. Авторитарное мышление проникает во все ее сферы. Чтобы подвигнуть кого-то к раскаянию, апеллируют не к общему понятию нравственно похвального или предосудительного действия, а перечисляют соответствующие примеры из Библии. Чтобы предостеречь от распутства, вспоминают все подходящие случаи, обсуждаемые и осуждаемые древними. Для всякого жизненного происшествия всегда находятся аналоги и соответствующие примеры из Священного Писания, истории или литературы.

В серьезных доказательствах всегда прибегают к ссылкам на авторитетные источники в качестве исходного пункта и надежной поддержки.

Как писал М.Кондорсе, в средние века «речь шла не об исследовании сущности какого-либо принципа, но о толковании, обсуждении, отрицании или подтверждении другими текстами тех, на которые он опирался. Положение принималось не потому, что оно было истинным, но потому, что оно было написано в такой-то книге и было принято в такой-то стране и с такого-то века. Таким образом, авторитет людей заменял всюду авторитет разума. Книги изучались гораздо более природы и воззрения древних лучше, чем явления вселенной»<sup>2</sup>. В основе своей эта критика идет в русле общего отношения Просвещения к средним векам. Кондорсе, конечно, прав, подчеркивая авторитарный характер средневекового мышления. Однако он излишне прямолинейно разграничивает «авторитет разума» и «авторитет людей», истолковывая последний как противостоящий разуму. Подобно многим другим критикам средневековой авторитарности, Кондорсе не видит, что она нередко носила — особенно в позднем средневековье — формальный характер: под видом добросовестного истолкования авторитетных суждений средневековый теоретик излагал свои собственные воззрения. Формализм был общей чертой средневековой культуры, он сказывался также на ее авторитетах.

О самом выдающемся представителе средневековой философии — Фоме Аквинском Б.Рассел пишет: «Он не занимался исследованием, результат которого нельзя знать заранее. До того, как он начинает философствовать, он уже

---

<sup>1</sup>Как уже отмечалось, в эпоху Просвещения авторитет истолковывался более широко и традиция считалась одной из форм авторитета. Широко понимается «авторитет» и в обычном словоупотреблении, когда говорится об «авторитете власти», «авторитете разума» и т.п.

<sup>2</sup>Кондорсе М. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. — М.; СПб., 1909. — С. 126.

знает истину: она провозглашена католической верой. Если он может найти по видимости рациональные аргументы для некоторых областей веры — тем лучше; если же не может, ему требуется всего навсего вернуться вновь к откровению»<sup>1</sup>. Здесь опять-таки верная мысль об авторитарности средневекового мышления излагается в излишне категоричной форме, в частности без учета того важного аспекта, что во время Фомы Аквинского ссылки на авторитет сделались уже в значительной мере формальными, так что опора на один и тот же круг авторитетных источников (или даже выдержек из них) могла стать отправной точкой в создании двух принципиально отличных теоретических конструкций.

Что касается авторитетных источников, то лучшим их подтверждением служат, по мнению средневекового человека, их древность и несомненные прошлые успехи. Самой древней является Библия, представляющая единственный в своем роде «полный свод всех возможных истин» (Ориген), сообщенных человеку Богом и сохраняющих свое значение на все времена. В Библии есть ответы на все вопросы, задача заключается в том, чтобы расшифровать, раскрыть и разъяснить сказанное в ней. Чем ближе стоит текст ко времени Откровения, тем более достоверным и важным он является. После Библии наибольшим авторитетом обладает патристика, прямая восприемница апостольской традиции. Созданная патристикой философия — первая по времени в христианстве — на всем протяжении средних веков служит прообразом всякого философствования, его классическим образцом. «...Средневековый философ постоянно обращается за подтверждением всех своих мнений к библейскому или патристическому авторитету, непрерывно цитирует христианскую классику, переписывая нередко вместо доказательства целые страницы древних текстов. Степень подобия своего мнения мнениям древних есть для него степень истинности этого мнения»<sup>2</sup>.

Из авторитарности средневековой культуры непосредственно вытекает ее *комментаторство*, стремление ограничиться детализацией доктрины и уточнением частных, не ставя под сомнение, а иногда даже вообще не обсуждая ее центральные положения. В форме комментария написана значительная часть средневековых философско-теологических сочинений, особенно относящихся к раннему средневековью. В позднем средневековье теоретическая мысль оказалась однако достаточно свободной вариацией на темы, определенные комментируемым текстом.

<sup>1</sup>Рассел Б. История западной философии. — М., 1959. — С. 481.

<sup>2</sup>Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. — М., 1979. — С. 9—10.

Авторитарностью определялся и существенно *экзегетический характер* средневекового теоретизирования. Средневековый мыслитель всегда начинает с классического текста и ставит своей непосредственной задачей не его анализ и критику, а только правильное его истолкование. «Текст, написанный много веков назад и освященный традицией, текст, в котором нельзя изменить ни слова, деспотически правит мыслью философа, устанавливает ей предел и меру», — пишет Майоров<sup>1</sup>. Вместе с тем он обоснованно замечает, что «каждый экзегет давал свою и непременно “более точную”, как он считал, реконструкцию мыслей авторитета, на деле вместо реконструкции создавая обычно конструкцию, навязывая авторитету свое собственное видение предмета»<sup>2</sup>.

Авторитарность средневекового мышления и средневековой аргументации — парадигма авторитарности мышления и аргументации в рамках любой жесткой структуры, будь то тоталитарное общество, армия, церковь, высокоинтегрированная масса или «нормальная» наука. Во всех этих обществах и сообществах мышление и аргументация во многом находятся не только под властью традиции, но и под властью авторитетов.

С традиционализмом и авторитарностью средневековой культуры тесно связана характерная для этой культуры черта, которую, вслед за Й.Хейзингой, можно назвать *формализмом*<sup>3</sup>. Суть формализма в том, что форма постоянно господствует над конкретным содержанием, внешнее, жесткое правило едва ли не целиком определяет жизнь и деятельность средневекового человека, его отношение к миру и к другим людям. Формализм проистекает из ощущения трансцендентной сущности вещей, из очерченности всякого представления незыблемыми границами. В социальной сфере такие границы явлений устанавливаются прежде всего авторитетом и традицией.

С формализмом связан широко распространенный в средневековье *идеализм* — уверенность в том, что каждый возникший вопрос должен получить идеальное разрешение. Для этого нужно только познать правильное соотношение между частным случаем и вечными истинами. Само это соотношение выводится, когда к фактам прилагаются формальные правила.

Подобное истолкование процедуры решения конкретных проблем так или иначе ведет к *казуистике*. «Так решаются не толь-

<sup>1</sup>Там же. С. 10

<sup>2</sup>Там же. С. 12.

<sup>3</sup>См.: Хейзинга Й. Осень Средневековья. — С. 261.



ко вопросы морали и права; казуистический подход господствует, помимо этого, и во всех прочих областях жизни. Повсюду, где главное — стиль и форма, где игровой элемент культуры выступает на первый план, казуистика празднует свой триумф»<sup>1</sup>.

Средневековая аргументация в большинстве случаев является *формалистической* и *казуистической*. Это верно и для других типов общества с жесткой структурой.

Непосредственно из всеобщего формализма средневековой культуры вытекает своеобразная, донельзя *упрощенная манера мотивации*. В любой ситуации выделяются лишь немногие черты, которые заметно преувеличиваются и ярко расцветиваются, так что, замечает Й.Хейзинга, «изображение отдельного события постоянно являет резкие и утяжеленные линии примитивной гравюры на дереве»<sup>2</sup>. Для объяснения обычно бывает достаточно одного единственного мотива, и лучше всего самого общего характера, наиболее непосредственного или самого грубого. В итоге почти всегда получается, что объяснение всякого случая готово как бы заранее, оно дается с легкостью и с готовностью принимается на веру. «Если мы согласимся с Ницше, что “отказ от ложных суждений сделал бы жизнь невыносимой”, то тогда мы сможем именно воздействием этих неверных суждений частично объяснить ту интенсивность жизни, какою она бывала в прежние времена. В периоды, требующие чрезмерного напряжения сил, неверные суждения особенно должны приходить нервам на помощь. Собственно говоря, человек средневековья в своей жизни не выходил из такого рода духовного кризиса; люди ни мгновение не могли обходиться без грубейших неверных суждений, которые под влиянием узкопартийных пристрастий нередко достигали чудовищной степени злобности»<sup>3</sup>.

Именно формализмом Й.Хейзинга объясняет поразительное — с более поздней точки зрения — легкомыслие и легковерие людей средневековья. Это легкомыслие может даже внушить впечатление, что они вообще не имели никакой потребности в реалистическом мышлении. Легковерием и отсутствием критицизма проникнута каждая страница средневековой литературы<sup>4</sup>.

Характерные черты средневековой культуры, и прежде всего ее авторитарность и традиционализм, обусловили чрезвычай-

<sup>1</sup>Там же. — С. 259.

<sup>2</sup>Там же. — С. 263.

<sup>3</sup>Там же. — С. 264.

<sup>4</sup>См.: Там же.

ную распространенность в ней *дидактизма*, учительства, назидательности.

Средневековый человек во всякой вещи ищет «мораль», тот неперемный урок, который заключается в этой вещи и который составляет основное ее содержание. В силу этого каждый литературный, исторический или житейский эпизод тяготеет к кристаллизации в нравственный образец, притчу или хотя бы поучительный пример или довод. Всякий текст обнаруживает тяготение превратиться в сентенцию, изречение.

Все, сказанное о средневековой авторитарности, в общем и целом относится и к авторитарности в любую иную эпоху. Средневековое мышление — только пример авторитарного мышления как такового.

Авторитарное мышление стремится усилить и конкретизировать выдвигаемые положения прежде всего путем поиска и комбинирования цитат и изречений, принадлежащих признанным авторитетам. При этом последние канонизируются, превращаются в кумиров, не способных ошибаться и гарантирующих от ошибок тех, кто следует за ними.

Мышления беспредпосылочного, опирающегося только на себя, не существует. Всякое мышление исходит из определенных, явных или неявных, анализируемых или принимаемых без анализа предпосылок, ибо оно всегда опирается на прошлый опыт и его осмысление. Но предпосылочность теоретического мышления и его авторитарность не тождественны. Авторитарность — это особый, крайний, так сказать, вырожденный случай предпосылочности, когда функцию самого исследования и размышления пытаются почти полностью переложить на авторитет.

Авторитарное мышление еще до начала изучения конкретных проблем ограничивает себя определенной совокупностью «основополагающих» утверждений, тем образцом, который определяет основную линию исследования и во многом задает его результат. Изначальный образец не подлежит никакому сомнению и никакой модификации, во всяком случае в своей основе. Предполагается, что он содержит в зародыше решение каждой возникающей проблемы или по крайней мере ключ к такому решению. Система идей, принимаемых в качестве образца, считается внутренне последовательной. Если образцов несколько, они признаются вполне согласующимися друг с другом.

Если все основное уже сказано авторитетом, на долю его последователя остается лишь интерпретация и комментарий из-

вестного. Мышление, плетущееся по проложенной другими колее, лишено творческого импульса и не открывает новых путей.

*Ссылка на авторитет, на сказанное или написанное кем-то не относится к универсальным способам обоснования.* Разумеется, авторитеты нужны, в том числе в теоретической сфере. Возможности отдельного человека ограничены, далеко не все он в состоянии самостоятельно проанализировать и проверить. Во многом он вынужден полагаться на мнения и суждения других.

Но полагаться следует не потому, что это сказано «тем-то», а потому, что сказанное представляется правильным. Слепая вера во всегдашнюю правоту авторитета, а тем более суеверное преклонение перед ним плохо совместимы с поисками истины, добра и красоты, требующими непредвзятого, критичного ума. Как говорил Б.Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе».

Авторитет принадлежит определенной человеческой личности, но авторитет личности имеет своим последним основанием не подчинение и отречение от разума, а осознание того, что эта личность превосходит нас умом и остротой суждения. «Авторитет покоится на признании и, значит, на некоем действии самого разума, который, сознавая свои границы, считает других более сведущими. К слепому повиновению приказам этот правильно понятый смысл авторитета не имеет вообще никакого отношения. Более того, авторитет непосредственно не имеет ничего общего с повиновением, он связан прежде всего с познанием»<sup>1</sup>. Признание авторитета всегда связано с допущением, что его суждения не носят неразумно-произвольного характера, а доступны пониманию и критическому анализу.

Авторитарное мышление, грешащее неумеренными и некритическими ссылками на признанные авторитеты, довольно широко распространено и в о б ы ч н о й жизни. Причин этому несколько. Одна из них уже упоминалась: человек не способен не только жить, но и мыслить в одиночку. Он остается «общественным существом» и в сфере мышления: рассуждения каждого индивида опираются на открытия и опыт других людей. Нередко бывает трудно уловить ту грань, где критическое, взвешенное восприятие переходит в неоправданное доверие к написанному и сказанному другими.

Американский предприниматель и организатор производства Генри Форд как-то заметил: «Для большинства людей наказанием является необходимость мыслить». Вряд ли это справедливо в отношении большинства, но определенно

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. С. 332.

есть люди, больше склонные полагаться на чужое мнение, чем искать самостоятельное решение. Намного легче плыть по течению, чем пытаться грести против него.

Некий дофин Франции никак не мог понять из объяснений своего преподавателя, почему сумма углов треугольника равна двум прямым углам. Наконец преподаватель воскликнул: «Я клянусь Вам, Ваше высочество, что она им равна!» «Почему же Вы мне сразу не объяснили столь убедительно?» — спросил дофин.

«Мы все ленивы и нелюбопытны», — сказал поэт, имея в виду, наверное, и нередкое нежелание размышлять самостоятельно. Случай с дофином, больше доверяющим клятве, чем геометрическому доказательству, — концентрированное выражение «лени и нелюбопытства», которые, случается, склоняют к пассивному следованию за авторитетом.

Однажды норвежская полиция, обеспокоенная распространением самодельных лекарств, поместила в газете объявление о недопустимости использовать лекарство, имеющее следующую рекламу: «Новое лекарственное средство Луризм-300х: спасает от облысения, излечивает все хронические болезни, экономит бензин, делает ткань пуленепробиваемой. Цена — всего 15 крон». Обещания, раздаваемые этой рекламой, абсурдны, к тому же слово «луризм» на местном жаргоне означало «недоумок». И тем не менее газета, опубликовавшая объявление, в ближайшие дни получила триста запросов на это лекарство с приложением нужной суммы.

Определенную роль в таком неожиданном повороте событий сыграли, конечно, вера и надежда на чудо, свойственные даже современному человеку, но также и характерное для многих доверие к авторитету печатного слова. Раз напечатано, значит верно, — такова одна из предпосылок обыденного авторитарного мышления. А ведь стоит только представить, сколько всякого рода небылиц и несуразностей печаталось в прошлом, чтобы не смотреть на напечатанное некритично.

## 2. Интуиция и вера

*Интуицию обычно определяют как прямое усмотрение истины, постижение ее без всякого рассуждения и доказательства. Для интуиции типичны неожиданность, невероятность, непосредственная очевидность и неосознанность ведущего к ней пути.*

*Интуитивная аргументация представляет собой ссылку на непосредственную, интуитивную очевидность выдвигаемого положения.*

Интуитивная аргументация в чистом виде является редкостью. В «непосредственном схватывании», внезапном озарении и прозрении много неясного и спорного. Философ М.Бунге говорит даже, что «интуиция — это коллекция хлама», куда мы сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых не знаем, как их проанализировать, или даже как их точно назвать, либо такие, анализ которых нас не интересует. Поэтому, как

правило, для результата, найденного интуитивно, задним числом подыскиваются основания, кажущиеся более убедительными, чем простая ссылка на интуитивную очевидность.

Тем не менее, интуиция существует и играет заметную роль в познании. Далеко не всегда процесс научного и тем более художественного творчества и постижения мира осуществляется в развернутом, расчлененном на этапы виде. Нередко человек охватывает мыслью сложную ситуацию, не отдавая отчета во всех ее деталях, да и просто не обращая внимания на них. Особенно наглядно это проявляется в военных сражениях, при постановке диагноза, при установлении виновности и невиновности и т.п.

Велика роль интуиции и, соответственно, интуитивной аргументации в математике и логике. Существенное значение имеет интуиция в моральной жизни, в историческом и вообще гуманитарном познании. Художественное мышление вообще не мыслимо без интуиции.

Слово «интуиция» вошло в европейскую философию еще в XIII в. в качестве аналога древнегреческого термина, означавшего познание предмета не по частям, а сразу, одним движением. В позднее средневековье интуиция означала по преимуществу познание того, что конкретно и единично, в противовес абстрактному познанию.

В новое время Декарт свел все акты мышления, позволяющие нам получать новое знание без опасения впасть в ошибку, к двум: интуиции и дедукции. «Под интуицией, — писал он, — я разумею не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождаемое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте более достоверное, чем сама дедукция, хотя последняя и не может быть плохо построена человеком»<sup>1</sup>. Опираясь на первичную интуицию, Декарт пытался доказать, в частности, существование бога — «субстанции бесконечной, вечной, неизменной, независимой, всемогущей, создавшей и породившей меня и все остальные существующие вещи».

Начиная с Платона, утверждается противопоставление интуиции и дискурсивного мышления. Интуиция — это божественный способ познания чего-то одним лишь взглядом, в один миг, вне времени. Дискурсивное же мышление — человеческий способ познания, состоящий в том, что в ходе некоторого рассуждения последовательно, шаг за шагом разворачивается аргументация. Особой остроты противопоставление интуиции и дискурсивного мышления достигает у Канта. Он отрицает декартовскую интеллектуальную интуицию и выделяет чувственную интуицию и чистую интуицию пространства и времени. Последняя более фундаментальна, поскольку данные, даваемые чувствами, должны быть упорядочены в пространстве и времени. По Канту, аксиомы математики опираются на чистую интуицию: их истинность можно «увидеть» или «воспринять» непосредственно благодаря этой интуиции. Кроме того, последняя участвует в

<sup>1</sup>Декарт Р. Правила для руководства ума. — М.; Л., 1936. — С. 57.

каждом шаге каждого доказательства в математике: «Все выводы гарантированы от ошибок тем, что каждый из них показан наглядно»<sup>1</sup>.

Кант не совсем точно оценивает область применения интуиции в математике. Математические аксиомы далеко не всегда представляются интуитивно очевидными и их приемлемость только в редких случаях поддерживается одной лишь ссылкой на такую очевидность. Аксиомы оцениваются не столько сами по себе, сколько по множеству тех теорем, которые могут быть логически выведены из них. Последние могут быть далеки от какой-нибудь интуитивной очевидности. Наличие чистой интуиции в каждом отдельном шаге доказательства совершенно не является необходимым.

К идеям Канта близка концепция интуиционизма, выдвинутая Л.Э.Я.Брауэром в начале этого века. Математика рассматривается Брауэром как деятельность мысленного конструирования математических объектов на основе чистой интуиции времени. Математика — автономный, находящий основание в самом себе вид человеческой деятельности. Она не является лингвистической и не зависит от языка. Слова используются в математике лишь для передачи открытых истин. Последние не зависят от словесного одеяния, в которое их облакает язык, и не могут быть полностью выражены даже на особом математическом языке.

После Канта под интуицией все более понимается интеллектуальная очевидность. Согласно А.Шопенгауэру, органом интуитивного, непосредственного, моментального познания того, что единично, является интеллект. Разум преобразует интеллектуальное познание в абстрактное. Последнее не расширяет знание, а только придает ему новую форму, способную выполнять практические функции и быть объектом межличностной коммуникации.

Своеобразную концепцию интуиции развивает Н.О.Лосский. Он определяет интуицию как «акт непосредственного созерцания предметов в подлиннике»<sup>2</sup>. Акты внимания, различения и т.п., направленные на предмет, ничего не меняют в нем. Поэтому мы знаем предметы в подлиннике, т.е. такими, как они существуют независимо от нас и нашего познания. Кант называл вещи в их бытии, независимом от познающего сознания, термином «вещь в себе» и считал их абсолютно непознаваемыми. Согласно интуитивизму Лосского, наоборот, всякое знание есть знание о «вещах в себе». Логически обосновать знание о существовании внешнего мира невозможно. Поэтому необходимо допустить интуицию как непосредственное восприятие этого мира. Существуют также другие, абсолютно достоверные разновидности знания, которые может обеспечить только интуиция. Согласно Лосскому, человек способен непосредственно созерцать в подлиннике любые виды и стороны бытия, существующие в мире. В чувственном опыте даны материальные процессы как нечто глубоко отличное от душевных процессов, наблюдаемых путем нечувственного опыта. Человек способен наблюдать не только свою, но и чужую душевную жизнь. Он способен наблюдать не только реальное бытие, но и бытие идеальное посредством интеллектуальной интуиции. Сверхлогические принципы, находящиеся в мире, и даже сверхмировое начало, Бог, познаются посредством мистической интуиции.

В этой концепции интуиция оказывается надежным, а нередко и единственным возможным средством познания предметного мира (чувственная интуиция), своей и чужой душевной жизни (нечувственная интуиция), идеального

<sup>1</sup>Кант И. Критика чистого разума// Сочинения: В 6 т. — Т. 3. — М., 1964. — С. 317.

<sup>2</sup>Лосский Н.О. Учение о непосредственном интуитивизме. — М., 1993. С. 137.

бытия (интеллектуальная интуиция), запредельного бытия (мистическая интуиция) и даже ценностных характеристик мира (аксиологическая интуиция).

Из других трактовок интуиции можно эскизно наметить следующие:

- интуиция Платона как созерцание стоящих за вещами идей, приходящее внезапно, но предполагающее длительную подготовку ума;
- интуиция «здорового смысла» шотландской школы философов, дающая нам самоочевидные моральные и религиозные истины;
- художественная интуиция Шопенгауэра, улавливающая сущность мира как мировую волю;
- интуиция философии жизни (Ницше), несовместимая с разумом, логикой и жизненной практикой, но постигающая мир как форму проявления жизни;
- интуиция Бергсона как непосредственное слияние субъекта с объектом и преодоление противоположности между ними;
- моральная интуиция Дж.Мура как непосредственное видение добра, не являющегося «естественным» свойством вещей и не допускающего рассудочного определения;
- интуиция Фрейда как скрытый, бессознательный первоисточник творчества;
- интуиция М.Полани как спонтанный процесс интеграции, непосредственного внезапного усмотрения целостности и взаимосвязи в ранее разрозненном множестве объектов.

Этот перечень можно продолжать долго. В сущности, едва ли не у каждого крупного философа и психолога имеется свое собственное понимание интуиции. В большинстве случаев эти понимания не исключают друг друга.

Общим для всех истолкований интуиции является признание непосредственного характера интуитивного знания — оно представляет собой знание без осознания путей и условий его получения. Отдельные звенья процесса мышления проносятся более или менее бессознательно и запечатлевается только итог мысли — внезапно открывшаяся истина.

Существует давняя традиция противопоставлять интуицию логике. Нередко интуиция ставится выше логики даже в математике, где роль строгих доказательств особенно велика. Чтобы усовершенствовать метод в математике, говорил А.Шопенгауэр, необходимо прежде всего решительно отказаться от предрассудка — веры в то, будто доказанная истина превыше интуитивного знания. Б.Паскаль проводил различие между «духом геометрии» и «духом проничательности». Первый выражает силу и прямоту ума, проявляющиеся в железной логике рассуждений, второй — широту ума, способность видеть глубже и прозревать истину как бы в озарении. Для Паскаля даже в науке «дух проничательности» независим от логики и стоит неизмеримо выше ее. Еще раньше некоторые математики утверждали, что интуитивное убеждение превосходит логику, подобно тому, как ослепительный блеск Солнца затмевает бледное сияние Луны.

Вряд ли такое неумеренное возвеличение интуиции в ущерб строгому доказательству оправдано. Ближе к истине, был, пожалуй, А. Пуанкаре, считавший, что логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, способная дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства.

Логика и интуиция не исключают и не подменяют друг друга. В реальном процессе познания они, как правило, тесно переплетаются, поддерживая и дополняя друг друга.

Доказательство санкционирует и узаконивает завоевания интуиции, оно сводит к минимуму риск противоречия и субъективности, которыми всегда чревато интуитивное озарение. Логика, по выражению Г. Вейля, — это своего рода гигиена, позволяющая сохранять идеи здоровыми и сильными. «Если интуиция — господин, а логика — всего лишь слуга, — пишет математик М. Клайн, — то это тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя... интуиция играет в математике главную роль, все же сама по себе она может приводить к чрезмерно общим утверждениям. Надлежащие ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность — логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к длинным утверждениям со множеством оговорок и допущений и обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками преодолевая то расстояние, которое мощная интуиция перемахивает одним прыжком. Но на помощь интуиции, отважно захватившей расположенное перед мостом укрепление, необходимо выслать боевое охранение, иначе неприятель может окружить захваченную территорию, заставив нас отступить на исходные позиции»<sup>1</sup>.

Уточняя и закрепляя завоевания интуиции, логика вместе с тем сама обращается к ней в поисках поддержки и помощи. Логические принципы не являются чем-то заданным раз и навсегда. Они формируются в многовековой практике познания и преобразования мира и представляют собой очищение и систематизацию стихийно складывающихся «мыслительных привычек». Вырастая из аморфной и изменчивой пралогической интуиции, из непосредственного, хотя и неясного «видения логического», эти принципы всегда остаются интимно связанными

---

<sup>1</sup>Клайн М. Математика. Утрата определенности. — М., 1984. — С. 366.



с изначальным, интуитивным «чувством логического». Не случайно строгое доказательство ничего не значит даже для математика, если результат остается непонятным ему интуитивно. Как заметил математик А.Лебег, логика может заставить нас отвергнуть некоторые доказательства, но она не в силах заставить нас поверить ни в одно доказательство.

Логику и интуицию не стоит, таким образом, направлять друг против друга. Каждая из них необходима на своем месте и в свое время. Внезапное интуитивное озарение способно открыть истины, вряд ли доступные строгому логическому рассуждению.

Однако ссылка на интуицию не может служить твердым и тем более окончательным основанием для принятия каких-то утверждений. Интуиция дает интересные новые идеи, но нередко порождает также ошибки, вводит в заблуждение. Интуитивные догадки субъективны и неустойчивы, они нуждаются в логическом обосновании. Чтобы убедить в интуитивно схваченной истине не только других, но и самого себя, требуется развернутое рассуждение, доказательство.

С интуицией связан ряд явно ошибочных идей. Такова, в частности, идея, что без интуиции, во всяком случае без интуиции интеллектуальной, можно обойтись. Человек способен познавать, только рассуждая, выводя заключения, и не может что-то знать непосредственно. Хорошими контрпримерами этому убеждению являются математика и логика, опирающиеся в конечном счете на интеллектуальную интуицию.

Ошибочно и представление, будто интуиция лежит в основе всего нашего знания, а разум играет только вспомогательную роль. Интуиция не может заменить разум даже в тех областях, где ее роль особенно существенна. Она не является непогрешимой, ее прозрения всегда нуждаются в критической проверке и обосновании, даже если речь идет о фундаментальных видах интуиции. «...Не только общая концепция интуиции как непогрешимого источника знания является мифом, — пишет К.Поппер, — но и наша интуиция времени подвержена критике и исправлению — точно таким же образом, как, согласно Брауэровскому заключению, это происходит с нашей интуицией пространства»<sup>1</sup>.

Интуиция никогда не является окончательной и ее результат обязательно подлежит критическому анализу. Даже в математике интуиция не всегда ясна. Как пишет А.Гейтинг, «по-

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 475.

нятие интуитивной ясности в математике само не является интуитивно ясным. Можно даже построить нисходящую шкалу степеней очевидности. Высшую степень имеют такие утверждения, как  $2 + 2 = 4$ . Однако  $1002 + 2 = 1004$  имеет более низкую степень; мы доказываем это утверждение не фактическим подсчетом, а с помощью рассуждения...»<sup>1</sup>. Интуиция может просто обманывать. На протяжении большей части XIX в. математики были интуитивно убеждены, что любая непрерывная функция имеет производную. Но Вейерштрасс доказал существование непрерывной функции, ни в одной точке не имеющей производной. Такая функция явно противоречила математической интуиции. Математическое рассуждение «исправило» интуицию и «дополнило» ее.

Интуиция меняется со временем и в значительной мере является продуктом культурного развития и успехов в дискурсивном мышлении. Интуиция Эйнштейна, касающаяся пространства и времени, явно отлична от соответствующих интуиций Ньютона или Канта. Интуиция специалиста, как правило, превосходит интуицию дилетанта.

Интуитивная аргументация обычна в математике и логике, хотя и здесь она редко является эксплицитной. Вместо оборота «интуитивно очевидно, что...» изложение ведется так, как если бы апеллирующие к интуиции утверждения выделялись сами собой, уже одним тем, что в их поддержку не приводится никаких аргументов. Кроме того, ссылка на чужие или ранее полученные результаты обычно является также неявным признанием того, что в их основе лежит интуиция.

Ни в математике, ни в логике обычно не предполагается, что ссылка на интуитивную очевидность абсолютно надежна и не нуждается в дальнейшем анализе. Интуитивно очевидное для одних может не быть очевидным для других. Даже в рамках одного направления в математике, скажем интуиционизма, представления о том, что́ может быть принято на основе интуиции, существенно различаются.

Еще более замаскирована интуитивная аргументация в других областях. Интуитивно очевидное нередко выдается за бесспорное и доказательное и не ставится в ясную связь с интуицией.

«Будучи юристом, — пишет Э.Кларк, — я предпринял тщательный разбор свидетельств, связанных с событиями третьего дня Пасхи. Эти свидетельства

<sup>1</sup>Гейтинг А. Тридцать лет спустя// Математическая логика и ее применения. — М., 1965. — С. 225.

представляются мне бесспорными; работая в Верховном Суде, мне вновь и вновь случается выносить приговоры на основании доказательств куда менее убедительных. Выводы делаются на основании свидетельств, а правдивый свидетель всегда безыскусен и склонен преуменьшать эффект событий. Евангельские свидетельства о воскресении принадлежат именно к этому роду, и в качестве юриста я безоговорочно принимаю их как рассказы правдивых людей о фактах, которые они могли бы подтвердить»<sup>1</sup>. В этом отрывке автор прямо ссылается на свою квалификацию, на проведенный им тщательный анализ свидетельств в пользу воскресения Христа, на аналогию евангельских свидетельств с другими правдивыми свидетельствами, в частности на то, что правдивый свидетель безыскусен и склонен преуменьшать эффектную сторону наблюдавшегося им события. Но главным аргументом здесь является, судя по всему, не называемая прямо интуитивная уверенность в достоверности рассмотренных свидетельств. Если ее нет, то ссылки на квалификацию, тщательность анализа и тем более аналогию с иными свидетельствами, мало что значат.

«Мы инстинктивно отделяем Христа от других людей, — отмечает К. Симпсон. — Встречая Его имя в каком-нибудь списке выдающихся личностей, рядом с Конфуцием и Гете, мы чувствуем, что нарушается здесь не столько религия, сколько справедливость. Иисус не принадлежит к выдающимся мировым деятелям. Можно говорить об Александре Великом (Македонском), о Карле Великом, о Наполеоне Великом, если угодно... но не о Христе. Христос — не Великий, Он — Единственный. Он — просто Иисус. К этому нечего добавить... Он выходит за рамки любого анализа. Он низвергает наши каноны человеческой природы. Он выше всякой критики. Он заставляет наш дух благоговеть»<sup>2</sup>. Здесь положение об исключительности Христа, его несравнимости ни с кем из великих людей опирается на интуицию справедливости. Данный пример хорошо показывает предпосылочность интуиции: людям разных культур, разных верований и т.п. интуитивно очевидными могут представляться разные, возможно несовместимые убеждения. Интуиция справедливости христианина едва ли совпадает с аналогичной интуицией мусульманина или представителя другой религии.

*Интуиции близка вера — глубокое, искреннее, эмоционально насыщенное убеждение в справедливости какого-то положения или концепции.*

Вера заставляет принимать какие-то положения за достоверные и доказанные без критики и обсуждения. Как и интуиция, вера субъективна. В разные эпохи предметом искренней веры были диаметрально противоположные воззрения. То, во что когда-то свято веровали все, спустя время большинству представлялось уже наивным предрассудком. В отличие от интуиции вера затрагивает не только разум, но и эмоции; нередко она захватывает всю душу и означает не только интеллектуальную убежденность, но и психологическую расположенность. Интуиция же, даже когда она является наглядно-содержательной, затрагивает только разум. Если интуиция — это непосредственное усмотрение истины и добра, то вера — непосред-

<sup>1</sup>Цит. по: Мак-Дауэлл Д. Неоспоримые свидетельства. — М., 1990. — С. 175.

<sup>2</sup>Там же. — С. 115.

венное тяготение к тому, что представляется истиной или добром.

Вера противоположна *сомнению* и отлична от *знания*. Если человек верит в какое-либо утверждение, он считает его истинным на основании соображений, которые представляются ему достаточными.

В зависимости от способа, каким оправдывается вера, различают *рациональную* и *нерациональную веру*. Последняя служит оправданием самой себе: сам факт веры считается достаточным для ее оправдания. Самодостаточную веру иногда называют «слепой». Например, религиозная вера в чудо не требует какого-либо обоснования чуда, помимо самого акта веры в него. Рациональная вера предполагает некоторые основания для своего принятия. Ни рациональная, ни тем более нерациональная вера не гарантируют истины. Из того, что кто-то твердо верит, что на Марсе тоже есть жизнь, не вытекает, что она там действительно имеется.

Иногда знание определяется как оправданная, истинная вера: человек знает какое-то утверждение, если он верит в данное утверждение и оно является истинным, независимо от веры в него. Этим определением знание сводится к вере и истине. Вряд ли это делает понятие знания более ясным.

Существует мнение, что вера, и прежде всего религиозная вера, не имеет ничего общего со знанием, поскольку вера и знание относятся к дополняющим друг друга, но не сопоставимым сторонам действительности.

Хорошим примером может служить убеждение физика М.Планка в том, что религия потому соединима с естествознанием, что они относятся к совершенно разным сторонам реальности. Вот как характеризует эту позицию в своих воспоминаниях В.Гейзенберг. Естествознание имеет дело с объективным материальным миром. Оно ставит задачу формулировать правильные высказывания об объективной действительности и понять существующие в ней связи. Религия же имеет дело с миром ценностей. Здесь речь идет о том, что должно быть. В естествознании говорится о верном и неверном; в религии — о добром и злом, о ценном и не имеющем ценности. Естествознание — основа технически целесообразного действия, религия — основа этики. Поэтому представляется, что конфликт между этими двумя сферами, начавшийся в XVIII веке, покоится на недоразумении, которое возникает, когда мы образы и сравнения религии истолковываем как естественнонаучные утверждения, что, конечно, бессмысленно. Естествознание в известном смысле есть тот способ, каким мы подходим к объективной стороне действительности, каким мы разбираемся в ней. Напротив, религиозная вера есть выражение субъективного решения, в котором мы устанавливаем для себя ценности, в соответствии с ними упорядочивая свое жизненное поведение<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>См.: Гейзенберг В. Часть и целое// Проблема объекта в современной науке. — М., 1980. — С. 83—84.

Сам Гейзенберг по поводу этого разграничения объективного и субъективного, истины и ценностей замечает: «...Я должен признаться, что мне от такого разделения немного не по себе. Я сомневаюсь, что человеческие общества могут долгое время жить с таким четким разграничением между знанием и верой»<sup>1</sup>. Эту точку зрения разделяет и В.Паули: «Полное разделение между знанием и верой — это, несомненно, лишь паллиатив на краткое время. Например, в западной культурной сфере в не столь далеком будущем может прийти момент, когда сравнения и образы прежней религии перестанут обладать убедительностью даже для простого народа; боюсь, что тогда в самый короткий срок распадется и прежняя этика и будут происходить столь ужасные вещи, что мы не можем сейчас их даже представить себе. Так что я не вижу большого смысла в философии Планка, даже если она логически выдержана и даже если я уважаю вытекающую из нее жизненную установку»<sup>2</sup>.

Соотношение знания и веры во многом является неясным. Очевидно только, что они существенно переплетены, нередко взаимно поддерживают друг друга, и разделение их и отнесение к разным, не соприкасающимся друг с другом сторонам действительности может быть только временным и условным.

Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта. Предположения не становятся частью науки до тех пор, пока их кто-нибудь не выскажет и не заставит в них поверить. «Как всякое интеллектуальное действие, искреннее утверждение всегда несет в себе также и эмоциональную нагрузку, — пишет М.Полани. — С его помощью мы стараемся уверить, убедить тех, кому мы адресуем свою речь. Нам памятливы крики безумного ликования, дошедшие до нас благодаря записям Кеплера, которые он сделал в предвкушении открытия; мы знаем много других подобных проявлений в ситуациях, когда людям только казалось, что они приблизились к открытию; нам известно также, с какой силой великие пионеры науки, такие, как Пастер, отстаивали свои взгляды перед лицом критики. Врач, который ставит серьезный диагноз в сложном случае, или член суда, выносящий приговор в сомнительном деле, чувствуют тяжелейший груз личной ответственности. В обычных ситуациях, когда нет ни оппонентов, ни сомнений, такие страсти спят, но не отсутствуют вовсе; всякая искренняя констатация факта сопровождается чувством интеллектуального удовлетворения или стремлением постичь что-то, а также ощущением личной ответственности»<sup>3</sup>.

Вера стоит не только за отдельными утверждениями, но и за целостными концепциями или теориями. Особенно наглядно

<sup>1</sup>Там же. — С. 84.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Полани М. Личностное знание. — М., 1985. — С. 52—53.

это выявляется при переходе от старой теории к новой. Основные трудности их сравнения и выбора между ними оказываются связанными с разными системами верований, стоящими за ними.

Для двух разных систем веры характерно, что: (1) они используют понятия, между которыми невозможно установить обычные логические отношения (включение, исключение, пересечение); (2) заставляют своих сторонников во многом видеть вещи по-разному, диктуют разные восприятия; (3) включают в себя разные методы обоснования и оценки выдвигаемых положений. Именно таковы и обычные отношения между старой и приходящей ей на смену новой теорией, в силу чего переход от признания одной теории к признанию другой аналогичен «акту обращения» в новую веру и не может быть осуществлен шаг за шагом посредством логики и нейтрального опыта. Как показывают примеры из истории науки, этот переход происходит или сразу, хотя не обязательно в один прием, или не происходит вообще. «Коперниканское учение приобрело лишь немногих сторонников в течение почти целого столетия после смерти Коперника. Работа Ньютона не получила всеобщего признания, в особенности в странах континентальной Европы, в продолжение более чем 50 лет после появления "Начал". Пристли никогда не принимал кислородной теории горения, так же как лорд Кельвин не принял электромагнитной теории и т.д.»<sup>1</sup>. По поводу «обращения в новую теорию» Ч.Дарвин писал в конце своей книги «Происхождение видов»: «Хотя я вполне убежден в истине тех воззрений, которые изложены в этой книге в форме краткого обзора, я никоим образом не надеюсь убедить опытных натуралистов, умы которых переполнены массой фактов, рассматриваемых ими в течение долгих лет с точки зрения, прямо противоположной моей... Но я смотрю с доверием на будущее, на молодое возникающее поколение натуралистов, которое будет в состоянии беспристрастно взвесить обе стороны вопроса»<sup>2</sup>. М.Планк с грустью замечал, что «новая научная истина прокладывает дорогу к триумфу не посредством убеждения оппонентов и принуждения их видеть мир в новом свете, но скорее потому, что ее оппоненты рано или поздно умирают и вырастает новое поколение, которое привыкло к ней»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Кун Т. Структура научных революций. — С. 191.

<sup>2</sup>Дарвин Ч. Происхождение видов. — М., 1952. — С. 444.

<sup>3</sup>Plank M. Scientific Autobiography and Other Papers. — N.Y., 1949. — P. 33—34.

Сторонники конкурирующих теорий осуществляют свои исследования в разных мирах. Поэтому «две группы ученых видят вещи по-разному, хотя и наблюдают за ними с одной позиции и смотрят в одном и том же направлении. В то же время нельзя сказать, что они могут видеть то, что им хочется. Обе группы смотрят на мир, и то, на что они смотрят, не изменяется. Но в некоторых областях они видят различные вещи, и видят их в различных отношениях друг к другу. Вот почему закон, который одной группой ученых даже не может быть обнаружен, оказывается иногда интуитивно ясным для другой»<sup>1</sup>. Новая теория обычно кажется хуже старой с точки зрения существующих методологических стандартов: она не так хорошо соответствует большинству фактов, решает меньше проблем, ее технический аппарат менее разработан, ее понятия менее точны и т.д. Чтобы развить ее потенциальные возможности, нужна решимость принять ее и начать разрабатывать, однако «принятие решения такого типа может быть основано только на вере»<sup>2</sup>.

Итак переход от старой теории к новой связан с изменением системы верований. Однако это не означает, что он не может осуществляться с помощью аргументов и что ученых невозможно убедить в необходимости изменения их образа мышления. Аргументация присутствует и здесь, но она не только не является доказательной, но и вообще не имеет единой и унифицированной формы. «Отдельные ученые, — пишет Т.Кун, — принимают новую парадигму по самым разным соображениям и обычно сразу по нескольким различным мотивам. Некоторые из этих мотивов — например, культ Солнца, который помогал Кеплеру стать коперниканцем, — лежат полностью вне сферы науки. Другие основания должны зависеть от особенностей личности и ее биографии. Даже национальность или прежняя репутация новатора и его учителей иногда может играть значительную роль. Следовательно, в конце концов, мы должны научиться отвечать на этот вопрос дифференцированно»<sup>3</sup>. Кун подчеркивает, что коль скоро переход от признания одной теории к признанию другой есть акт «обращения», в нем не может быть места принуждению<sup>4</sup>, а о приверженцах старой теории нельзя сказать, что они ошибаются. «Хотя историк всегда может найти последователей того или иного первооткрывателя, например,

<sup>1</sup>Кун Т. Структура научных революций. — С. 190.

<sup>2</sup>Там же. — С. 199.

<sup>3</sup>Там же. — С. 193—194.

<sup>4</sup>Там же. — С. 192.

Пристли, которые вели себя неразумно, ибо противились новому слишком долго, он не сможет указать тот рубеж, с которого сопротивление становится нелогичным или ненаучным. Самое большое, что он, возможно, скажет, — это то, что человек, который продолжает сопротивляться после того, как вся его профессиональная группа перешла к новой парадигме, *ipso facto* перестал быть ученым»<sup>1</sup>.

Определенная система верований лежит в основе не только отдельной теории, но и самой науки в целом. Эта система задает предпосылки научного теоретизирования и определяет то, что отличает научное мышление от идеологического, утопического или художественного мышления. Совокупность мыслительных предпосылок науки размыта, значительная их часть носит характер «неявного знания». Этим прежде всего объясняется то, что трудно науку сколько-нибудь однозначно отграничить от того, что наукой не является, и определить научный метод исчерпывающим перечнем правил.

Предпосылочным, опирающимся на неявные, размытые верования является и мышление целой исторической эпохи. Совокупность этих верований определяет стиль мышления данной эпохи, ее интеллектуальный консенсус. Стиль мышления представляет собой систему глобальных, по преимуществу имплицитных предпосылок теоретического мышления конкретной эпохи, сложное и динамичное множество образцов, принципов, форм и категорий, лежащих в основе теоретического осмысления мира, его объяснения и понимания. Стиль мышления почти не осознается той эпохой, в которую он господствует, и подвергается определенному осмыслению и критике только в последующие эпохи. Переход от стиля мышления одной эпохи к стилю мышления другой является стихийно-историческим процессом, занимающим довольно длительный период. Стиль мышления эпохи почти всецело лежит вне сферы аргументации этой эпохи. Напротив, он определяет все основные особенности такой аргументации, делая ее неотъемлемой составной частью культуры своей эпохи<sup>2</sup>.

Таким образом, возможности аргументации являются ограниченными даже в науке, особенно в периоды кризиса старых теорий и появления новых. Эти возможности становятся уже при попытках отделить научное, теоретическое мышление от

<sup>1</sup>Там же. — С. 201.

<sup>2</sup>Подробнее об этом см.: Ивин А.А. Интеллектуальный консенсус исторической эпохи // Не наукой единой. — М., 1989. — С. 24—35.



практического или художественного. Аргументация становится почти бессильной, когда какая-то эпоха пытается определить те общие верования, которые определяют облик ее мышления, ее миропонимания и мироощущения.

Ссылка на твердую веру, решительную убежденность в правильности какого-либо положения может использоваться в качестве аргумента в пользу принятия этого положения. Однако аргумент к вере кажется убедительным и веским, как правило, лишь тем, кто разделяет эту веру или склоняется к ее принятию. Другим аргумент от веры может казаться субъективным или почти что пустым: верить можно и в самые нелепые утверждения.

Тем не менее встречается, как замечает Л. Витгенштейн, ситуация, когда аргумент к вере оказывается едва ли не единственным<sup>1</sup>. Это — ситуация радикального инакомыслия, непримиримого «разноверия». Обратить инакомыслящего разумными доводами невозможно. В таком случае остается только крепко держаться за свою веру и объявить противоречащие взгляды еретическими, безумными и т.п. Там, где рассуждения и доводы бессильны, выражение твердой, неотступной убежденности может сыграть со временем какую-то роль. Если аргумент к вере заставит все-таки инакомыслящего присоединиться к противоположным убеждениям, это не будет означать, конечно, что данные убеждения по каким-то интересубъективным основаниям предпочтительнее.

Аргумент к вере только в редких случаях выступает в явном виде. Обычно он подразумевается, и только слабость или неотчетливость приводимых прямо аргументов косвенно показывает, что за их спиной стоит неявный аргумент к вере.

Средневековый комментатор Дионисий Картузианец так раскрывает идею, что мрак — это сокровеннейшая сущность бога: «Чем более дух близится к сверхблистающему божественному твоему свету, тем полнее обнаруживаются для него твоя неприступность и непостижимость, и когда он вступает во тьму, то вскоре и совсем исчезают все имена и все знания. Но ведь это и значит для духа узнать тебя: узреть вовсе незримого; и чем яснее зрит он сие, тем более светлым он тебя прозревает. Сподобиться стать этой сверхсветлою тьмою — о том тебя молим, о преблагословенная Троица, и дабы чрез незримость и неведение узреть и познать тебя, ибо пребываешь сверх всякого облика и всякого знания. И взору тех лишь являешься, кои, все осязаемое и все постижимое и все сотворенное, равно как и себя самих, преодолев и отринув, во тьму вступили, в ней же истинно пребываешь»<sup>2</sup>. Здесь только один явный аргумент, понятный средневековой аудитории — ссылка на авторитет — в Библии сказано:

<sup>1</sup>См.: Wittgenstein L. On Certainty. Oxford, 1969. — 270.

<sup>2</sup>Цит. по: Хейзинга Й. Осень Средневековья. — М., 1988. — С. 247.

«И содеял мрак покровом Своим». Другим, подразумеваемым доводом является аргумент к вере: тому, кто уже верит, что бог непредставим и невыразим, могут показаться убедительными и свет, обращающийся во мрак («сверхсветлая тьма»), и отказ от всякого знания («узрение и познание через незримость и неведение»).

Иногда аргумент к вере маскируется специально, чтобы создать впечатление, будто убедительность рассуждения зависит только от него самого, а не от убеждений аудитории.

Фома Аквинский пытался строго разделить то, что может быть доказано при помощи разума, и то, что требует для своего доказательства авторитета священного писания. Б. Рассел упрекает св. Фому в неискренности: вывод к которому тот должен прийти, определен им заранее. «Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака защищается св. Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей: (а) потому что он разумнее матери, (б) потому, что обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что (а) нет никаких оснований считать мужчин в целом более разумными, чем женщин, (б) что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают какое-либо участие в воспитании детей»<sup>1</sup>. Однако, замечает Рассел, эти доводы вряд ли убедили бы св. Фому или его последователей: «...Ни один последователь св. Фомы не откажется на этом основании от веры в пожизненную моногамию, так как действительные основания этой веры совсем не те, на которые ссылаются в ее обоснование»<sup>2</sup>.

Другим примером могут служить аргументы, при помощи которых Аквинский доказывает существование бога. Все они, кроме ссылки на теологию, обнаруживаемую в неживой природе, покоятся на предполагаемой невозможности ряда, не имеющего первого члена. Любому математику известно, что это отнюдь не невозможно; примером, опровергающим посылку св. Фомы, является ряд отрицательных целых чисел, заканчивающийся числом минус единица. «Но и в данном случае, — заключает Б. Рассел, — вряд ли найдется такой католик, который оставит веру в бога, даже если он убедится в несостоятельности аргументации св. Фомы; он придумает новые аргументы или найдет прибежище в откровении»<sup>3</sup>.

В обоих этих примерах основным аргументом является скрытая апелляция к твердой вере аудитории.

Таким образом, аргумент к вере не так редок и не так преосудителен, как это может показаться. Он встречается в науке, особенно в периоды ее кризисов. Он неизбежен при обсуждении многих общих вопросов, таких, как скажем, вопрос о будущем человечества или вопрос о предпосылках теоретического мышления. Аргумент к вере обычен в общении людей, придерживающихся какой-либо общей системы веры. Как и все контекстуальные аргументы, он нуждается в определенной, сочувственно воспринимающей его, аудитории. В другой аудитории

<sup>1</sup>Рассел Б. История западной философии. — М., 1993. — Т. 1. — С. 480.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Там же. — С. 481.

он может оказаться не только неубедительным, но и попросту неуместным.

Аргумент к вере был в свое время основательно скомпрометирован противопоставлением веры, и прежде всего религиозной веры, разуму, тем, что «конкретная реальность» веры ставилась выше «абстрактных истин умозрения». «Верую, чтобы понимать», — заявляли в средние века Блаженный Августин и Ансельм Кентерберийский. Христианский теолог Тертуллиан силу веры измерял именно несоизмеримостью ее с разумом: легко верить в то, что подтверждается и рассуждением; но нужна особенно сильная вера, чтобы верить в то, что противостоит и противоречит разуму. Только вера способна заставить, по Тертуллиану, принять логически недоказуемое и нелепое: «Сын божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер сын божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Но уже в начале XII в. философ и теолог П.Абеляр поставил разум и опирающееся на него понимание перед верой. Выдвинутая им максима «Понимаю, чтобы верить» — ключ к истолкованию соотношения разума и веры.

Бездоказательная вера является антиподом знания, к которому она обычно относится с недоверием, а то и с неприязнью. Отстаивающие такую веру усматривают ее преимущество в том, что она крепка и активна, ибо идет из глубин души, охватывает и выражает ее всю, в то время как теоретизирующий разум односторонен, поверхностен и неустойчив. Но этот довод малоубедителен. Прежде всего, самые надежные истины, подобные истинам математики и физики, открываются именно разумом, а не верой; не следует, далее, путать веру, требующую, скажем, признания чудес, с верой как глубокой убежденностью, являющейся следствием исторического или жизненного опыта.

### 3. Здравый смысл и вкус

*Здравый смысл можно примерным образом охарактеризовать как общее, присущее каждому человеку чувство истины и справедливости, приобретаемое с жизненным опытом.* Здравый смысл в основе своей не является знанием. Скорее, это способ отбора знания, то общее освещение, благодаря которому в знании различаются главное и второстепенное и обрисовываются крайности.

Здравый смысл играет особую роль в гуманитарной аргументации и при обсуждении всех проблем, касающихся жизни и деятельности человека<sup>1</sup>.

*Аргумент к здравому смыслу — это обращение с целью поддержки выдвигаемого положения к чувству здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории.*

Апелляция к здравому смыслу высоко ценилась в античности и шла в русле противопоставления мудрости («софии») и практического знания («фронесис»). Это противопоставление было теоретически разработано Аристотелем и развито его последователями до уровня критики теоретического жизненного идеала. Практическое знание, руководящее поступками человека, — это особый, самостоятельный тип знания. Практическое знание направлено на конкретную ситуацию и требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Жизнь не строится, исходя из теоретических начал и общих принципов, она конкретна и руководствуется конкретным знанием, оцениваемым с точки зрения здравого смысла.

В схоластике, например, у Фомы Аквинского, здравый смысл — это общая основа внешних чувств, а также опирающейся на них способности судить о данном, присущей всем людям.

Важную роль отводил здравому смыслу Д.Вико, истолковывавший его как общее чувство истины и права. На этом чувстве Вико основывал значение красноречия и его право на самостоятельность. Воспитание не может идти путем критического исследования и нуждается в образах для развития фантазии. Изучение наук не способно дать этого и нуждается в дополнении топики — искусством находить аргументы. Топика служит для развития чувства убежденности, функционирующего инстинктивно и мгновенно и не заменяемого наукой. Здравый смысл, по Вико, — это чувство правильности и общего блага, которое живет во всех людях, но в еще большей степени это чувство, получаемое благодаря общности жизни, благодаря ее укладу и целям. Здравый смысл направлен против теоретических спекуляций философов и определяет своеобразие исследования в гуманитарных науках. Их предмет — моральное и историческое существование человека, обнаруживающееся в его трудах и деяниях. Само это существование решающим образом определяется здравым смыслом.

А.Шефтсбери, влияние которого в XVIII в. было огромным, истолковывал здравый смысл как понимание общего блага и одновременно как приверженность общине или обществу, как естественные чувства, гуманность, любезность. Здравый смысл — это скорее добродетель сердца, нежели ума, являющаяся не просто обиходной добродетелью, но предполагающая некоторую моральную и даже метафизическую основу.

В философии шотландской школы понятие здравого смысла обрело центральную систематизирующую функцию. «Несомненно, здесь проявилась аристотелевско-скептическая понятийная традиция здравого смысла, — пишет Х.-Г.Гадамер. — Исследование чувств и их познавательных достижений почерпнуто из этой традиции и в конечном счете призвано служить коррекции преувеличений в философских спекуляциях. Но одновременно при этом понятие здравого смысла концентрируется на обществе: «Он служит для того, чтобы направлять нас в общественных делах или в общественной жизни, когда наши способности к

<sup>1</sup>См. в этой связи: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — М., 1988. — С. 61—72. Дальнейшее обсуждение здравого смысла и вкуса существенно опирается на эту работу.

рассуждению покидают нас в темноте». Философия здорового человеческого разума у представителей шотландской школы выступает не только как целебное средство против «лунатизма» метафизики, она еще и содержит основы моральной философии, воистину удовлетворяющей жизненные потребности общества»<sup>1</sup>.

Моральные мотивы в понятии здравого смысла подчеркивал А.Бергсон. В его определении указывается, что, хотя здравый смысл и связан с чувствами, но реализуется он на социальном уровне. Чувства ставят нас в какое-то отношение к вещам, здравый смысл руководит нашими отношениями с людьми. Он не столько дар, сколько постоянная корректировка вечно новых ситуаций, работа по приспособлению к действительности общих принципов.

Существенное значение придает здравому смыслу современная философская герменевтика, выступающая против его интеллектуализации и сведения его до уровня простой поправки: то, что в чувствах, суждениях и выводах противоречит здравому смыслу, не может быть правильным.

Здравый смысл — одно из ведущих начал человеческой жизни. Она разворачивается не под действием науки, философии или каких-то общих принципов, а под решающим воздействием здравого смысла. Именно поэтому он необходим гуманитарному ученому, исследующему моральное и историческое существование человека.

Здравый смысл проявляется в суждениях о правильном и неправильном, годном и негодном. «Обладатель здравого суждения не просто способен определять особенное с точки зрения общего, но знает, к чему оно действительно относится, то есть видит вещи с правильной, справедливой, здоровой точки зрения. Авантюрист, правильно рассчитывающий людские слабости и всегда верно выбирающий объект для своих обманов, тем не менее не является носителем здравого суждения в полном смысле слова»<sup>2</sup>.

Приложим здравый смысл прежде всего в общественных, практических делах. С его помощью судят, опираясь не на общие предписания разума, а скорее на убедительные примеры. Поэтому решающее значение для него имеет история и опыт жизни. Здравому смыслу нельзя выучить, в нем можно только упражняться. Он имеет двойственный, описательно-оценочный характер: с одной стороны, он опирается на прошлые события, а с другой является наброском, проектом будущего.

С изменением общественной жизни меняется и здравый смысл. Так, в древности сны представлялись обычному человеку одним из важнейших выражений его души, материалом для предсказания будущего. В эпоху Просвещения идея о том, что

<sup>1</sup>Там же. — С. 67.

<sup>2</sup>Там же. — С. 74.

сны могут быть вещими, уже казалась предрассудком; в них видели преимущественно отражение соматических факторов и избыток душевных страстей. Позднее снова начала усматриваться связь между характером человека и его сновидениями: в сновидениях отражается характер и особенно те его стороны, которые не проявляются наяву; во сне человеком осознаются скрытые мотивы его действий, и потому, толкуя сновидения, можно предсказать его будущие действия.

Здравый смысл способен впадать в заблуждение, но это, как правило, своеобразное заблуждение: оно является ошибкой не столько с точки зрения того контекста, в котором сформировался здравый смысл, сколько с точки зрения последующего периода, породившего новые представления здравого смысла. Так обстоит, в частности, дело с пренебрежительным отношением античного и средневекового человека к науке и ученым. «Все методы, все предпосылки нашей сегодняшней научной мысли, — жалуется Ф. Ницше, — тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение: ученый не допускался в общество «приличных» людей — считался «врагом бога», презирающим истину, считался «одержимым». Человек, занятый наукой, — чандала<sup>1</sup>... Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науке, — все было против нас; произнося «ты обязан!..», всегда обращали эти слова против нас... Наши объекты, наши приемы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам... Все казалось совершенно недостойным, презренным... В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетический ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была картинной; от человека познания вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Скромность шла вразрез со вкусом...»<sup>2</sup>. Дело здесь, конечно, не в грубом эстетическом вкусе, требующем от ученых и науки «истин-картин», а в отдаленности античной и средневековой науки от основного потока социальной жизни, в скудости результатов этой науки и их несущественности с точки зрения реальной практической деятельности. Наука должна была обнаружить себя как важное измерение повседневной жизни, чтобы здравый смысл смог изменить о ней свое мнение. Здравый смысл

<sup>1</sup>Чандала — «нечистые», «неприкасаемые» в Индии, то есть не входящие ни в одну из варн (брахманов, кшатриев и др.).

<sup>2</sup>Ницше Ф. Антихристианин. Опыт критики христианства // Сумерки богов. — М., 1989. — С. 27—28.

служит своей эпохе и значимость его суждений не выходит за пределы этой эпохи.

Хотя здравый смысл касается в первую очередь социальной жизни, по своей природе он более универсален, так как способен судить о любой деятельности и ее результатах, включая теоретическую деятельность и ее результаты — сменяющие друг друга теории и концепции. Однако в собственно теоретической области здравый смысл ненадежный советчик: от современных теорий резоннее требовать парадоксальности, т.е. разрыва с ортодоксальным, чем соответствия устоявшимся представлениям о мире, суммирующимся здравым смыслом ученого. Апелляция к здравому смыслу неизбежна в гуманитарных науках, вплетенных в историческую традицию и являющихся не только ее пониманием, но и ее продолжением. Но эта апелляция является редкой и ненадежной в естественных науках, стремящихся абстрагироваться от своей истории и вынести ее за скобки.

*Аргументация к вкусу — это обращение к чувству вкуса, имеющемуся у аудитории и способному склонить ее к принятию выдвинутого положения.*

Понятие *вкуса* существенно уже понятия здравого смысла. Вкус касается только совершенства каких-то вещей и опирается на непосредственное чувство, а не на рассуждение. Кант характеризовал вкус как «чувственное определение совершенства» и видел в нем основание своей критики способности суждения.

Понятие вкуса первоначально было моральным, и лишь впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности».

Идея человека, обладающего вкусом, пришла в XVII в. на смену христианскому идеалу придворного и была идеалом так называемого «образованного общества». «Вкус — это не только идеал, провозглашенный новым обществом, — пишет Гадамер, — это в первую очередь образующийся под знаком этого идеала “хороший вкус”, то, что отныне отличает “хорошее общество”. Оно узнается и узаконивается теперь не по рождению и рангу, а в основном благодаря общности суждений или, вернее, благодаря тому, что вообще умеет возвыситься над ограниченностью интересов и частностью пристрастий до уровня потребности в суждении»<sup>1</sup>.

Хороший вкус не является субъективным, он предполагает способность дистанцироваться от себя самого и групповых при-

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 78.

страстей. «...Вкус по самой сокровенной своей сущности не есть нечто приватное; это общественный феномен первого ранга. Он в состоянии даже выступать против частной склонности отдельного лица подобно судебной инстанции по имени “всеобщность”, которую он представляет и мнение которой выражает»<sup>1</sup>. Можно отдавать чему-то предпочтение, отмечает Гадамер, несмотря на неприятие собственным вкусом.

Вкус — это не простое своеобразие подхода индивида к оцениваемому им явлению. Вкус всегда стремится к тому, чтобы стать х о р о ш и м и реализовать свое притязание на всеобщность. Хороший вкус уверен в своем суждении, он принимает и отвергает, не зная колебаний, не оглядываясь на других и не подыскивая оснований. «...Вкус в чем-то приближается к чувству, — пишет Гадамер. — В процессе действия он не располагает познанием, на чем-то основанном. Если в делах вкуса что-то негативно, то он не в состоянии сказать почему. Но узнает он это с величайшей уверенностью. Следовательно, уверенность вкуса — это уверенность в безвкусице... Дефиниция вкуса состоит прежде всего в том, что его уязвляет все ему противоречащее, как избегают всего, что грозит травмой»<sup>2</sup>.

Понятию хорошего вкуса противостоит понятие о т с у т с т в и я вкуса, а не понятие плохого вкуса. «Хороший вкус — это такой тип восприятия, при котором все утрированное избегается так естественно, что эта реакция по меньшей мере непонятна тем, у кого нет вкуса»<sup>3</sup>.

Широко распространено мнение, что о вкусах не спорят: приговор вкуса обладает своеобразной непререкаемостью. Кант полагал, что в этой сфере возможен спор, но не диспут<sup>4</sup>. Причину того, что в вопросах вкуса нет возможности аргументировать, Гадамер видит в непосредственности вкуса и несводимости его к каким-то другим и в особенности понятийным основаниям: «...Это происходит не потому, что невозможно найти понятийно всеобщие масштабы, которые всеми с необходимостью принимаются, а потому, что их даже не ищут, и ведь их невозможно правильно отыскать, даже если бы они и были. Нужно иметь вкус; его невозможно преподать путем демонстрации и нельзя заменить простым подражанием»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>Там же. — С. 79.

<sup>2</sup>Там же.

<sup>3</sup>Там же. — С. 79—80.

<sup>4</sup>Кант И. Соч. — Т. 5. — М., 1966. — С. 358.

<sup>5</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 80. «Никто не сомневается в том, что вопросы вкуса не могут решаться с помощью аргументации и демонстрации» (С. 85).



Принцип «о вкусах не спорят» не кажется верным в своей общей формулировке. Споры о вкусах достаточно обычны, эстетика и художественная критика состоят по преимуществу из таких споров. Когда выражают сомнение в их возможности или эффективности, имеют в виду, скорее, лишь особые случаи спора, не приложимые к суждениям вкуса.

Действительно, о вкусах невозможно вести *дискуссию* — спор, направленный на поиски истины и ограничивающийся только корректными средствами аргументации. О вкусах невозможен также *эклeктический спор*, тоже ориентирующийся на истину, но использующий и некорректные приемы. Суждения вкуса являются оценками: они определяют степень совершенства рассматриваемых объектов. Как всякие оценки, эти суждения не могут быть предметом дискуссии или эклектического спора. Но об оценках возможна *полемика* — спор, цель которого победа над другой стороной и который пользуется только корректными приемами аргументации. Оценки, и в частности суждения вкуса, могут быть также предметом *софистического спора*, тоже ориентированного на победу, но использующего и некорректные приемы<sup>1</sup>. Идея, что вкусы лежат вне сферы аргументации, нуждается, таким образом, в серьезной оговорке. О вкусах можно спорить, но лишь с намерением добиться победы, утверждения своей системы оценок, причем спорить не только некорректно, но и вполне корректно.

Вкус всегда претендует на общую значимость. Это особенно наглядно проявляется в феномене *моды*, тесно связанном со вкусом. Мода касается быстро меняющихся вещей и воплощает в себе не только вкус, но и определенный, общий для многих способ поведения. «Мода, — пишет Гадамер, — по своему усмотрению управляет лишь такими вещами, которые в равной степени могут быть такими или иными. Фактически ее составляющей является эмпирическая общность, оглядка на других, сравнение, а вместе с тем и перенесение себя на общую точку зрения»<sup>2</sup>. Будучи формой общественной деятельности, мода создает общественную зависимость, от которой трудно уклониться. В частности, Кант считал, что лучше быть модным дураком, чем идти против моды, хотя и глупо принимать моду чересчур всерьез<sup>3</sup>. Сходное убеждение выражал А.Пушкин: «Быть можно умным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесплодно

<sup>1</sup>О разновидностях спора см. главу «Искусство спора».

<sup>2</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 80.

<sup>3</sup>См.: Кант И. Соч. — Т. 6. — М., 1966. — § 71.

спорить с веком? Обычай — деспот среди людей». «...Хороший вкус характеризуется тем, — отмечает Гадамер, — что умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего “стиля”, то есть согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются»<sup>1</sup>.

*Аргумент к моде является, таким образом, частным случаем аргумента ко вкусу и представляет собой ссылку на согласие выдвинутого положения с господствующей в данное время модой.*

Вкус не сводится к правилам и понятиям и не является системой образцов, на основе которых выносятся оценочные суждения. Вкус присущ не каждому и предполагает не совпадение с суждениями всех других по любому конкретному поводу, а одобрение суждений вкуса некоторой идеальной общностью, совокупностью тех, кто тоже обладает хорошим вкусом. Вкус, отмечает Кант, «не говорит, что каждый будет согласен с нашим суждением, а говорит, что он *должен* согласиться»<sup>2</sup>.

Чувство вкуса необходимо в тех областях, где единичное характеризуется с учетом того целого, к которому оно принадлежит и где само целое не представляет собой устойчивой системы правил или понятий. Вкус говорит о том, подходит ли данное единичное ко всему другому, составляющему целое, вписывается оно или нет в это целое. Поскольку целое само только чувствуется, а не определяется сколь-нибудь строгим образом, принадлежность к нему единичного также можно только почувствовать, но не доказать. «...Вкус никоим образом не ограничивается прекрасным в природе и искусстве, определяя его декоративные качества, но охватывает всю область нравов и приличий»<sup>3</sup>. Включение единичного в какую-то целостность, лежащее в основе суждения вкуса, является одновременно уточнением и конкретизацией этой целостности.

Античная психология предполагала наличие у каждого индивида априорных идеалов красоты и добра, и истолковывала

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 80.

<sup>2</sup>Кант И. Сочинения. Т. 5. М., 1966. С. 244.

<sup>3</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 81.

эстетические и моральные суждения как наложение этого идеала на реальные объекты. Идеал оказывался единицей измерения, предшествующей вещам и трансцендентной им.

Однако в действительности при эстетической и моральной оценке мы руководствуемся не какой-то единой схемой, налаженной на конкретные предметы, лишённые всякого права голоса. Напротив, руководствуемся самими этими предметами, и они сами выбирают ту из наших моделей, которая должна быть к ним применена. «...Глядя на конкретную женщину, — пишет Х.Ортега-и-Гассет, — я рассуждал бы совсем иначе, чем некий судья, поспешающий применить установленный кодекс, соответствующий закон. Я закона не знаю; напротив, я ищу его во всех встречающихся мне лицах. По лицу, которое я перед собой вижу, я хочу узнать, что такое красота. Каждая женская индивидуальность сулит мне совершенно новую, еще незнакомую красоту; мои глаза ведут себя подобно человеку, ожидающему открытия, внезапного откровения»<sup>1</sup>. Каждое суждение вкуса не только исходит из определенной целостности, но и своим приговором вносит вклад в ее формирование. Продуктивность отдельных случаев постоянно преобразует и эстетику и мораль. Ортега так иллюстрирует эту мысль на примере чтения: «Когда мы читаем книгу, то ее “тело” как бы испытывает постукивание молоточков нашей удовлетворенности или неудовлетворенности. “Это хорошо, — говорим мы, — так и должно быть”. Или: “Это плохо, это уходит в сторону от совершенства”. И автоматически мы намечаем критическим пунктиром ту схему, на которую претендует произведение и которая либо приходится ему впору, либо оказывается слишком просторной. Да, всякая книга — это сначала замысел, а потом его воплощение, измеряемое тем же замыслом. Само произведение раскрывает и нам свою норму и свои огрехи. И было бы величайшей нелепостью делать одного писателя мерилom другого»<sup>2</sup>.

Особое значение и вместе с тем особую силу вкус имеет в сфере нравственного решения. «...Вкус — это хотя и никоим образом не основа, но, пожалуй, высшее совершенство нравственного суждения, — пишет Гадамер. — Если неправильное противоречит вкусу человека, то его уверенность в принятии добра и отвержении зла находится на высочайшем уровне; она столь же высока, сколь и уверенность самого

<sup>1</sup> *Ортега-и-Гассет Х.* Эстетика. Философия культуры. — М., 1991. — С. 159.

<sup>2</sup> Там же. — С. 162—163.

витального из наших чувств, которое выбирает или отвергает пищу»<sup>1</sup>.

Вкус несет на себе отпечаток общности социальной жизни и изменяется вместе с ее изменением. Суждения вкуса, относящиеся к разным эпохам или к разным обществам, обычно оказываются несовместимыми друг с другом.

Августин рассказывает в своей «Исповеди» об одном происшествии, случившемся с ним еще в детские годы. Вместе с несколькими своими сверстниками он обокрал грушевое дерево соседа, хотя вовсе не был голоден, а у родителей дома были груши лучшего качества. Всю свою жизнь Августин не переставал считать этот поступок проявлением почти невероятной порочности и молил бога простить его: «Вот каково сердце мое. Боже, вот каково сердце мое, над которым ты сжалился и умилился, когда оно было на краю пропасти. Пусть же теперь это самое сердце исповедается перед Тобою, чего оно искало в том, чтобы быть мне злым без всякого основания и чтобы злобе моей не было иной причины, кроме самого зла. Ужасно и отвратительно зло, и однако же я его возлюбил, я сам возлюбил свою погибель. Я возлюбил свои недостатки, свои слабости, свое падение; не предмет своих увлечений, пристрастий, падений, говорю я, нет, а самые слабости свои, самое падение, самый грех, во мне живущий, возлюбил я. Нечиста же душа моя и греховна, ниспала она с тверди Твоей небесной в эту юдоль изгнания, если услаждается не столько греховными предметами, сколько самим грехом»<sup>2</sup>. О грушах, сбитых с дерева в детстве, Августин рассуждает на протяжении семи глав, глубоко и искренне скорбя по поводу своего проступка. «Современный ум усмотрит в этом проявление болезненной впечатлительности, — замечает Б. Рассел, — но во времена самого Августина это почиталось праведным и признаком святости»<sup>3</sup>. В эпоху Августина чувство греха, в особенности индивидуального греха, было необычайно сильным, так что его сетования по поводу сбитых груш не казались его современникам нарочитыми и затянутыми.

<sup>1</sup>Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — С. 83.

<sup>2</sup>Творения блаженного Августина епископа Иппонийского. — Киев, 1901. — Ч. 1. — С. 36.

<sup>3</sup>Рассел Б. История западной философии. — М., 1993. — Т. 1. — С. 361.

<b>Глава 5. Аргументация и ценности</b> .....	150
1. Ценности и эпистемология .....	—
2. Описание и оценка .....	156
3. Многообразие оценок .....	163
4. Квазиэмпирическое обоснование оценок .....	172
5. Теоретическое обоснование оценок.....	189
6. Контекстуальные аргументы .....	199
7. Принципы морали .....	211

## Глава 5

# АРГУМЕНТАЦИЯ И ЦЕННОСТИ

### 1. Ценности и эпистемология

Существенным недостатком современной теории аргументации является то, что в ней почти не уделяется внимания ценностям. По старой, ошибочной традиции оценки истолковываются как частный случай описаний, не представляющий самостоятельного интереса. Способы аргументации, применяемые в случае описаний, считаются автоматически приложимыми и к оценкам. Своеобразие аргументации в поддержку ценностей остается пока совершенно не исследованным<sup>1</sup>.

Оставляя в стороне ценности, теория аргументации повторяет ошибку эпистемологии, интерес которой к ценностям был до недавнего времени минимальным.

Проведение ясного различия между описаниями и оценками — необходимая предпосылка правильной трактовки ценностей в теории аргументации. Убедить аудиторию в приемлемости какого-то описательного утверждения значит прежде всего продемонстрировать ей истинность или по крайней мере высокую правдоподобность этого утверждения. Совершенно иначе обстоит дело с оценочными утверждениями. Они не являются ни истинными, ни ложными и пытаться по аналогии с описаниями продемонстрировать аудитории истинность оценочного утверждения, значит потратить силы впустую.

Лучший способ убеждения — *абсолютное* или *сравнительное обоснование*. Однако между обоснованием описательных утверждений и обоснованием оценочных утверждений имеется существенная асимметрия. Оценочные утверждения не допускают *прямого* и *косвенного эмпирического подтверждения*: в строгом смысле оценки не поддерживаются ни непосредственным наблюдением (приведением фактов), ни подтверждением в опыте

---

<sup>1</sup>См. об этом: *Perelman Ch. Logika prawnicza. Nowa retoryka.* — Warszawa, 1984. Rozdział «Nowa retoryka i wartości».

их логических следствий. Оценочные утверждения не могут обосновываться и построением *объяснений*, поскольку посылки последних всегда являются описательными утверждениями. Применительно к оценкам бессмысленно говорить о *фальсификации*, неуспех которой мог бы истолковываться как свидетельство их обоснованности. Не могут быть поставлены и вопросы о принципиальной возможности эмпирического подтверждения и эмпирического опровержения оценок. И наконец, оценки нельзя обосновывать путем *дедукции* их из истинных описаний: они вообще не выводимы логически из описаний.

С другой стороны, есть способы обоснования оценочных утверждений, не приложимые к описаниям. Прежде всего, это *целевое подтверждение*, являющееся параллелью косвенного эмпирического подтверждения описательных утверждений. Оценки могут быть составными элементами актов *понимания*, параллельных актам объяснения. Адекватное понимание сложного явления — одно из важных средств утверждения той общей оценки, которая используется в акте понимания. И наконец, оценка может быть обоснована путем *дедукции* ее из других оценок, что невозможно для описаний. Описательные заключения вообще не выводимы из оценочных посылок.

Коротко говоря, *описательные утверждения обосновываются принципиально иначе, чем оценочные утверждения, и, соответственно, аргументация в поддержку описаний должна быть другой, нежели аргументация в поддержку оценок.*

Возвращаясь к первой главе, можно сказать, что и описательные, и оценочные утверждения должны иметь «достаточные основания». Эти основания обеспечиваются процедурами абсолютного и сравнительного обоснования (обоснования и рационализации). Характер обоснования, а значит и характер опирающейся на него аргументации, зависит от того, к какому из употреблений языка относится обосновываемое положение. Процедура обоснования радикально меняется в зависимости от того, идет ли речь об обосновании описательных утверждений или же об обосновании оценок.

Понятие *ценности* является столь же важным для эпистемологии и методологии науки, как и понятие *истины*. Эпистемология Нового времени сделала осью всех своих рассуждений о знании истину, ценностная сторона процессов познания ушла в глубокую тень. Естественные науки оказались оторванными от гуманитарных, теоретическое освоение мира — от практического, предметного его преобразования. По-

знание утратило характер деятельности и превратилось в пассивное созерцание.

Современная эпистемология — и в последние десятилетия это особенно заметно — все более фокусирует свое внимание на деятельностных, и тем самым ценностных аспектах научного познания. Становится все более очевидным, что, вопреки старому убеждению, знание не сводимо к истине и включает также ценности. Знать — значит иметь представление не только о том, что *есть*, но и о том, что *должно быть*.

Понятие ценности стало вторгаться в философские рассуждения с середины прошлого века. Было бы неточным связывать становление проблемы ценностей с каким-то одним философским направлением, скажем с неокантианством или философией жизни. Эта проблема складывалась в широком контексте философского анализа человеческой деятельности.

Ценности — неотъемлемый элемент всякой деятельности, в каких бы формах она ни протекала. Научное познание как особый вид деятельности также насквозь пронизано ценностями и без них немыслимо. В эпистемологию ценности входили однако не без трудностей. Во многом это было связано с распространенностью неопозитивистского в своей основе тезиса, что наука не должна содержать ценностей.

В начале XX века М. Вебер выдвинул требование свободы социологической и экономической науки от ценностей. Обоснование его внешне было простым. Единственным критерием познания должна быть истина. Ценности вводятся в науку исследователем. Выражая его субъективные пристрастия и установки, они искажают научную картину мира. Ученый должен поэтому четко осознавать ценности и нормы, приносимые им в процесс познания, и очищать от них окончательный результат<sup>1</sup>.

Тезис *свободы от ценностей* получил широкий резонанс, особенно среди сторонников неопозитивизма. «Ценностные суждения, — писал Р. Карнап, — являются не более, чем приказами, принимающими грамматическую форму, вводящую нас в заблуждение... Они не являются ни истинными, ни ложными. Они ничего не утверждают, и их невозможно ни доказать, ни опровергнуть»<sup>2</sup>. Как таковые, ценностные суждения не имеют,

<sup>1</sup>См.: Weber M. Der Sinn der «Wertfreiheit» der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften // Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaften. — Tübingen. — 1951. — S. 475—526.

<sup>2</sup>Carap R. Philosophy and Logical Syntax. — L., 1935. — P. 24—25.



конечно, никакого отношения к научному познанию. Наука вправе говорить о том, что есть, но не о том, что должно быть, и не о том, чему лучше быть. Она не может содержать ценностей и оценок. «Существует познание, — говорил М.Шлик, — и ничего, кроме познания, его цель — только истина»<sup>1</sup>.

Неопозитивистская идея о том, что включение оценочных элементов в науку является отступлением от идеала чистой науки, продолжает жить даже в условиях нынешнего упадка неопозитивизма.

Вместе с тем имеются многочисленные попытки как-то ослабить жесткий отказ от ценностей в научном познании и оправдать их правомерность если не во всех науках, то хотя бы в социальном познании. В частности, Г.Мюрдалем был выдвинут известный постулат о допустимости в науках об обществе явных оценок: ученый вправе делать оценки, но он должен ясно отделять их от фактических утверждений. «Для устранения пристрастности в науках об обществе, — писал Мюрдаль, — нельзя предложить ничего, кроме совета открыто признавать факт оценивания и вводить явно сформулированные оценки в качестве специфических и надлежащим образом уточненных оценочных посылок»<sup>2</sup>. И в другом месте: «Мы можем сделать наше мышление строго рациональным, но только путем выявления оценок, а не с помощью уклонения от них»<sup>3</sup>. Этот постулат нередко представляется как «оптимальная» позиция, не зависящая от исхода спора о роли ценностей и оценок в науке<sup>4</sup>.

Очевидно, однако, что это и подобные ему «ослабления» неопозитивистской доктрины ничего не меняют в ее существовании. Несомненна также утопичность постулата Мюрдаля. Ни одна реально существующая научная теория, включая и науки об обществе, не строится так, чтобы утверждения оценочного или описательно-оценочного характера отделялись в ней сколь-нибудь ясно от чисто описательных утверждений.

С точки зрения неопозитивизма, научное познание беспредпосылочно, полностью сводимо к непосредственному опыту и не зависит ни от «дурной метафизики», ни от социокультурного контекста, в котором существует. Научная теория берется

<sup>1</sup>*Schlik M. Fragen der Ethik.*—Wien, 1930. — S. 1.

<sup>2</sup>*Murdal G. An American Dilemma. Appendix II: A Methodological Note on Facts and Valuation.* — N.Y. — L., 1944. — P. 1043.

<sup>3</sup>*Ibid.* — P. 1064.

<sup>4</sup>См.: *Ossowska M. Rola ocen w kształtowaniu pojęć // Fragmenty filozoficzne: Seria trzecia.* — Warszawa, 1967.

только в статике, анализ ее возникновения и развития выносятся за рамки методологии. Отбрасывается иерархизация теоретических утверждений, факты считаются независимыми от теории и в совокупности составляющими тот безусловный фундамент, к которому должны сводиться теоретические положения. Это особенности неопозитивистской методологии фатальным образом сказались на трактовке ею ценностного измерения познания.

С кризисом неопозитивизма заметно активизировалась критика требования исключать ценности из науки. Хотя само слово «ценность» употребляется в эпистемологии относительно редко, тема ценностей, входящая с разнообразными иными понятиями, является сейчас центром большинства методологических дискуссий.

Критика неопозитивизма в рамках так называемой «исторической» школы в методологии науки во многом изменила отношение к ценностям. Были подняты вопросы о ценностях, входящих в контекст, в котором существует и развивается научная теория, о ценностных компонентах тех образцов, которыми руководствуются в науке, и т.д.

*Парадигма* Т.Куна как образец научной деятельности в определенной области представляет собой не только описание прежней практики теоретизирования, но и критерий оценки новой практики<sup>1</sup>. Конвенционально принятое, а потому «неопровержимое» *жесткое ядро исследовательской программы* И.Лакатоса, противостоящее как «позитивной эвристике», так и аномальным фактам, тоже носит двойственный, описательно-оценочный характер<sup>2</sup>. *Романтическая эпистемология* П.Фейерабенда с ее максимой «Все допустимо» является, по сути дела, попыткой резко расширить круг тех ценностей, которыми принято руководствоваться в формирующейся теории. «Историческая школа» в методологии науки порвала с неопозитивистской традицией не замечать ценностей в научном познании, и в особенности в естественных науках.

Однако и в «исторической школе» отсутствует общая схема подхода к исследованию ценностей, нет ясного определения самого понятия ценности, нет анализа связи ценности и истины. Сами ценности истолковываются по преимуществу субъек-

<sup>1</sup>См.: Кун Т. Структура научных революций. Гл. V, Приложение 1969 г.

<sup>2</sup>Lakatos I. History of Science and Its Rational Reconstructions // Boston Studies in the Philosophy of Science. — Dordrecht, 1970.

тивно-психологически, как намерения, цели, установки и т.п. отдельного индивида или узкой, изолированной группы. Но как раз индивидуальные, частные ценности наименее интересны и важны, даже если иметь в виду самого индивида. Ценности в научном познании носят, как правило, коллективный, групповой характер, начиная с ценностей определенного научного сообщества и кончая ценностями культуры в целом, существующими и действующими века и остающимися в большей своей части неосознанными.

Л. Витгенштейн, чувствуя недостаточность понятия объяснения, ввел наряду с ним также понятие *оправдания*<sup>1</sup>. Утверждение считается оправданным, если оно не может быть отброшено без того, чтобы не были затронуты другие утверждения, которые «крепко удерживаются» нами и сами не подвергаются оправданию. Оправдание возможно только внутри определенной «практики познания». Оно связано с иерархическим характером принятой системы утверждений; в нем участвуют утверждения двух разных уровней, причем оправдываемое утверждение относится к более низкому уровню: оправдание, как и объяснение, является приведением доводов, из которых следует оправдываемое утверждение.

В сущности, «оправдание» Витгенштейна является установлением ценностного отношения между утверждениями некоторой теории, или «познавательной практики». Эти утверждения иерархически упорядочены. Те из них, за которые мы «крепко держимся» и не считаем нужным особо оправдывать, — это стандарты оценки. Подводимое под них утверждение является меньшей ценностью и должно относиться поэтому к более низкому уровню в иерархии. С логической стороны оправдание есть дедукция, выведение ценности более низкого уровня из ценности более высокого уровня.

Трактовка *понимания* в философской герменевтике с самого начала содержала в зародыше идею, что понимание неразрывно связано с ценностями. Уже В. Дильтей говорил о «принципе нераздельности понимания и оценки»<sup>2</sup>, хотя, впрочем, ключевое положение, что понимание — это подведение под ценность, так и не было сформулировано герменевтикой с необходимой общностью и ясностью.

<sup>1</sup>Wittgenstein L. On Certainty. — Oxford, 1969.

<sup>2</sup>См.: Dilthey W. Gesammelte Schriften. — Leipzig, 1924. — Bd. V. — S. 317.

В феноменологии *жизненный мир* является в конечном счете ценностной основой всех «объективных» действий, всех идеальных образований и построений науки<sup>1</sup>.

Уже этот беглый перечень понятий, имеющих отчетливо выраженную *описательно-оценочную природу*, показывает важность общей темы ценностей для современной эпистемологии. И вместе с тем из самого перечисления крайне разнородных понятий, схватывающих лишь отдельные аспекты этой темы, ясно, что это только начало движения по пути отказа от идеала науки, чистой от каких бы то ни было ценностей.

Без ценностей нет социальных наук, которые, подобно этике, политической экономии, теории права и т.д., ставят своей непосредственной задачей обоснование и утверждение определенных ценностей. Без ценностей нет естественных наук: понимание природы является оценкой ее явлений с точки зрения того, что должно в ней происходить, то есть с позиций устоявшихся, опирающихся на прошлый опыт представлений о «нормальном», или «естественном», ходе вещей. Без ценностей нет, наконец, логико-математического знания, прескриптивная интерпретация которого является даже более обычной, чем его дескриптивная интерпретация.

Поворот эпистемологии к исследованию ценностей и их роли в познании должен сказаться и на теории аргументации. Одной из основных тем последней должен стать анализ тех многообразных способов аргументации, которые применяются для поддержки ценностей.

## 2. Описание и оценка

Выделение функций языка зависит от тех целей, для которых используется противопоставление языковых выражений. В разных случаях могут выделяться и противопоставляться разные функции. С точки зрения логики и эпистемологии важным является проведение различия между двумя ведущими функциями языка: *описательной* и *оценочной*. Все другие употребле-

---

<sup>1</sup>Любое конкретное действие сознания, направленное на освоение действительности, всегда исходит, по мысли Э.Гуссерля, из «глухой скрытой атмосферы основополагающих ценностей, из того жизненного горизонта, в котором Я по своему желанию может реактивировать свои старые переживания, осознанно достичь апперцептивного прояснения и превратить их тем самым в созерцание» (*Husserle E. Husserliana. Den Haag, 1950—1975. — В. 5. — S. 152*).

ния языка, если отвлечься от психологических и иных, несущественных с логической и эпистемологической точки зрения обстоятельств, сводятся либо к описаниям, либо к оценкам.

Описание и оценка являются, таким образом, двумя полюсами, к которым тяготеют все другие употребления языка. Анализ последних интересен сам по себе, он может оказываться полезным во многих областях. Но он движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок.

За оппозицией «описание — оценка» стоит в конечном счете оппозиция «истина — ценность», и первая не может быть понята без прояснения второй.

Большинство рассуждений о ценностях, в том числе и о ценностях в науке, имеет существенный недостаток. Обычно упускается из виду, что категория ценности столь же **у н и в е р с а л ь н а**, как и категория истины.

Всякая человеческая деятельность неразрывно связана с постановкой целей, следованием нормам и правилам, систематизацией и иерархизацией рассматриваемых и преобразуемых объектов, подведением их под образцы или стандарты, отделением важного и фундаментального от менее существенного и второстепенного и т.д. Все эти понятия — «цель», «норма», «правило», «система», «иерархия», «образец», «стандарт», «фундаментальное», «второстепенное» и т.п. — являются оценочными или несут важное оценочное содержание.

**Ц е н н о с т и** — неотъемлемый элемент всякой деятельности, а значит и всей человеческой жизни, в каких бы формах она ни протекала. Аргументация как особый случай деятельности также насквозь пронизана ценностями и без них невысказима.

Вопрос о соотношении истины и ценности — один из аспектов более общей проблемы взаимосвязи теории и практики, созерцания и действия.

Существуют десятки определений понятия ценности. Они различаются деталями, но суть большинства из них одна: ценностью объявляется предмет некоторого интереса, желания, стремления и т.п., или, короче, объект, значимый для человека или группы лиц. На всех этих определениях сказывается обычное убеждение, что истина — это свойство мыслей, правильно отображающих реальность, а ценность — свойство самих вещей, отвечающих каким-то целям, намерениям, планам и т.п.

Однако ценность, как и истина, является не **с в о й с т в о м**, а **о т н о ш е н и е м** между мыслью и действительностью.

Утверждение и его объект могут находиться между собой в двух противоположных отношениях: *истинностном* и *ценностном*. В первом случае отправным пунктом сопоставления является объект, утверждение выступает как его описание и характеризуется с точки зрения истинностных понятий. Во втором случае исходным является *утверждение*, функционирующее как *оценка*, стандарт, план. Соответствие ему объекта характеризуется в оценочных понятиях. *Позитивно ценным является объект, соответствующий высказанному о нем утверждению, отвечающий предъявляемым к нему требованиям.*

Понимание истины как соответствия утверждений описываемым ими ситуациям — это так называемое «классическое» ее определение. Определение ценности как соответствия самих объектов утверждениям о них также восходит к античности и с таким же правом может быть названо классическим. Однако это определение с момента своего возникновения обычно выдавалось за простую перефразировку определения истины, раскрывающую некий, якобы более глубокий и полный ее смысл.

Платоновский Сократ считал соответствие того, что познается, своему понятию, особым критерием истины, а не определением ценности<sup>1</sup>. Разумеется, никаких двух видов истины нет. Вещь, соответствующая своей идее, представляет собой такую вещь, какой она должна быть, т.е. попросту говоря, хорошую вещь.

У И.Канта неоднократно встречается мысль, что истина двойственна: она означает соответствие мысли тому предмету, которого она касается, и вместе с тем соответствие самого предмета той мысли, которая высказана о нем<sup>2</sup>.

Подмена истинностного отношения ценностным и истины добром лежит в основе всей философской концепции Г.Гегеля. «Обыкновенно, — пишет Гегель, — мы называем истиной согласие предмета с нашим представлением. Мы имеем при этом в качестве предпосылки предмет, которому должно соответствовать наше представление о нем. В философском смысле, напротив, истина в своем абстрактном выражении вообще означает согласие некоторого содержания с самим собой. Это, следовательно, совершенно другое значение истины, чем вышеупомянутое»<sup>3</sup>. Гегель полагал, что более глубокое (философское) значение истины «встречается отчасти также и в обычном словоупотреблении; мы говорим, например, об истинном друге и понимаем под этим такого друга, способ действия которого соответствует понятию дружбы; точно так же мы говорим об истинном произведении искусства. Неистинное означает в этих выражениях дурное, не соответствующее самому себе. В этом смысле плохое государство есть неистинное государство, и плохое и неистинное вообще состоит в противоречии между определением или понятием и существованием предмета»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup>См.: Платон. Федон 100.

<sup>2</sup>См.: Философия Канта и современность. — М., 1973. — С. 151.

<sup>3</sup>Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. — Т. 1. — М., 1974. — С. 126.

<sup>4</sup>Там же.

Мысль Гегеля ясна, но ошибочна. Имеются два понятия истины. Истину как соответствие представления своему предмету Гегель именуется «правильностью» и противопоставляет другому, якобы более глубокому, пониманию истины как соответствия предмета своему понятию. Однако это второе определение, фиксирующее «согласие некоторого содержания с самим собой», говорит о том, какими должны быть вещи, и является на самом деле определением не истины, а позитивной ценности, или добра. В подтверждение явной подмены истины добром, или «должным», Гегель ссылается на обычное словоупотребление, на случаи, когда мы говорим об «истинных друзьях», «истинных произведениях искусства» и т.п. Действительно, слово «истинный» иногда используется не в своем обычном смысле, а означает «настоящий, подлинный, очень хороший», короче — «такой, каким и должен быть по своему понятию». Но эта особенность обычного языка (многозначность слова «истинный») говорит только о том, что в обычной жизни истинностный и ценностный подходы тесно переплетены, что, конечно же, не означает подмены истины добром, а добра — истиной.

Выделение двух видов истины — это не некая типичная особенность «глубокого» философского мышления, на что намекает Гегель, а ставшая уже традиционной путаница между истиной и добром.

Ценность, как и истина, не существует вне связи мысли и действительности.

К примеру, сопоставляются строящийся город и его план. Если за исходное принимается сам город, то несоответствие плана городу должно характеризоваться как ложность плана, а соответствие — как его истинность. Если же за исходное принимается план, то город рассматривается как его реализация и расхождение между планом и городом оценивается как недостаток города, а соответствие его плану — как его достоинство. План, соответствующий городу, является истинным; город, отвечающий плану, является хорошим, т.е. таким, каким он должен быть.

Еще один пример возможности двух разных направлений соответствия между словами и миром принадлежит Г.Энском<sup>1</sup>. Предположим, что некий покупатель наполняет в супермаркете свою тележку, ориентируясь на имеющийся у него список. Другой человек, наблюдающий за ним, составляет список отобранных им предметов. При выходе из магазина в руках у покупателя и его наблюдателя могут оказаться два одинаковых списка, имеющих совершенно разные функции. Цель списка покупателя в том, чтобы, так сказать, приспособить мир к словам; цель списка наблюдателя — привести слова в согласие с действительностью. Для покупателя отправным пунктом служит список; мир, преобразованный в соответствии с последним, будет позитивно ценным (хорошим). Для наблюдателя исходным является мир; список, соответствующий ему,

<sup>1</sup>См.: *Anscombe G.E.M. Intention. Oxford, 1957. — Ch. 1.*

будет истинным. Если покупатель допускает ошибку, для ее исправления он предпринимает предметные действия, видоизменяя плохой, не отвечающий списку мир. Если ошибается наблюдатель, он вносит изменения в ложный, не согласующийся с миром список.

Цель описания — сделать так, чтобы слова соответствовали миру, цель оценки — сделать так, чтобы мир отвечал словам. Это — две диаметрально противоположные функции. Очевидно, что они несводимы друг к другу. Нет оснований также считать, что описательная функция языка является первичной или более фундаментальной, чем его оценочная функция.

Иногда противопоставление описаний и оценок воспринимается как неоправданное упрощение сложной картины употреблений языка. В частности, Дж.Остин пишет, что «наряду со многими другими дихотомиями надо отменить и привычное противопоставление “нормативного или оценочного фактическому”»<sup>1</sup>. Дж.Серль также говорит о необходимости разработки «более серьезной таксономии, чем любая из тех, что опираются на весьма поспешные обобщения в терминах таких категорий как “оценочный” / “описательный” или “когнитивный” / “эмотивный”»<sup>2</sup>.

Сам Остин выделяет пять основных классов речевых актов: вердикты, или приговоры; осуществление власти, голосование и т.п.; обещания и т.п.; этикетные высказывания (извинение, поздравление, похвала и т.п.); указание места высказывания в процессе общения («Я отвечаю», «Я постулирую» и т.п.)<sup>3</sup>. Однако все эти случаи употребления языка представляют собой только разновидности оценок, в частности оценок с предполагаемыми санкциями, т.е. норм.

Д.Серль говорит о следующих пяти различных действиях, которые мы производим с помощью языка: сообщение о положении вещей; попытка заставить сделать; выражение чувств; изменение мира словом (отлучение, осуждение и т.п.); взятие обязательства сделать<sup>4</sup>. Однако здесь опять-таки первый и третий случаи — это описания, а остальные — разновидности оценок (приказов).

Описание и оценка являются двумя точками тяготения всех других употреблений языка. Между «чистыми» описаниями и «чистыми» оценками существует масса переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки имеются многие разновидности и описаний, и оценок. «Чистые» описания и «чистые» оценки до-

<sup>1</sup> Остин Дж.Л. Слово как действие. — С. 117.

<sup>2</sup> Серль Дж.Р. Что такое речевой акт? — С. 169.

<sup>3</sup> См.: Остин Дж.Л. Слово как действие.

<sup>4</sup> См.: Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов.



вольно редки, большинство языковых выражений носит двойственный, или «смешанный», описательно-оценочный характер. Все это должно, разумеется, учитываться при изучении множества способов употребления языка. Но нужно учитывать и то, что всякий более тонкий анализ употреблений языка движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок и является всего лишь его детализацией.

Истинностный и ценностный подходы к вещам не тождественны друг другу. Они имеют противоположную направленность и уже поэтому не могут совпадать. В случае истинностного подхода движение направлено от действительности к мысли. В качестве исходной выступает действительность, и задача заключается в том, чтобы дать адекватное ее описание. При ценностном подходе движение осуществляется от мысли к действительности. Исходной является оценка существующего положения вещей, и речь идет о том, чтобы преобразовать его в соответствии с этой оценкой или представить в абстракции такое преобразование.

Истинностный и ценностный подходы взаимно дополняют друг друга. Ни один из них не может быть сведен к другому или замещен им. История теоретического мышления показывает, однако, что попытки такого сведения были в прошлом обычным делом. Более того, редукция истинностного подхода к ценностному, или наоборот, едва ли не всегда рассматривалась как необходимое условие правильного теоретизирования.

В средневековом теоретизировании, двигавшемся по преимуществу от теоретического мира к реальному, явно преобладал ценностный подход. Здесь были все его атрибуты: рассуждения от понятий к вещам, дедукции из «сущностей», разговоры о «способностях» исследуемых объектов, введение явных и скрытых целевых причин, иерархизация изучаемых явлений и утверждений по степени их фундаментальности и т.п.

В теоретическом мышлении Нового времени в первый период безраздельно господствовал истинностный подход. Казалось очевидным, что ценностей нет и не может быть в естественных науках; ставилась задача очистить от них и гуманитарные науки, перестроив их по образцу естественных. В этот период сложилось представление о «чистой объективности» научного знания, об «обезличенности», бессубъектности науки. Все проблемы рассматривались только в аспекте истинности-неистинности.

Однако, начиная с Лейбница, ценности допускаются сперва в метафизику, а затем и в гуманитарное знание. У Лейбница

сущее (монада) определяется не только перцепцией, но и стремлением, влечением и охватывает в своем воспринимающем представлении совокупность мирового сущего. Лейбниц говорит даже о «точке зрения», присущей этому стремлению<sup>1</sup>.

У Канта и Гегеля общее понятие ценности отсутствовало. В качестве параллели сущему оно было введено в 60-е годы XIX в. Г.Лотце и Г.Когеном. Истолкование сущего по преимуществу в свете ценностей привело в конце XIX в. к появлению «философии ценностей» — направления неокантианства, связанного с именами В.Виндельбанда и Г.Риккерта.

Ф.Ницше представил всю историю западноевропейской философии как полагание ценностей. Он видел источник ценностей в «перспективности сущего»<sup>2</sup>. Ценности полагаются человеком «из практических соображений, из соображений пользы и перспективы» и являются «пунктуациями воли», размеряющей и размечающей пути своего возрастания<sup>3</sup>. Ценность есть в конечном счете просто то, что признается волей значимым для себя. Воля к власти и полагание ценностей представляют собой, по мысли Ницше, одно и то же. Наука, истина, культура оказываются в итоге только частными ценностями: они являются лишь условиями, в которых осуществляется порядок всеобщего становления — единственной подлинной реальности. И лишь само по себе становление не имеет ценности.

К концу XIX в. в западноевропейской философии сложился, таким образом, ясно выраженный дуализм истинностного и ценностного подходов к действительности. В методологии естественных наук человек, как правило, низводился до роли пассивного, созерцательного субъекта. В «философии истории», герменевтике В.Дильтея и особенно в философии «воли к власти» Ф.Ницше он оказался творцом не только истории и культуры, но и самой реальности<sup>4</sup>.

Во многом этот дуализм — противопоставление истины и ценности, созерцания и действия, теории и практики, естественных и гуманитарных наук — сохраняется в философии и в

<sup>1</sup>См.: Лейбниц Г.В. Соч.: В 4 т. — Т. 1. — М., 1982. — С. 301—302, 404.

<sup>2</sup>См.: Nietzsche F. Werke. — Leipzig, 1894—1912. — Bd. 15. — § 12.

<sup>3</sup>Ibid. — Bd. 16. — § 715.

<sup>4</sup>«Физики, — писал Ницше, — сами того не зная, кое-что в своей системе опустили: именно необходимый перспективизм, благодаря которому всякий центр силы — и не только человек — из себя конституирует весь остальной мир, то есть мерит, осязает, формирует его мерой своей силы... Они позабыли включить в истинное бытие эту полагающую перспективу силу, или, говоря школьным языком, бытие в качестве субъекта» (Ibid. — Bd. 15. — § 306).

наше время. Это — вчерашний день, продолжение той традиции, которая была характерна для теоретического мышления предшествующей эпохи<sup>1</sup>.

### 3. Многообразие оценок

Всякий раз, когда объект сопоставляется с мыслью на предмет соответствия ей, возникает ценностное отношение. Далеко не всегда оно осознается, еще реже оно находит выражение в особом высказывании.

Формы явного и неявного вхождения оценок в наши рассуждения, и в частности в научные теории, многочисленны и разнородны.

Способы выражения оценок в языке разнообразны. *Абсолютные оценки* выражаются чаще всего предложениями с оценочными словами «хорошо», «плохо» и «(оценочно) безразлично». Вместо них могут использоваться слова: «позитивно ценно», «негативно ценно», «добро», «зло», «благо» и т.п. *Сравнительные оценки*, называемые также *предпочтениями*, формулируются в предложениях с оценочными словами: «лучше», «хуже», «равноценно», «предпочитается» и т.п. В языке для правильного понимания оценок важную роль играет контекст, в котором они формулируются. Можно выделять о б ы ч н ы е, или стандартные, формулировки оценочного утверждения, но в принципе предложение едва ли не любой грамматической формы способно в соответствующем контексте выражать оценку. Выделить оценочные утверждения среди других видов утверждений, опираясь только на грамматические основания, невозможно.

Оценочное отношение мысли к действительности нередко выражается не с помощью особых оценочных понятий, а утверждениями с явным или подразумеваемым «должен» (или «должно быть»): «Ученый должен быть критичным», «Электрон на стационарной орбите не должен излучать» и т.п.

Оценка включает следующие части, или компоненты:

— *субъект оценки* — лицо (или группа лиц), приписывающее ценность некоторому объекту;

---

<sup>1</sup>«Дух и культура как целенаправленные и культивируемые типы человеческой деятельности, — пишет М.Хайдеггер, — существуют лишь начиная с Нового времени, а «ценности» как установленные масштабы такой деятельности — только с новейшего времени» (*Heidegger M. Der europaische Nihilismus. — Pfulingen, 1967. — S. 25*).

— *предмет оценки* — объект, которому приписывается ценность, или объекты, ценности которых сопоставляются;

— *характер оценки* — указание на абсолютность или сравнительность, а также на квалификацию, даваемую оцениваемому объекту;

— *основание оценки* — явление или предмет, с точки зрения которого производится оценивание.

Не все эти части находят явное выражение в оценочном утверждении. Однако без любой из них нет оценки и, значит, нет фиксирующего ее оценочного утверждения.

Описательное (дескриптивное) утверждение предполагает следующие четыре части:

— *субъект* — отдельное лицо или сообщество, дающее описание;

— *предмет* — описываемая ситуация;

— *основание* — точка зрения, в соответствии с которой производится описание;

— *характер* — указание на истинность или ложность предлагаемого описания.

Не все эти части явно выражаются в описательном утверждении. Характер его, как правило, не указывается: оборот «истинно, что» опускается, вместо утверждений с оборотом «ложно, что» используются отрицательные утверждения. Предполагается, что основания всех описательных утверждений тождественны: если оцениваться объекты могут с разных позиций, то описываются они всегда с одной и той же точки зрения. Предполагается также, что, какому бы субъекту ни принадлежало описание, оно остается одним и тем же. отождествление оснований и субъектов описаний составляет основное содержание идеи *интерсубъективности знания*, независимости его употребления и понимания от лиц и обстоятельств. Постулат тождественности субъектов и оснований описаний предписывает исключать упоминание этих двух частей из состава описаний. Вместо того, чтобы говорить, например: «Для каждого человека с любой точки зрения истинно, что Земля вращается вокруг Солнца», мы говорим просто: «Земля вращается вокруг Солнца».

Оценки могут принадлежать разным субъектам, один из которых может оценивать какое-то состояние как «хорошее», а другой — как «безразличное» или «плохое». Оценки «Хорошо, что А», и «Плохо, что А», принадлежащие двум разным субъектам, не противоречат друг другу. Описания же «Истинно, что А» и «Ложно, что А» противоречат друг другу, даже если они принадлежат разным субъектам. Далее, оценки одного и того же объекта, дава-

емые одним и тем же субъектом, могут иметь разные основания. Выражения «Хорошо, что  $A$ , с точки зрения  $C$ » и «Плохо, что  $A$ , с точки зрения  $D$ » не противоречат друг другу, даже если они принадлежат одному и тому же субъекту. Субъекты и основания разных оценок не могут быть отождествлены, оценки не являются интерсубъективными в том же смысле, что и описания.

Между истиной и ценностью имеется асимметрия еще в двух аспектах. Во-первых, установление истинностного отношения мысли и действительности чаще всего особо не отмечается: просто сказать «Трава зеленая» все равно, что сказать «Истинно, что трава зеленая». Установление ценностного отношения всегда требует специальных языковых средств: «Хорошо, что трава зеленая». Во-вторых, слово «истинный» употребляется, как правило, только применительно к утверждениям. Слово «хороший» многофункционально. «Хорошо, что снег бел» — это эллиптическая оценка, говорящая о соответствии белого снега какой-то, не указанной явно идее (оценка с опущенным основанием). «Хороший снег является белым» — в этом утверждении фиксируется одно из свойств, входящих в стандартное представление о том, каким должен быть «настоящий» снег. «Этот снег хороший» — оценка, основанием которой является «образцовое» представление о снеге, и т.п.

Эти различия между истинностным и ценностным употреблением языковых выражений существенно затемняют параллель между истиной и ценностью как двумя характеристиками отношения мысли к миру. Затемняют, но отнюдь не разрушают и не устраняют ее.

Сложность проведения различия между описаниями и оценками во многом связана с тем, что многие выражения языка имеют «смешанный», *описательно-оценочный характер*. Одно и то же выражение, например, аксиома какой-то теории или принцип морали, может в одной ситуации функционировать как описание, в другой — как оценка, и нередко даже с помощью контекста трудно определить, в какой из этих двух противоположных ролей употребляется выражение.

Оценочное утверждение не является ни истинным, ни ложным. Оно стоит, как говорят, «вне категории истины». Истина характеризует отношение между описательным утверждением и действительностью; оценки не являются описаниями. Они могут характеризоваться как целесообразные, эффективные, разумные, обоснованные и т.п., но не как истинные или ложные. Споры по поводу приложимости к оценочным утверждениям

терминов «истинно» и «ложно» во многом связаны с распространенностью двойственных, описательно-оценочных выражений, которые функционируют в одних ситуациях как описания, а в других — как оценки.

Если под оценкой понимается каждый случай подведения объекта под мысль и установления тем самым ценностного отношения, все оценки можно разделить на *явные*, выраженные эксплицитно в языке, и *неявные*, неосознанные или только подразумеваемые.

Стандартная форма явных абсолютных оценок: «Хорошо (плохо, безразлично), что то-то и то-то». Иногда такие оценки выражаются в форме: «Должно быть (не должно быть; безразлично, будет ли) так, что то-то и то-то».

Формы вхождения в рассуждение или теорию неявных оценок гораздо более многообразны.

К выражениям оценочного характера относятся всякого рода *стандарты, образцы, идеалы* и т.п. Очевиден оценочный элемент в *советах, пожеланиях, методологических и иных рекомендациях, предостережениях, просьбах, обещаниях, угрозах* и т.п.

Ценностное отношение мысли к действительности находит свое выражение также в разнообразных *нормах*. Их область крайне гетерогенна и включает *законы государства, правила* всякого рода (правила игры, грамматики, ритуала, исчислений и т.п.), *команды, директивы, технические* (или целевые) *нормы, моральные нормы* и т.д.<sup>1</sup>

Обычно нормы противопоставляются и описаниям, и оценкам. Попытки установить связь оценок и норм редки, причем заранее предполагается, что вопрос об этой связи весьма сложен. Чаще всего утверждается, что оценки как-то лежат в основе норм или каким-то образом влекут нормы. Попытки выявить точный механизм этой связи приводят обычно к громоздким и содержательно неясным конструкциям<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>О многообразии и разнородности норм см.: *Wright G.H. von. Norm and Action. A Logical Inquiry. — London, 1973. — Ch. 1.* Г. фон Вригт выделяет три главных типа норм: *правила* (их прототипом могут служить правила игры; к правилам относятся, по всей вероятности, законы логики и математики); *предписания* (например, законы государства) и *технические нормы*, говорящие о том, что должно быть сделано для достижения определенного результата. Помимо этих трех групп, фон Вригт выделяет также *обычаи, моральные принципы и правила идеала*. Последние группы норм занимают как бы «промежуточное» положение между главными типами норм.

<sup>2</sup>См., например: *Szewczyk J. Zagadnienie zależności wzajemnej ocen i norm // Studia filozoficzne. — 1964. — N 3.*

В действительности эта связь проста. Нормы представляют собой частный случай ценностного отношения между мыслью и действительностью. Как таковые они являются *частным случаем оценок*. Именно тем случаем, который представляется нормативному авторитету настолько важным, что он находит нужным установить определенное наказание за приведение действительности в соответствие с оценкой. *Норма — это социально навязанная и социально закрепленная оценка*. Средством, с помощью которого оценка превращается в норму, является санкция, или наказание, в широком смысле слова.

Формально идею, что нормы — это частный случай оценок, можно реализовать по-разному. В частности, может быть принято определение:

Обязательно  $A =_{\text{дг}} \text{Хорошо, что } A, \text{ и хорошо, что если не-}A, \text{ то наказание}$ .

Этим определением норма, предписывающая какое-то действие, разлагается на две оценки. Одна из них — это позитивная оценка самого действия, другая — позитивная оценка условной связи между воздержанием от данного действия и наказанием<sup>1</sup>.

Наказание многолико и разнородно, начиная с лишения жизни и кончая осуждением историей. Соответственно, и граница области норм не является четкой. В частности, правовые нормы — это жестко закрепленные социальные оценки со строго фиксированной санкцией. Методологические правила — оценки, отказ от реализации которых грозит возникновением каких-то, не оговоренных заранее затруднений в исследовательской деятельности. Правила игры — оценки со своеобразной санкцией: человек, пренебрегающий ими, выбывает из игры («играет в другую игру»). Грамматические нормы — оценки с расплывчатой санкцией, во многом сходной с наказанием за нарушение правил игры, и т.д. Разнообразие возможных видов человеческой деятельности — от преобразования природы и общества до игры в крестики и нолики — лежит в основе разнообразия тех наказаний, которыми сопровождается нарушение норм, и разнородности поля самих норм.

Нормы как оценки, стандартизированные с помощью санкций, являются достаточно узким классом оценок. Нормы касаются человеческих действий или вещей, тесно связанных с деятельностью, в то время как оценки могут относиться к любым объектам. Нормы направлены в будущее, оценки могут касать-

---

<sup>1</sup>См. об этом: *Ивин А.А. Ценности в научном познании // Логика научного познания. Актуальные проблемы. — М., 1987. — С. 242; Ивин А.А. Логико-философское исследование ценностей // Исследования по неклассическим логикам. — М., 1989. — С. 268—270.*

ся как прошлого и настоящего, так и того, что существует вне времени.

Многие выражения имплицитно включают нормативный и, значит, оценочный элемент.

*Вопросы*, имеющие характер требований, просьб или рекомендаций предоставить определенную информацию, неявно содержат оценку.

Существенным является различие между *реальными* и *номинальными определениями*. Первые представляют собой о п и с а н и я. Они претендуют на соответствие действительности и являются истинными или ложными. Вторые — это, в сущности, завуалированные п р е д п и с а н и я. Они требуют употреблять определяемый термин в задаваемом ими значении, не считаясь с особенностями реальной ситуации. Более того, сама эта ситуация в случае необходимости должна быть преобразована так, чтобы не приходилось отступать от предписанного значения. Номинальные определения не имеют истинностного значения<sup>1</sup>. Как предписания номинальные определения являются оценками и представляют собой обычную форму неявного введения ценностных отношений и оценок.

Хорошо известные трудности разграничения реальных и номинальных определений — это только частный случай тех затруднений, с которыми почти всегда связано различие истинностного и ценностного типов сопоставления мысли и действительности. Зачастую языковое выражение в одном контексте звучит как реальное определение, а в другом выполняет функцию номинального. Иногда реальное определение, описывающее какие-то объекты, обретает оттенок требования, как употреблять термин, соотносимый с ними. Номинальное определение может нести отзвук описания. Из психологии восприятия известны графические фигуры, которые при пристальном их рассматривании предстают то выпуклыми, то вогнутыми. Сходным образом одно и то же определение при вдумывании в него может казаться то реальным, то номинальным.

Еще одна форма неявного вхождения оценок — *конвенции* всякого рода. Все они являются предписаниями и находятся в

---

<sup>1</sup>К.Айдукевич определяет реальное определение как однозначную характеристику предмета, а номинальное — как терминологическую конвенцию. Первое является истинным или ложным, второе не имеет истинностного значения (*Ajdukiewicz K. Trzy pojęcia definicji // Język i poznanie. — Warszawa, — 1965. — Т. 2*). Истолкованные таким образом реальные определения являются описаниями, а номинальные определения — предписаниями.



ценностном отношении к миру. Конвенциями могут вводиться новые понятия, но гораздо более важную и интересную роль в научном познании играют конвенции, ограничивающие или расширяющие уже употребляемые в науке понятия, а также конвенции, отождествляющие разные совокупности признаков. Далеко не всегда научная конвенция представляет собой открытое, специально выработанное и одобренное научным сообществом соглашение. Напротив, в большинстве своем конвенции функционируют неявно и не осознаются как таковые теми, кто их использует. Обычно только после научной революции, приводящей к отказу от старой теории или ее ограничению, порождающей новое видение мира, становится ясно, как много не совсем удачных и эффективных условностей и соглашений принималось в старой теории.

«Чистые» конвенции — такая же редкость в науке, как и «чистые» номинальные определения. Гораздо более часты своеобразные дескриптивно-прескриптивные единства — соглашения, содержащие описания с конвенциональными элементами. К примеру, утверждение, что жидкость есть такое состояние вещества, при котором давление передается во все стороны равномерно, в течение какого-то времени признавалось фактической истиной. Универсальная его приложимость ко всем, в том числе к не изученным еще жидкостям, опиралась на конвенцию. В дальнейшем оно превратилось в одно из следствий более глубоких представлений о жидкости и перестало нуждаться в поддержке со стороны.

Ценностное по преимуществу отношение находит выражение также в *аналитических высказываниях*, являющихся необходимым элементом всякой теории. Эти высказывания несут, однако, и определенное дескриптивное содержание. Было бы неправомерно поэтому считать их, как это иногда делается, чистыми соглашениями об употреблении понятий или об их значении.

Говоря о формах, в которых воплощается ценностное отношение, следует отметить, что многие понятия как обычного языка, так и языка науки, имеют явную оценочную окраску. Их иногда называют «хвалебными», круг их широк и не имеет четких границ. В числе таких понятий «наука» как противоположность мистике и иррационализму, «знание» как противоположность слепой вере и откровению, «теория», «система», «труд», «рациональность», «факт» и т.д. Сами понятия «истина» и «ценность» во многих своих употреблениях имеют явный оценоч-

ный оттенок. Введение подобных понятий редко обходится без одновременного привнесения неявных оценок.

Но ценности входят в рассуждение не только с особыми «хвалебными» словами. Любое слово, сопряженное с каким-то устоявшимся стандартом, вводит при своем употреблении неявную оценку. Называя вещь, мы относим ее к определенной категории и тем самым обретаем ее как вещь данной, а не иной категории. В зависимости от названия, от того образца, под который она подводится, вещь может оказаться или хорошей или плохой. Хорошее здание, заметил как-то Спиноза, — это всего лишь плохие развалины. Все, что кажется древним, прекрасно, все, что кажется старым, прекрасным не является (Ж.Жубер). Глупое сочинение становится блестящим и остроумным, если только предположить, что глупость — сознательный прием (Жан-Поль). Называние — это подведение под определенное понятие, под представляемый им образец вещей определенного рода и, значит, оценка. Назвать привычную вещь другим именем значит подвести ее под другой образец и, возможно, иначе ее оценить.

То, что давая вещи название, мы тем самым неявно оцениваем ее, и что вещь, хорошая в свете одного названия, может оказаться посредственной или даже плохой, будучи названной иначе, замечено очень давно. Как раз с этим связана, судя по всему, старая доктрина «выправления имен» Конфуция: все явления и все вещи должны соответствовать тому смыслу, который вложен в их название. По поводу этой своеобразной доктрины можно заметить: вещь, отвечающая своему названию, т.е. стандарту, стоящему за ним, является хорошей, или позитивно ценной; если бы все вещи соответствовали своим названиям и не было возможности называть их иначе, плохих вещей просто не было бы.

Таким образом, не только «хвалебные», но и, казалось бы, оценочно нейтральные слова способны выражать ценностное отношение. Это делает грань между описательной и оценочной функциями языковых выражений особенно зыбкой и неустойчивой. Вне контекста употребления выражения, как правило, невозможно установить, описывает ли оно или оценивает или же пытается делать и то, и другое сразу.

«Чистые» оценки и «чистые» нормы почти не встречаются в теориях, которые не ставят своей специальной задачей их выработку и обоснование. В обычные научные теории оценки входят, как правило, только в виде «смешанных», описательно-оценочных утверждений. Обилие последних в науке создает иногда обманчивое впечатление, что в ней вообще нет «чистых» описаний и что в каждом дескриптивном утверждении имеется элемент оценки.

Очевиден, в частности, отчетливо двойственный, дескриптивно-прескриптивный характер *наиболее общих принципов теории*. Они описывают и объясняют некоторую совокупность фактов. В качестве описаний они должны соответствовать эмпирическому данным и эмпирическим обобщениям. Вместе с тем принципы являются также стандартами оценки как других утверждений теории, так и самих фактов<sup>1</sup>.

Ценностно нагруженными являются не только общие принципы, но в той или иной мере и все законы научных теорий. Научный факт и научную теорию невозможно строго отделить друг от друга. Факты истолковываются в терминах теории, их содержание определяется не только тем, что непосредственно устанавливается ими, но и тем, какое место в теоретической системе они занимают. Теоретическая нагруженность языка наблюдения и выражаемых в нем фактов означает, что и факты не всегда являются ценностно нейтральными.

Сложный, описательно-оценочный характер имеют и так называемые *регулятивные принципы познания*, подобные принципу наблюдаемости, принципу привычности, принципу простоты и т.д. Все они функционируют прежде всего как эвристические указатели, помогающие сформировать и реализовать исследовательскую программу, как предписания, касающиеся конструирования и оценки теоретических систем. Вместе с тем они складываются и конкретизируются в самой практике научного исследования и являются попытками осознать определенные закономерности познания. Ими систематизируется и очищается от случайностей долгий опыт научных исследований, выявляются устойчивые связи между теорией и отображаемой ею реальностью, и уже на этой основе выдвигаются определенные образцы и требования. Сопоставление теории с регулятивными принципами представ-

---

<sup>1</sup>Если роль ценностной составляющей в общих принципах научной теории преувеличивается, они становятся лишь средствами для упорядочения результатов наблюдения и вопрос о соответствии данных принципов действительности оказывается некорректным. Так, Н.Хэнсон сравнивает общие теоретические суждения с рецептами повара. Как рецепт лишь предписывает, что надо делать с имеющимися в наличии продуктами, так и теоретическое суждение следует рассматривать скорее как указание, которое дает возможность осуществлять те или иные операции с некоторым классом объектов наблюдения. «Рецепты и теории, — заключает Хэнсон, — сами по себе не могут быть ни истинными, ни ложными. Но с помощью теории я могу сказать нечто большее о том, что я наблюдаю» (*Hanson N.R. Perception and Discovery. — San Francisco, 1969. — P. 308*).

ляют собой подведение задаваемой ею «теоретической действительности» под некоторый стандарт или шаблон, то есть является установлением ценностного отношения.

Если не только общие принципы теории, но и все ее законы и даже факты являются ценностно нагруженными, то ясно, что ценности неизбежны в структуре всех теорий, как гуманитарных, так и естественнонаучных. И поскольку ценности входят в теорию, как правило, не в виде явных оценок, а в форме дескриптивно-прескриптивных утверждений, невыполнимо не только требование устранять ценности из науки, но и более слабое требование — отделять содержащиеся в теории оценки от чисто описательных утверждений.

#### 4. Квазиэмпирическое обоснование оценок

*Способы аргументации* делятся на *универсальные*, применимые во всякой аудитории, и *контекстуальные*, применимые лишь в некоторых аудиториях. Универсальная аргументация подразделяется далее на *эмпирическую*, включающую так или иначе ссылку на то, что дано в опыте, и *теоретическую*, опирающуюся главным образом на рассуждение.

Эта классификация лежала в основе анализа аргументации в поддержку *описательных* утверждений. По такой же схеме будут рассматриваться способы аргументации в поддержку *оценок*. Однако строгая параллель между обоснованием описаний и оценок нарушается в одном важном пункте: *эмпирическое обоснование не применимо в области оценок*. Оценочные утверждения, в отличие от описательных, не могут поддерживаться ссылками на то, что дано в непосредственном опыте. Вместе с тем имеются такие способы обоснования оценок, которые в определенном смысле аналогичны способам обоснования описаний и которые можно назвать поэтому *квазиэмпирическими*.

К квазиэмпирическим способам обоснования оценок относятся различные индуктивные рассуждения, среди посылок которых имеются оценки и заключение которых также является оценкой. Это неполная индукция, аналогия, ссылка на образцы, целевое подтверждение, истолкование акта понимания как индуктивного свидетельства в пользу его посылок и др.

Ценности не даны человеку в опыте. Они говорят не о том, что *есть* в мире, а о том, что *должно* в нем быть, и их нельзя увидеть, услышать, и т.п.

Допустим, мы встретились с инопланетянином. Мы видим, что он маленький, зеленоватый, на ощупь гладкий, слышим, что он издает дребезжащие звуки и т.д. Но мы не способны увидеть или услышать, что он должен любить своих близких, почтительно относиться к старшим по возрасту, любить свою планету или какую-то ее часть и т.п. Мы можем анализировать сказанное и сделанное им и путем рассуждения установить ценности, которыми он руководствуется, но нам не удастся непосредственно воспринять эти ценности.

Философы много раз предпринимали попытки опровергнуть идею, что ценности не познаются непосредственно. Чаще всего указывались два источника непосредственного знания ценностей: (1) чувство удовольствия и страдания, моральное чувство или моральная интуиция и (2) «практический разум». Первый источник должен был служить аналогом восприятия в эпистемологии эмпирического познания, второй — аналогом «чистого разума» или «интеллектуальной интуиции». Об особом моральном чувстве и отдельном практическом разуме трудно говорить всерьез. Что касается моральной интуиции, то она существует, но ничем особым не отличается от интуиции в других областях познания.

Поскольку ценности не даны в опыте, процесс приобретения знания о них принципиально отличается от процесса приобретения знания о фактах. Знание о ценностях не может быть эмпирическим, процедуры его получения могут лишь внешне походить на процедуры получения эмпирического знания.

Современная логическая теория индукции существенно неполна: в ней отсутствует раздел, в котором рассматривались бы индуктивные (правдоподобные) рассуждения, заключениями которых являлись бы оценки. В этом же смысле до недавних пор была неполна и дедуктивная логика. В ней рассматривались дедуктивные рассуждения, посылки которых включали бы оценки (или нормы) и заключение которых являлось бы оценкой (или нормой). С созданием логики норм и логики оценок в 50-е—60-е годы этот пробел в дедуктивной логике был устранен. Индуктивные оценочные рассуждения остаются неисследованными.

Самым простым и вместе с тем самым ненадежным способом индуктивного обоснования оценок является *неполная* (популярная) индукция.

Ее общая схема:

$S_1$  должно быть  $P$ .

$S_2$  должно быть  $P$ .

.....

$S_n$  должно быть  $P$ .

$S_1, S_2, \dots, S_n$  все являются  $P$ .

---

Все  $S$  должны быть  $P$ .

Здесь первые *n* посылок являются оценками, последняя посылка представляет собой описательное утверждение; заключение является оценкой. Индукция называется «неполной», поскольку перечисленные объекты  $S_1, S_2, \dots, S_n$  не исчерпывают всего класса предметов  $S$ .

Например:

Суворов должен был быть стойким и мужественным.  
 Наполеон должен был быть стойким и мужественным.  
 Эйзенхауэр должен был быть стойким и мужественным.  
 Суворов, Наполеон и Эйзенхауэр были полководцами.

---

Каждый полководец должен быть стойким и мужественным.

Популярным способом индуктивной аргументации в поддержку ценностей является *аналогия*.

*Аналогия — умозаключение о принадлежности определенного признака предмету на основе того, что сходный с ним иной предмет обладает этим признаком.*

Например, планеты Земля и Венера сходны во многих признаках. На Земле есть жизнь. Можно по аналогии заключить, что и на Венере есть жизнь.

Заметив сходство свойств, присущих двум разным предметам, можно это сходство продолжить и предположить, что сравниваемые предметы подобны и в других своих свойствах.

Наряду с *аналогией свойств* имеется также *аналогия отношений*, когда уподобляются не предметы, а отношения между ними.

Например, в планетарной модели атома отношение между его ядром и движущимися вокруг него электронами уподобляется отношению между Солнцем и вращающимися вокруг него планетами. Установив это подобие и зная, что планеты движутся вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, можно заключить по аналогии, что и электроны в атоме движутся вокруг его ядра по таким орбитам.

Схема умозаключения по аналогии:

Предмет *A* имеет признаки *a, b, c, d*.

Предмет *B* имеет признаки *a, b, c*.

Значит, предмет *B* также имеет, по-видимому, признак *d*.

Аналогия всегда дает *проблематичное* (вероятное) *заключение*.

Отношение к аналогии как способу аргументации является сдержанным. Обычно считается, что она представляет собой хорошее средство поиска новых идей и предположений, но не их обоснования. «Никогда еще не отрицалась важность той роли, которую аналогия играет в формировании интеллекта, — пишут Х.Перельман и Л.Олбрехт-Тытека. — И однако, будучи признанной всеми как существенный фактор творчества, она вызывала недоверие, как только из нее пы-

тались делать средство доказательства»<sup>1</sup>. Платон, Плотин, Фома Аквинский и др. оправдывали самое широкое использование аналогии при аргументации. Юм, Локк, Дж. Милль и другие философы-эмпирики, напротив, видели в аналогии лишь сходство низшего порядка, слабое и ненадежное; единственная ценность аналогии в том, что она позволяет сформулировать гипотезу, подлежащую проверке другими индуктивными способами.

Перельман и Олбрехт-Тытека оценивают доказательную силу аналогии, и в особенности аналогии отношений, достаточно высоко: «Мы далеки от мысли, что аналогия не может служить отправной точкой для позднейшей проверки; но в этом она не отличается от любого другого способа рассуждения, ибо вывод любого из них может быть подвергнут еще одному новому испытанию опытом. И вправе ли мы отказывать аналогии в какой бы то ни было доказательной силе, если один только тот факт, что она способна заставить нас предпочесть одну гипотезу другой, уже указывает на то, что она обладает силой аргумента? Любое полное исследование аргументации должно, следовательно, уделять ей место как элементу доказательства. Нам кажется, что доказательная сила аналогии предстает в виде структуры со следующей самой общей формулой: «*A* относится к *B* так же, как *C* к *D*»<sup>2</sup>.

Общая схема оценочной аналогии:

Предмет *A* имеет признаки *a*, *b*, *c* и является позитивно (негативно, нейтрально) ценным.

Предмет *B* имеет признаки *a*, *b*, *c*.

Значит, предмет *B* также является, вероятно, позитивно (негативно, нейтрально) ценным.

В этом рассуждении сходство двух предметов в каких-то признаках продолжается и на основании того, что первый предмет имеет определенную ценность, делается вывод, что и второй предмет обладает такой же ценностью.

Например:

Книга *A* — антиутопия, написанная хорошим языком, имеющая занимательный сюжет и заслуживающая похвалы.

Книга *B* также является антиутопией с хорошим языком и занимательным сюжетом.

Значит, книга *B* также, по-видимому, заслуживает похвалы.

<sup>1</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации» // Язык и моделирование социального взаимодействия. — М., 1987. — С. 226.

<sup>2</sup>Там же. — С. 226—227.

Часто аналогия с оценочной посылкой предстает в форме:

Предмет *A* имеет свойства *a*, *b*, *c* и должен быть *d*.

Предмет *B* обладает свойствами *a*, *b*, *c*.

Значит, предмет *B*, по-видимому, должен быть *d*.

Например:

Хороший автомобиль имеет колеса, мотор и должен быть экономичным.

Хороший трактор имеет колеса и мотор.

Значит, хороший трактор тоже, вероятно, должен быть экономичным.

Только в самых редких случаях оценочная аналогия выступает в такой прозрачной форме, как в приведенных примерах.

«Подобно тому как ребенок постигает то, что он сам бы не мог обнаружить, но чему его учит учитель, — пишет Э.Жильсон, — так и человеческий разум без труда овладевает учением, истинность которого гарантирована ему авторитетом сверхчеловеческим»<sup>1</sup>. Здесь из того, что ребенок должен в процессе обучения опираться на авторитет учителя, делается вывод, что человек, подобно ребенку, должен опираться на более высокий авторитет.

«Человек по сравнению с божеством так же ребячлив, — говорил Гераклит, — как ребенок по сравнению с человеком». В этой свернутой аналогии речь идет о том, что человек, в сравнении с более высокой ступенью развития (какой является божество), должен казаться ребячливым, поскольку ребенок, во многом подобный взрослому человеку (и имеющий его более высокой стадией своего развития), должен казаться ребячливым.

«...И это избрание Эме, торжественно закрепленное авторитетом священного и высшего совета, кончилось ничем, разве что упомянутый Эме был умиротворен кардинальской шапочкой, как лающий пес куском хлеба»<sup>2</sup>. В этом отрывке избрание Эме в кардиналы уподобляется даче куска хлеба лающему псу. Обесценение первого акта достигается за счет того, что второе действие представляется как отрицательно ценное. Если бы, допустим, поведение лающей собаки, вознаграждаемой куском хлеба, никак не оценивалось, то само уподобление претендента в кардиналы лающему псу не сделало бы первого объектом уничижительного суждения.

«Храбрец [король Вильгельм]! — воскликнул дядя Тоби. — Клянусь небом, он заслуживает короны. — Вполне — как вор веревки, — радостным голосом поддержал дядю Трим [прямодушный капрал]»<sup>3</sup>. В этом диалоге корона оказывается столь же заслуженной Вильгельмом, как веревка для повешения — воров. Поскольку веревка для вора — справедливое воздаяние, имеющее характер отмщения, то такой же оказывается корона для Вильгельма.

В одной из речей Демосфена проводится такая аналогия: «При этом вы знаете также и то, что если греки терпели какие-то обиды, то все-таки от истинных сынов Греции, и всякий относился тогда к этому таким же точно образом, как если бы, например, законный сын, вступивший во владение большим состоянием, стал распоряжаться чем-нибудь нехорошо и неправильно: всякий почел бы его заслуживающим за это самое порицания и осуждения, но никто

<sup>1</sup> *Gilson E.* Le thomisme. — Paris, 1945. — P. 35.

<sup>2</sup> *Calvin J.* Institution de la religion chrétienne. — Geneve, 1888. — P. 13.

<sup>3</sup> *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена. — М.; Л., 1949. — С. 562.



не решился бы говорить, что он не имел права это делать, как человек посторонний или не являющийся наследником этого имущества. А вот если бы раб или какой-нибудь подкидыш стал расточать и мотать достояние, на которое не имел права, тогда — о Геракл! — насколько же более возмутительным и более достойным гнева признали бы это вы все! Но о Филиппе и о том, что он делает сейчас, не судят таким образом, хотя он не только не грек и даже ничего общего не имеет с греками, но и варвар-то он не из такой страны, которую можно было бы назвать с уважением...»<sup>1</sup>. Македонский царь Филипп, поскольку он не грек и даже не варвар из уважаемой страны, уподобляется рабу или подкидышу, расточающему чужое достояние. Презрение и негодование по поводу поведения так ведущего себя раба или подкидыша переносится тем самым на Филиппа.

Ж.Лабрюйер подчеркивает скрытность, механический характер и нередкую пустоту деятельности придворного, сравнивая ее с ходом часов: «Взгляните на часы: колесики, пружины, словом, весь механизм, скрыты; мы видим только стрелку, которая незаметно совершает свой круг и начинает новый, — таков и образ придворного, тем более совершенный, что нередко, продвинувшись довольно далеко, он оказывается у отправной точки»<sup>2</sup>.

М.Маколей был склонен умять роль великих людей в истории и прибегал к такой аналогии: «Солнце освещает холмы, когда оно находится еще ниже горизонта; так и великие умы открывают истину несколько раньше того, как она станет очевидной для толпы. Вот чем ограничивается их превосходство. Они первыми воспринимают и отражают свет, который и без их помощи в скором времени должен стать видимым для тех, кто находится далеко ниже их»<sup>3</sup>. Дж.Милль, придерживавшийся противоположного мнения, так поправил аналогию Маколей: «Если эту метафору провести дальше, то выйдет, что у нас и без Ньютона не только была бы Ньютоновская система, но даже мы получили бы ее в то же самое время, в какое получили ее от Ньютона, так же как для наблюдателей, живущих в долине, солнце должно взойти в определенное время, — все равно, имеется гора для восприятия лучей, раньше чем они достигнут долины, или нет... Выдающиеся люди не просто видят восходящее светило с вершины холма: они сами всходят на вершины холмов и вызывают свет, и, если бы никто не всходил бы на эти холмы, свет во многих случаях совсем не появился бы над равниной»<sup>4</sup>. Маколей уподобляет великих людей холмам, первыми освещающимися восходящим солнцем. Аналогия Милля имеет смысл лишь в контексте полемики с Маколеем.

В «Дон Кихоте» Сервантеса проводится такая ясная аналогия: «Странствующий рыцарь без дамы — это все равно, что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без тела, которое ее отбрасывает». Поскольку дерево, лишенное листвы, здание без фундамента и тень без тела внушают подозрение и не могут оцениваться положительно, такую же реакцию вызывает и странствующий рыцарь без дамы.

<sup>1</sup>*Демосфен. Речи. Третья речь против Филиппа, 30, 31. — М., 1954. — С. 215—216.*

<sup>2</sup>*Ларошфуко Ф. Максимумы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры. — М., 1974. — С. 326.*

<sup>3</sup>*Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. — М., 1914. — С. 854.*

<sup>4</sup>Там же.

«Аналогия — шаткий способ аргументации, — пишут Перельман и Олбрехт-Тытека. — В самом деле, тот, кто отвергает построенные на ее основании выводы, будет склонен утверждать, что в искомом случае “нет даже и аналогии”, и принизит значение высказывания, сведя его к расплывчатому сравнению или к чисто словесному сближению. Но тот, кто прибегнул к аналогии, почти неизбежно будет склонен утверждать, что в искомом случае налицо нечто большее, нежели просто аналогия. Таким образом, последняя оказывается зажатой между двумя типами отказа от нее: отвержения ее противниками и отречения от нее сторонников»<sup>1</sup>.

Аналогия обладает слабой доказательной силой. Продолжение сходства может оказаться поверхностным или даже ошибочным. Но доказательность и убедительность — разные вещи. Нередко строгое, проводимое шаг за шагом доказательство оказывается неуместным и убеждает меньше, чем мимолетная, но образная и яркая аналогия. Доказательство — сильнодействующее средство исправления и углубления убеждений, в то время как аналогия подобна гомеопатическим лекарствам, принимаемым ничтожными дозами, но оказывающим во многих случаях заметный лечебный эффект.

Аналогия — излюбленное средство убеждения в художественной литературе, которой по самой ее природе противопоказаны сильные, прямолинейные приемы убеждения. Аналогии широко используются также в обычной жизни, в моральном рассуждении, в идеологии, утопии и т.п.

*Метафора*, являющаяся ярким выражением художественного творчества, представляет собой, по сути дела, своего рода сгущенную, свернутую аналогию. «Любая аналогия — за исключением тех, что представлены в застывших формах, подобно притчам или аллегориям, — способна спонтанно стать метафорой»<sup>2</sup>.

Примером метафоры с прозрачным аналогическим соотношением служит такое сопоставление Аристотеля: «...Старость так [относится] к жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер “старостью дня”..., а старость — “вечером жизни”»<sup>3</sup>.

В традиционном понимании метафора — это троп, удачное изменение значения слова или выражения. С помощью метафоры собственное значение имени переносится на некоторое

<sup>1</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». С. 244.

<sup>2</sup>Там же. — С. 253.

<sup>3</sup>Аристотель. Поэтика. Гл. 21, 1457 в.

другое значение, которое подходит этому имени лишь ввиду того сравнения, которое держат в уме. Уже это истолкование метафоры связывает ее с аналогией. «...Лучше всего роль метафоры видна в контексте представления об аналогии как об элементе аргументации»<sup>1</sup>. Метафора возникает в результате слияния членов аналогии и выполняет те же функции, что и аналогия. С точки зрения воздействия на эмоции и убеждения аудитории метафора даже лучше справляется с этими функциями, поскольку «она усиливает аналогию, вводя ее в сжатом виде в язык»<sup>2</sup>.

Еще одним способом аргументации в поддержку ценностей является *апелляция к образцу*.

Образец принципиально отличается от *примера*. Пример говорит о том, что имеет место в действительности, образец — о том, что должно быть. Пример используется для поддержки описательных утверждений, ссылка на образец призвана поддерживать оценку.

*Образец, или идеал, — это поведение лица или группы лиц, которому надлежит следовать.* Образец, в силу его особого общественного престижа, служит также порукой выбранному типу поведения. «Следование общепризнанному образцу, принуждение себя к этому гарантирует высокую оценку поведения в глазах общества; деятель, повышающий таким способом свой авторитет, сам уже может послужить образцом: философ являет собой образец для своих сограждан постольку, поскольку для него самого образцом выступают боги [Паскаль]; пример святой Терезы воодушевляет христиан, поскольку для нее самой образцом являлся Иисус»<sup>3</sup>.

Имитация чужого поведения может быть *спонтанной*. Имитирующий тип поведения имеет большое значение в социальной жизни. Повторение одного и того же поведения, в отличие от изменения или отклонения от него, не нуждается в обосновании. Аргументация требуется в том случае, когда поведение ориентируется на сознательно избранный образец, действия которого противопоставляются другим возможным способам деятельности.

Образец должен обладать определенным авторитетом и престижем: неизвестным, никак себя не зарекомендовавшим лю-

<sup>1</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 249.

<sup>2</sup>Там же. С. 259.

<sup>3</sup>Там же. — С. 220.

дям не подражают. Как заметил Ж.-Ж.Руссо, «обезьяна подражает человеку, которого она боится, и не подражает презируемым ею животным; она находит правильным то, что делает вышнее по сравнению с ней существо»<sup>1</sup>.

Имеются образцы, предназначенные для всеобщего подражания, но есть и образцы, рассчитанные только на узкий круг людей. Своеобразным образцом является Дон Кихот: ему подражают именно потому, что он был способен самоотверженно следовать избранному им самим образцу.

Образцы, или идеалы, играют исключительную роль в социальной жизни, в формировании и укреплении социальных ценностей. «Человек, общество, эпоха характеризуются теми образцами, которым они следуют, а также тем, как, каким способом они эти образцы понимают»<sup>2</sup>.

Образцом может быть реальный человек, взятый во всем многообразии присущих ему черт. Нередко в качестве образца выступает поведение какого-то реального человека в определенной, достаточно узкой области: есть образцы любви к ближнему, любви к жизни, самопожертвования и т.д. Образцом может служить также поведение вымышленного лица: литературного героя, героя мифа, легенды и т.д. Иногда такой вымышленный герой выступает не как целостная личность, а демонстрирует своим поведением только отдельные добродетели или пороки. Можно, например, подражать Кутузову, но можно стремиться следовать в своем поведении Пьеру Безухову или Наташе Ростовой. Можно подражать альтруизму доктора Ф.П.Гааза, но можно следовать Дон Кихоту или Дон Жуану.

«...Безразличие к образцам, — пишут Перельман и Олбрехт-Тытека, — может само по себе выглядеть как образец: в пример иногда ставится тот, кто умеет избежать соблазна подражания. Тот факт, что аргументация посредством обращения к образцу действительна также и в этом нетипичном случае, убедительно показывает нам, что способы аргументации применимы в самых различных обстоятельствах, то есть техника аргументации не связана с какой-либо определенной общественной ситуацией или с приверженностью таким-то, а не каким-либо иным ценностям»<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения: В 2 т. — М., 1981. — Т. 1. — С. 137.

<sup>2</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 220.

<sup>3</sup>Там же. — С. 220—221.

Если образцом выступает реальный человек, имеющий обычно не только достоинства, но и определенные недостатки, нередко бывает, что эти его недостатки оказывают на поведение других людей большее воздействие, чем его неоспоримые достоинства. Как заметил Паскаль, «пример чистоты нравов Александра Великого куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства — к распущенности. Совсем не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и простительно быть столь же порочным»<sup>1</sup>.

«Хотя служить образцом престижно, — отмечают Перельман и Олбрехт-Тытека, — но вызванное имитацией сближение между образцом и тем, кто ему следует и кто почти всегда ниже его, может несколько обесценить образец. ...Любое сравнение влечет взаимодействие между его членами. Более того, вульгаризуя образец, мы лишаем его той ценности, которой он обладал благодаря своему своеобразию: феномен моды во всех ее ипостасях объясняется, как известно, свойственным толпе желанием приблизиться к тем, кто задает тон, равно как и желанием последних выделиться из толпы и бежать от нее»<sup>2</sup>.

Наряду с образцами существуют также *антиобразцы*. Задача антиобразца — дать отталкивающий пример поведения и тем самым отвратить от такого поведения. Воздействие антиобразца на некоторых людей оказывается даже более эффективным, чем воздействие образца. «Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, — писал философ М.Монтень, — которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблагоприятных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца, а также упоминаемый Павсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши»<sup>3</sup>.

В качестве факторов, определяющих поведение, образец и антиобразец не вполне равноправны. Не все, что может быть сказано об образце, в равной мере приложимо также к антиобразцу. Последний является, как правило, менее определенным

<sup>1</sup>Ларош Фуко Ф. Максимумы. Паскаль Б. Мысли. Лабрюйер Ж. Характеры. — С. 135.

<sup>2</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 222.

<sup>3</sup>Монтень М. Опыты.: В 3 кн. — М., 1979. — Кн. 3. — С. 132.

и может быть правильно истолкован только при сравнении с определенным образцом. На эту асимметрию аргументации с помощью антиобразца и аргументации посредством образца обращают внимание Перельман и Олбрехт-Тытека: «...Тогда как в последнем случае предлагается вести себя пусть даже неумело, но подобно лицу, чья манера поведения относительно хорошо известна, аргументация с помощью антиобразца побуждает к отталкиванию от некоего лица при том, что отнюдь не всегда его поступки бывают с точностью предсказуемы. Их определение зачастую становится возможным только благодаря имплицитной отсылке к некоторому образцу: что значит отстраниться в своем поведении от Санчо Пансы, понятно лишь тому, кому знакома фигура Дон Кихота; образ раба-илота означает определенный тип поведения лишь для того, кому знакомо поведение воина-спартанца»<sup>1</sup>. Антиобразец, как правило, менее выразителен и определен, чем образец. Обычно антиобразец представляет собой не конкретное лицо, взятое во всем объеме присущих ему свойств, а только тот этический минимум, ниже которого нельзя опускаться.

Аргументация с помощью образца или антиобразца требует для своей убедительности определенного поведения со стороны того, кто прибегает к ней: «...Оратор, толкующий о своей вере во что-либо, подкрепляет свои слова не только силой своего авторитета. Его собственное поведение может либо служить образцом, побуждая вести себя так, как это делает он, либо, напротив, отвращать от его образа действий, если он является антиобразцом»<sup>2</sup>.

Аргументация к образцу обычна в художественной литературе. Здесь она носит обычно непрямой характер: образец предстоит выбрать самому читателю по косвенным указаниям автора.

Обращение к образцу играет важную роль в психологии личности, в моральных рассуждениях, в обучении и т.д. В сущности, аргументация к образцу присутствует почти везде, где речь идет о поведении человека: образцы — одна из форм создания и закрепления традиции, которой определяется по преимуществу поведение.

До сих пор понятие образца употреблялось для обозначения такого поведения отдельного лица или группы лиц, которому надлежит следовать. Такие образцы можно назвать *идеалами*.

<sup>1</sup>Перельман Х., Олбрехт-Тытека Л. Из книги «Новая риторика: трактат об аргументации». — С. 223.

<sup>2</sup>Там же. — С. 224.

Наряду с образцами действий имеются также образцы иных вещей: предметов, событий, ситуаций, процессов и т.д. Образцы такого рода можно назвать *стандартами*.

Для всего, с чем регулярно сталкивается человек, будь то топоры, часы, пожары, церемонии и т.д., существуют свои стандарты, говорящие о том, какими должны быть объекты данного рода. Ссылка на эти стандарты — частый прием аргументации в поддержку оценок.

Оценочные термины «хороший», «плохой», «лучший», «худший» и т.п. нередко характеризуют отношение оцениваемых вещей к определенным образцам или стандартам. В этих складывающихся стихийно стандартах фиксируются совокупности эмпирических свойств, которые, как считается, должны быть присущи вещам. Для вещей разных типов существуют разные стандарты: свойства, требуемые от хороших молотков, не совпадают со свойствами, ожидаемыми от хороших полководцев, и т.п. Стандартные представления о том, какими должны быть вещи определенного типа, не являются неизменными с течением времени: хороший римский военачальник вполне мог бы оказаться плохим современным полководцем, и наоборот.

Для отдельных типов вещей имеются очень ясные стандарты. Это позволяет однозначно указать, какие именно свойства должна иметь вещь данного типа, чтобы ее можно было назвать хорошей<sup>1</sup>. Для других вещей стандарты расплывчаты и трудно определить, какие именно эмпирические свойства приписываются этим вещам, когда утверждается, что они хороши. Легко сказать, например, какие свойства имеет хороший нож для рубки мяса или хорошая корова, сложнее определить, что человек понимает под хорошим домом или хорошим автомобилем, и совсем трудно вне контекста решить, какой смысл вкладывается в выражение «хороший поступок» или «хорошая шутка».

Для некоторых вещей вообще не существует сколь-нибудь определенных стандартов. С ножами, адвокатами, докторами и шутками приходится сталкиваться довольно часто, их функции сравнительно ясны и сложились устойчи-

---

<sup>1</sup>М.Оссовская указывает, что иногда приближение некоторого предмета к образцу так явно зависит от наличия у этого предмета определенных свойств, что высказываемое о нем слово «хороший» прямо означает эти свойства. Например, способность давать высокий урожай столь очевидно относится к условиям, которым должна удовлетворять хорошая земля, что выражение «хорошая земля» попросту означает то же, что и «урожайная земля». Сходно, «хорошая семья» означает обычно то же, что и «семья, живущая в согласии», «хороший друг» — то же, что и «друг, на которого можно положиться» и т.д. (Ossowska M. Podstawy nauki o moralności. — Warszawa, 1957. — S. 57—58).

вые представления о том, чего следует ожидать от хорошего ножа, доктора и т.д. Хороший нож — это такой нож, каким он должен быть. Для пояснения того, каким должен быть нож, можно назвать несколько свойств, из числа входящих в устоявшееся представление о хорошем ноже. Но что представляет собой хорошая планета? Сказать, что такая планета, какой она должна быть, значит ничего не сказать. Для планет не существует стандарта или образца, сопоставление с которым помогло бы решить, является ли рассматриваемая планета хорошей или нет.

Понятие образца как стандарта почти не исследовано. Можно отметить, что стандарт, касающийся предметов определенного типа, обычно учитывает характерную функцию этих предметов. Помимо функциональных свойств стандарт может включать также некоторые морфологические признаки. Например, никакой молоток не может быть назван хорошим, если с его помощью нельзя забивать гвозди, т.е. если он не способен справиться с одной из тех задач, ради выполнения которых он был создан. Молоток не будет также хорошим, если он, позволяя забивать гвозди, не имеет все-таки рукоятки. Стандарты для вещей других типов могут не содержать морфологических характеристик (таковы, в частности, стандарты, имеющиеся для врачей, адвокатов и т.п.).

Важным способом обоснования оценок является *целевое*, или *мотивационное*, обоснование. Оно представляет собой параллель эмпирическому подтверждению описательных утверждений (подтверждению следствий) и может быть названо также *целевым подтверждением*.

Иногда целевое обоснование именуется *телеологическим*, особенно если упоминаемые в нем цели не являются целями человека.

*Целевое обоснование позитивной оценки какого-то объекта представляет собой ссылку на то, что с помощью последнего может быть получен другой объект, имеющий позитивную ценность.*

Например, по утрам следует делать зарядку, поскольку это способствует укреплению здоровья; нужно отвечать добром на добро, так как это ведет к справедливости в отношениях между людьми, и т.п.

Универсальным и наиболее важным способом эмпирического обоснования описательных утверждений является выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая опытная проверка. Подтверждение следствий — свидетельство в пользу истинности самого положения.

Общая схема косвенного эмпирического подтверждения:

- (1) Из *A* логически следует *B*; *B* подтверждается в опыте; значит, вероятно, *A* истинно.



Это — индуктивное рассуждение, истинность посылок не обеспечивает здесь истинности заключения. Из посылок «если имеет место первое, то с логической необходимостью имеет место второе» и «имеет место второе» заключение «имеет место первое» вытекает только с некоторой вероятностью.

Эмпирическое подтверждение может опираться также на подтверждение в опыте следствия причинной связи. Общая схема такого каузального подтверждения:

(2) *A* является причиной *B*; следствие *B* имеет место; значит, вероятно, причина *A* также имеет место.

Например:

Если идет дождь, земля является мокрой.

Земля мокрая.

Значит, вероятно, идет дождь.

Это — типичное индуктивное рассуждение, дающее не достоверное, а только проблематичное следствие. Если бы шел дождь, земля действительно была бы мокрой; но из того, что она мокрая, не вытекает, что идет дождь: земля может быть мокрой после вчерашнего дождя, от таяния снега и т.п.

Аналогом схемы (1) эмпирического подтверждения является следующая схема квазиэмпирического обоснования (подтверждения) оценок:

(1\*) Из *A* логически следует *B*; *B* — позитивно ценно; значит, вероятно, *A* также является позитивно ценным.

Например:

Если мы пойдем завтра в кино и пойдем в театр, то мы пойдем завтра в театр.

Хорошо, что мы пойдем завтра в театр.

Значит, по-видимому, хорошо, что мы пойдем завтра в кино и пойдем в театр.

Это — индуктивное рассуждение, обосновывающее одну оценку («Хорошо, что мы пойдем завтра в кино и пойдем в театр») ссылкой на другую оценку («Хорошо, что мы пойдем завтра в театр»).

Аналогом схемы (2) каузального подтверждения описательных утверждений является следующая схема квазиэмпирического целевого обоснования (подтверждения) оценок:

(2\*) *A* является причиной *B*; следствие *B* — позитивно ценно; значит, вероятно, причина *A* также является позитивно ценной.

Например:

Если в начале лета идут дожди, то урожай будет большим.

Хорошо, что будет большой урожай.

Значит, судя по всему, хорошо, что в начале лета идут дожди.

Это опять-таки индуктивное рассуждение, обосновывающее одну оценку («Хорошо, что в начале лета идут дожди») ссылкой на другую оценку («Хорошо, что будет большой урожай») и определенную каузальную связь.

В случае схем (1\*) и (2\*) речь идет о квазиэмпирическом обосновании, поскольку подтверждающиеся следствия являются оценками, а не эмпирическими утверждениями.

В схеме (2\*) посылка «*A* является причиной *B*» представляет собой описательное утверждение, устанавливающее связь причины *A* со следствием *B*. Если

утверждается, что данное следствие является позитивно ценным, связь «причина — следствие» превращается в связь «средство — цель». Схему (2\*) можно переформулировать таким образом:

*A* есть средство для достижения цели *B*;

*B* позитивно ценно; значит, вероятно, *A* также позитивно ценно.

Рассуждение, идущее по этой схеме, оправдывает средства ссылкой на позитивную ценность достигаемой с их помощью цели. Оно является, можно сказать, развернутой формулировкой хорошо известного и вызывающего постоянные споры принципа «Цель оправдывает средства». Споры объясняются индуктивным характером скрывающегося за принципом целевого обоснования (оправдания): цель вероятно, но вовсе не с необходимостью и не всегда оправдывает средства.

Еще одной схемой квазиэмпирического целевого обоснования оценок является схема:

(2\*\*) Не-*A* есть причина не-*B*; но *B* — позитивно ценно; значит, вероятно, *A* также является позитивно ценным.

Например:

Если вы не поторопитесь, мы не придем к началу спектакля.

Хорошо было бы быть к началу спектакля.

Значит, по-видимому, вам следует поторопиться.

Иногда утверждается, что целевое обоснование оценок представляет собой дедуктивное рассуждение. На наш взгляд, это не так. В дальнейшем будут приведены аргументы, говорящие, как кажется, о том, что целевое обоснование — это *индуктивное рассуждение*<sup>1</sup>.

Схема (2\*\*) эквивалентна (на базе простых принципов логики абсолютных оценок) схеме:

*A* есть причина *B*; *B* — отрицательно ценно;

Значит, *A* также, вероятно, является отрицательно ценным.

Например:

Если все лето идут дожди, урожай будет невысоким.

Плохо, что урожай будет невысоким.

Значит, по всей вероятности, плохо, что все лето идут дожди.

Целевое обоснование оценок находит широкое применение в самых разных областях оценочных рассуждений, начиная с обыденных, моральных, политических дискуссий и кончая методологическими, философскими и научными рассуждениями.

«Некоторые взгляды Локка настолько странны, — пишет Б. Рассел, — что я не вижу, каким образом изложить их в разумной форме. Он говорит, что человек не должен иметь такого количества слив, которое не могут съесть ни он, ни его семья, так как они испортятся, но он может иметь столько золота и бриллиантов, сколько может получить законным образом, ибо золото и бриллианты не портятся. Ему не приходит в голову, что обладатель слив мог бы продать их

<sup>1</sup>См. гл. «Объяснение и понимание в аргументации».

прежде, чем они испортятся»<sup>1</sup>. По-видимому, Локк рассуждал так: «Если у человека слишком много слив, то часть из них непременно испортится; плохо, когда сливы портятся; значит, нельзя иметь чересчур много слив». Это рассуждение является попыткой целевого обоснования оценки «Нельзя иметь слишком много слив». Рассел правильно замечает, что данное рассуждение неубедительно: первая его посылка не является истинным утверждением.

Другое целевое обоснование, присутствующее у Локка: «Драгоценные металлы являются источником денег и общественного неравенства; экономическое неравенство достойно сожаления и осуждения; значит, драгоценные металлы заслуживают осуждения».

Локк принимал первую посылку этого рассуждения, чисто теоретически сожалел об экономическом неравенстве, и вместе с тем не думал, что было бы разумно предпринять такие меры, которые могли бы предотвратить это неравенство<sup>2</sup>. Логической непоследовательности в такой позиции нет, поскольку заключение не вытекает логически из посылок.

Философы-эмпирики XVIII—XIX вв., занимавшиеся этикой, считали удовольствие несомненным благом. Их противники, наоборот, презирали удовольствие и склонялись к иной системе этики, которая казалась им более возвышенной. Гоббс высоко ценил силу, с ним соглашался в этом отношении Спиноза. Разные системы принимавшихся исходных ценностей вели к различиям в целевых обоснованиях. Скажем, рассуждение «Взаимная благожелательность доставляет удовольствие, и потому является добром» было бы приемлемым для Локка, но не для Гоббса или Спинозы.

«Большая часть противников локковской школы, — пишет Рассел, — восхищалась войной как явлением героическим и предполагающим презрение к комфорту и покою. Те же, которые восприняли утилитарную этику, напротив, были склонны считать большинство войн безумием. Это снова, по меньшей мере в XIX столетии, привело их к союзу с капиталистами, которые не любили войн, так как войны мешали торговле. Побуждения капиталистов, конечно, были чисто эгоистическими, но они привели к взглядам, более созвучным с общими интересами, чем взгляды милитаристов и их идеологов»<sup>3</sup>. В этом отрывке упоминаются три разных целевых аргументации, обосновывающих оправдание и осуждение войны:

— Война является проявлением героизма и воспитывает презрение к комфорту и покою; героизм и презрительное отношение к комфорту и покою позитивно ценны; значит, война также позитивно ценна.

— Война не только не способствует общему счастью, но, напротив, самым серьезным образом препятствует ему; общее счастье — это то, к чему следует всячески стремиться; значит, войны следует категорически избегать.

— Война мешает торговле; торговля является позитивно ценной; значит, война вредна.

Убедительность целевого обоснования для аудитории существенным образом зависит от трех обстоятельств: во-первых, от эффективности связей между целью и тем средством, которое

<sup>1</sup>Рассел Б. История западной философии. — М., 1993. — Т. 2. — С. 153.

<sup>1</sup>Там же. — С. 163.

<sup>1</sup>Там же.

предлагается для ее достижения; во-вторых, от приемлемости самого средства; в-третьих, от приемлемости и важности для данной аудитории оценки, фиксирующей цель.

Связь «цель — средство» в контексте целевого обоснования это причинно-следственная связь: средство является той причиной, благодаря которой достигается цель-следствие. Слово «причина» употребляется в нескольких различающихся по своей силе смыслах. В целевых обоснованиях обычно используются не слова «причина» и «следствие», а выражения «способствовать наступлению (какого-то состояния)», «способствовать сохранению», «препятствовать наступлению», «препятствовать сохранению». Эти выражения подчеркивают многозначность слова «причина». Наиболее сильный смысл этого слова предполагает, что имеющее причину *не может не быть*, то есть не может быть ни отменено, ни изменено никакими иными событиями или действиями. Наряду с этим понятием *полной, или необходимой, причины* имеются также более слабые понятия *частичной, или неполной, причины*. Полная причина всегда или в любых условиях вызывает свое следствие, частичные причины только способствуют в той или иной мере наступлению своего следствия, и следствие реализуется лишь в случае объединения частичной причины с некоторыми иными условиями<sup>1</sup>.

Чем более сильной является причинная связь, упоминаемая в целевом обосновании, то есть чем эффективнее то средство, которое предлагается для достижения обозначенной цели, тем более убедительным кажется целевое обоснование.

Средство, указываемое в целевом обосновании, может не быть оценочно нейтральным (безразличным). Если оно все-таки приемлемо для аудитории, целевое обоснование будет представлять ей убедительным. Но если средство сомнительно, встает вопрос о сопоставлении наносимого им ущерба с теми преимуществами, которые способна принести реализация цели.

Следует еще раз подчеркнуть, что целевое обоснование является индуктивным рассуждением. Если даже используемая в нем причинная связь является сильной, предлагаемое средство — приемлемым, а поставленная цель — существенной, заключение целевого обоснования представляет собой проблематичное утверждение, нуждающееся в дальнейшем обосновании.

---

<sup>1</sup>См. об этом: *Ивин А.А.* Основания логики оценок. — М., 1970. — Гл. 5. Логика утилитарных оценок.

## 5. Теоретическое обоснование оценок

Теоретическая аргументация в поддержку оценочных утверждений, в том числе норм, во многом параллельна теоретическому обоснованию описательных утверждений: почти все способы аргументации, применимые к описаниям, могут использоваться также для обоснования оценок.

Исключение составляет анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения. От оценок нельзя требовать, чтобы они допускали принципиальную возможность опровержения эмпирическими данными и предполагали определенные процедуры своего подтверждения такими данными. Вместе с тем можно предполагать, что от оценок следует ожидать принципиальной возможности *квазиэмпирического* подтверждения и опровержения.

Способы теоретической аргументации в поддержку оценок включают *дедуктивное обоснование, системную аргументацию* (в частности внутреннюю перестройку теории), *демонстрацию совместимости обосновываемой оценки с другими принятыми оценками и соответствие ее определенным общим оценочным принципам, методологическое обоснование* и др.

*Дедуктивное обоснование оценок — это выведение обосновываемого оценочного утверждения из иных, ранее принятых оценок.*

Если выдвинутую оценку удастся логически вывести из каких-то других оценок, это означает, что она приемлема в той же мере, что и данные оценки.

Допустим кто-то, малознающий о Наполеоне, сомневается в том, что Наполеон должен был быть мужественным. Чтобы доказать это, можно сослаться на то, что Наполеон был солдатом, а каждый солдат должен быть, как известно, мужественным. Заключение «Наполеон должен был быть мужественным» будет выведено из посылок «Всякий солдат должен быть мужественным» и «Наполеон был солдатом». Заключение окажется приемлемым в той же мере, в какой являются приемлемыми посылки. Оценочное заключение будет логически следовать из посылок, одна из которых является оценкой, а вторая — описательным утверждением.

Другой, чуть более сложный пример. Положим кто-то, незнакомый с существующими обычаями коммуникации, в общении с окружающими склонен постоянно отклоняться от темы, говорит длинно, неясно и непоследовательно. Для того, чтобы убедить его изменить свою манеру общения, мы можем сослаться на общий «принцип кооперации», заключающийся в требовании делать вклад в речевое общение соответствующим принятой цели и направлению разговора. Этот принцип включает, в частности, максимум релевантности, запрещающую отклоняться от темы, и максимум манеры, требующую говорить ясно, коротко и последовательно. Ссылка на эти максимумы будет представлять собой

дедуктивное обоснование рассматриваемого требования. Полная формулировка соответствующего дедуктивного умозаключения может иметь следующий вид:

Должно быть так, что если вы стремитесь соблюдать принцип кооперации, вы не отклоняетесь в разговоре от темы и говорите достаточно ясно, кратко и последовательно.

Вы должны соблюдать принцип кооперации.

Следовательно, вы должны не отклоняться в разговоре от темы, говорить достаточно ясно, кратко и последовательно.

Обе посылки этого рассуждения являются оценками, заключение также представляет собой оценочное утверждение.

Дедуктивное рассуждение только в редких случаях формулируется так, чтобы явно указывались все посылки и вытекающее из них заключение. Обычно оно носит сокращенный характер. Опускается все, что без особого труда может быть восстановлено из контекста. Не выявляется сколь-нибудь наглядно и та общая логическая схема, или структура, которая лежит в основе рассуждения и делает его дедукцией.

Вот пример обычного дедуктивного рассуждения, в котором многое не высказывается явно, а только подразумевается, и логическая структура которого не вполне ясна и нуждается в реконструкции. «Всякое зло, — пишет И.Эриугена, — есть или грех, или наказание за грех. И тогда как разум не допускает, чтобы Бог предвидел то и другое, кто решится утверждать, что Он предопределяет подобное, если только не толковать это в противоположном смысле? Что же? Вообразимо ли, чтобы Бог, который один есть истинное бытие и Которым сотворено все сущее в той мере, в какой оно существует, провидел или предопределял то, что не есть Он и не происходит от Него, ибо оно — ничто? (...) Зло есть лишь ущербность добра, а добро есть либо Бог, Который ущербу не подвержен, либо происходящее от Бога и подверженное ущербу, ущерб же имеет целью лишь уничтожение добра — и кто усомнится, что зло есть нечто стремящееся к истреблению добра? Поэтому зло — не Бог и не происходит от Бога. Следовательно, Бог не создавал зла, не провидит и не предопределяет его»<sup>1</sup>. Эриугена стремится доказать, что в мире нет зла, как такового, а есть лишь добро, которое может быть иногда ущербным. Эта идея выводится из утверждений, характеризующих природу Бога. Бог наделяется тремя главнейшими атрибутами: всезнанием, всемогуществом и всеблагодатью, а также функциями творца, хранителя и распорядителя всего сущего. При таком понимании Бога все сотворенное оказывается добром.

Еще один пример обычной дедукции принадлежит Боэцию и связан по своему содержанию с предыдущим. Боэций намерен строить свои доказательства по образцу математических: «Итак, как делают обычно в математике, да и в других науках, я предлагаю вначале разграничения и правила, которыми буду руководствоваться во всем дальнейшем рассуждении»<sup>2</sup>. В числе исходных девяти посылок, можно сказать, аксиом, принимаемых Боэцием, утверждения: «Для всякого простого его бытие и то, что оно есть, — одно», «Для всего сложного бытие и само оно — разные [вещи]» и т.п. Дальнейшие рассуждения должны

<sup>1</sup>Эриугена И.С. О божественном предопределении // Сегодня. — 6 августа — 1994.

<sup>2</sup>Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. — М., 1990. — С. 162.

быть дедукцией из аксиом. «Выходит, — пишет Боэций, — что [существующие вещи] могут быть благими постольку, поскольку существуют, не будучи при этом подобными первому благу; ибо само бытие вещей благо не потому, что они существуют каким бы то ни было образом, а потому, что само бытие вещей возможно лишь тогда, когда оно проистекает из первого бытия, то есть из блага. Вот поэтому-то само бытие благо, хотя и не подобно тому [благу], от которого происходит»<sup>1</sup>. Предполагаемые посылки этого рассуждения — те же, что и в рассуждении Эриугены.

Эти два примера показывают, что средневековые философы явно переоценивали значение доказательства как способа обоснования. Заключение дедуктивного рассуждения является обоснованным только в той мере, в какой обоснованы посылки, из которых оно выводится.

И наконец, еще один пример, взятый из современной литературы. Ю. Бохеньский считает, что философия диалектического материализма соединяет вместе идеи Аристотеля и Гегеля. Следствия такого соединения взаимоисключающих положений подчас обескураживают. «Одно из них — так называемая проблема Спартака. Ведь Спартак руководил революцией в тот период, когда класс рабовладельцев был, согласно марксизму, классом прогрессивным, а следовательно, революция не имела никаких шансов на успех и — с точки зрения морали — была преступлением, ибо противоречила интересам прогрессивного класса. Это вытекает из позиции Гегеля, а значит, и диалектического материализма. Но одновременно Спартак превозносится как герой. Почему? Потому, что уничтожение любой эксплуатации, совсем по-аристотелевски, считается абсолютной ценностью, стоящей над эпохами и классами. Здесь нужно выбирать — либо одно, либо другое; тот же, кто одновременно принимает оба эти положения, впадает в суеверие»<sup>2</sup>. Полная формулировка двух умозаключений, заключения которых несовместимы, может быть такой:

Всякое действие, противоречащее интересам исторически прогрессивного класса, является отрицательно ценным.

Революция Спартака противоречила интересам исторически прогрессивного класса.

Следовательно, революция Спартака была отрицательно ценной.

Всякое действие, направленное на уничтожение эксплуатации, является положительно ценным.

Революция Спартака была направлена на уничтожение эксплуатации.

Значит, революция Спартака была положительно ценной.

Только в редких случаях умозаключения, в которых из одних оценок выводятся другие, имеют такую полную и ясную структуру, как в этом примере.

Приведенные примеры показывают, что о хорошем и плохом, обязательном и запрещенном можно рассуждать логически последовательно и непротиворечиво. Рассуждения о ценностях не выходят за пределы «логического» и могут успешно анализироваться с помощью методов логики.

<sup>1</sup>Там же. — С. 164—165.

<sup>2</sup>Бохеньский Ю. Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков. — М., 1993. — С. 94.

Логика черпает важные импульсы для своего развития из эпистемологии. Рост эпистемологического интереса к ценностям естественным образом сказался и на логике, в которой сложились два новых неклассических ее раздела, занимающихся ценностями: *деонтическая* (нормативная) *логика* и *логика оценок*<sup>1</sup>.

Разработка деонтической логики, исследующей логические связи нормативных (прескриптивных) высказываний, началась с середины 20-х годов этого века (работы Э.Малли, К.Менгера и др.). Более энергичные исследования развернулись в 50-е годы после работ Г. фон Вригта, распространившего на деонтические модальные понятия («обязательно», «разрешено», «запрещено») подход, принятый в стандартной модальной логике, оперирующей понятиями «необходимо», «возможно» и «невозможно».

Логика оценок исследует логическую структуру и логические связи оценочных высказываний. Она складывается из логики абсолютных оценок и логики сравнительных оценок.

Первая попытка создать логическую теорию абсолютных оценок была принята еще в 20-е годы Э.Гуссерлем. В «Этических исследованиях», фрагменты из которых были опубликованы лишь в 1960 г., он отстаивал существование логических связей между оценками и указал ряд простых законов логики абсолютных оценок. Однако впервые эта логика была сформулирована, судя по всему, только в 1968 г.<sup>2</sup>

Логический анализ сравнительных оценок (предпочтений) начался в связи с попытками установить формальные критерии разумного (рационального) предпочтения (Д. фон Нейман, О.Моргенштерн, Д.Дэвидсон, Д.Маккинси, П.Суппес и др.). Логика предпочтений начала разрабатываться в качестве самостоятельного раздела логики после работ С.Халлдена и Г. фон Вригта<sup>3</sup>.

Деонтическая логика и логика оценок почти сразу же нашли достаточно широкие и интересные приложения. Во многом это было связано с тем, что само возникновение и развитие этих разделов логики стимулировалось активно обсуждавшимися методологическими проблемами, касавшимися прежде всего гуманитарных наук.

И оценочные, и нормативные рассуждения подчиняются всем общим принципам логики. Имеются, кроме того, специфические логические законы, учитывающие своеобразие оценок и норм.

Вот некоторые законы логики оценок:

- ничто не может быть хорошим и плохим одновременно, с одной и той же точки зрения;
- невозможно быть сразу и хорошим и безразличным;
- логические следствия хорошего позитивно ценны;

<sup>1</sup>Более подробно о логике оценок и деонтической логике см.: *Ивин А.А.* Основания логики оценок. — М., 1970; *Ивин А.А.* Логика норм. — М., 1973. О логике сравнительных оценок см.: *Iwin A.A.* Grundlage der Logik von Wertungen. — Berlin, 1975.

<sup>2</sup>См.: *Ивин А.А.* О логике оценок // Вопросы философии. — 1968. — № 8; *Iwin A.A.* Zur Bewertungslogik // Sowietwissenschaft. Gesellschafts — wissenschaftliche Beiträge. — Berlin. — 1969. — № 7.

<sup>3</sup>См.: *Hallden S.* On the Logic of «Better». — Copenhagen, 1957; *Wright G.H. von.* The Logic of Preference. — Edinburg, 1963.



— что-то является хорошим в том и только в том случае, когда противоположное плохо, и т.п.

Например, разоружение не может быть и хорошим, и плохим одновременно, в одном и том же отношении; свобода слова не является и хорошей, и безразличной в одно и то же время, с одной и той же точки зрения. Если концепция всеобщего разоружения оценивается позитивно, то к положительным должны быть отнесены и все следствия, логически вытекающие из нее. Обновление методов обучения является позитивно ценным, только если консерватизм в этой сфере оценивается негативно. Истинность этих и подобных им утверждений, являющихся конкретными приложениями законов логики оценок, не вызывает, конечно, сомнений. И тот, кто пытается оспорить, скажем, общее положение «безразличное не может быть плохим» или какой-то конкретный его случай, просто не понимает обычного смысла слов «безразличное» и «плохое».

Частое применение в аргументации находят логические законы, распространяющие требование непротиворечивости на случай оценок. «Два положения дел, логически не совместимых друг с другом, не могут быть оба хорошими» и «Такие положения не могут быть вместе плохими» — так можно передать смысл этих законов.

Несовместимыми являются, к примеру, честность и нечестность, искренность и неискренность и т.д. По отношению к каждой из этих пар справедливо, что если хорошо первое, то не может быть, что хорошо второе. Если быть искренним хорошо, то неверно, что не быть искренним тоже хорошо; если быть нечестным плохо, то неправда, что быть честным также плохо, и т.д. Речь идет, конечно, об оценке двух противоречащих друг другу ситуаций *с одной и той же точки зрения*. Если, допустим, активность в общественных делах и отсутствие таковой рассматривать с разных сторон, то у каждой из этих черт найдутся свои преимущества и свои недостатки. И когда говорится, что они не могут быть вместе хорошими или вместе плохими, имеется в виду, что они не могут быть таковыми в одном и том же отношении. Логика оценок не утверждает, что если, скажем, неискренность хороша в каком-то отношении, то она не может быть хорошей ни в каком ином отношении. Проявить неискренность у постели смертельно больного — это одно, а быть неискренним с его лечащим врачом — совсем другое. Логика настаивает только на том, что противоположности не могут быть хорошими в одном и том же отношении, для одного и того же человека.

К логическим законам, касающимся сравнительных оценок, относятся принципы:

- ничто не может быть лучше или хуже самого себя;
- одно лучше второго только в том случае, когда второе хуже первого;

— равноценны каждые два объекта, которые не лучше и не хуже друг друга, и т.п.

Эти законы ничего не говорят об оцениваемых объектах и их свойствах. Они лишь раскрывают обычный смысл слов «лучше», «хуже» и «равноценно», указывают правила, которым подчиняется их употребление.

Хорошим примером положения логики оценок, вызывающего постоянные споры, является так называемый «принцип транзитивности (переходности)»: «Если первое лучше второго, а второе лучше третьего, то первое лучше третьего», и аналогично для «хуже».

Допустим, человеку был предложен выбор между сокращением рабочего дня и повышением зарплаты, и он предпочел первое. Затем ему предложили выбирать между повышением зарплаты и увеличением отпуска, и он избрал повышение зарплаты. Означает ли это, что сталкиваясь затем с необходимостью выбора между сокращением рабочего дня и увеличением отпуска, этот человек выберет в силу законов логики, так сказать автоматически, сокращение рабочего дня? Будет ли он противоречить себе, если выберет в последнем случае увеличение отпуска?

Ответ здесь не очевиден. На этом основании принцип транзитивности нередко не относят к законам логики оценок. Однако отказ от него имеет и не совсем приемлемые следствия. Человек, который не соблюдает в своих рассуждениях этого принципа, лишается возможности выбрать наиболее ценную вещь из неравноценных вещей. Допустим, что он предпочитает банан апельсину, апельсин яблоку и вместе с тем предпочитает яблоко банану. В этом случае, какую бы из трех вещей он ни избрал, всегда останется вещь, которую он сам предпочитает выбранной. Если предположить, что разумный выбор — это выбор, дающий наиболее ценную вещь, то соблюдение принципа транзитивности окажется необходимым условием разумности выбора.

К числу законов логики норм относятся положения:

— никакое действие не может быть одновременно и обязательным, и запрещенным;

— логические следствия обязательного — обязательны;

— если действие ведет к запрещенному следствию, то само действие запрещено, и т.д.

Очевидность эти положений становится особенно наглядной, когда они переформулируются в терминах конкретных действий. Неверно, например, что уплата налогов одновременно и обязательна, и запрещена. Если выполнение производственного задания обязательно и оно предполагает рост производительности труда, то такой рост также является обязательным. Если проведение работ невозможно без нарушения техники безопасности, то такие работы являются запрещенными.

Таким образом, в логике норм предполагается, что основные нормативные понятия — «обязательно», «разрешено» и «запрещено» — являются взаимно определяемыми. Разрешено действие, от выполнения которого не обязательно воздерживаться; запрещено то, от выполнения чего следует воздерживаться; не разрешенное — запрещено, и т.п. Безразличное действие определяется как не являющееся ни обязательным, ни запрещенным, или, что то же, как действие, которое разрешено выполнять и разрешено не выполнять.

Особый интерес представляет принцип «не запрещенное — разрешено». Нередко забывается, что хотя этот принцип и имеет широкую область приложения, он не является тем не менее универсальным, справедливым для всех сфер общественной жизни и для всех участников правовых отношений. В частности, деятельность государственных органов, должностных лиц, организаций в силу особого их положения и выполняемых функций строится в основном не на основе принципа «дозволено все, что не запрещено», а исходя из другого правила: «дозволено то, что особо оговорено». В логике норм принято проводить различие между так называемым либеральным нормативным режимом, в случае которого действует принцип «не запрещенное — разрешено», и деспотическим нормативным режимом, когда этот принцип не находит применения и разрешенными считаются только те виды деятельности, которые оговорены особо.

Итак, невозможно что-то сделать и вместе с тем не сделать, выполнить какое-то действие и одновременно воздержаться от него. На этом основании логика норм выдвигает принцип **н о р м а т и в н о й н е п р о т и в о р е ч и в о с т и**: действие и воздержание от него не могут быть одновременно обязательными или вместе запрещенными. Его можно передать также как: никакое действие не может быть и обязательным, и запрещенным одновременно.

Оценочные и нормативные высказывания не являются истинными или ложными. Их функция — не описание действительности, а направление человеческой деятельности, преобразующей действительность. Описание говорит о том, каким является предмет, оценки и нормы указывают, каким он должен быть. «Земля мокрая» — это описание, и если земля на самом деле мокрая, оно истинно. «Намочите землю!» и «Хорошо, что земля мокрая» — это, соответственно, требование и оценка. Они могут быть эффективными, целесообразными и т.п., но их нельзя считать истинными или ложными.

Можно ли из описательных высказываний логически вывести некоторую оценку или норму? В соответствии с принципом, высказанным впервые философом Д.Юмом, нельзя с помощью логики перейти от высказываний со связкой «есть» к высказываниям со связкой «должен». Иначе говоря, не существует обоснованного логического вывода, посылками которого являлись бы только чисто описательные высказывания, а заключением — та или иная оценка или норма. Оценки и нормы

выводимы лишь из посылок, включающих некоторые оценки и нормы<sup>1</sup>.

Невозможным является и обратный логический переход — от оценок или норм к описаниям.

Еще одним способом аргументации в поддержку оценок является *системное их обоснование*, т.е. обоснование путем включения их в хорошо обоснованную систему оценочных утверждений.

Возьмем, к примеру, принцип справедливости: «Каждому должно воздаваться по его заслугам». В соответствии с этим принципом каждый человек, относящийся к какой-то группе, должен трактоваться как равный любому другому представителю этой группы. Если речь идет, допустим, о дворянах, рассматриваемых только в этом качестве, то несправедливо было бы отдавать преимущество одному дворянину перед другим. Если говорится о пассажирах общественного транспорта без учета каких-либо дальнейших их различий, то каждого из них справедливо трактовать как равного любому другому. Понятно, что это формальное, лишенное конкретного содержания, истолкование справедливости. Оно не дает никакого критерия, по которому люди могут или должны соединяться в группы и, значит, трактоваться одинаково. Скажем, те же пассажиры во всем равны лишь до тех пор, пока они выступают в качестве пассажиров; но их «одинаковость» исчезает, как только принимается во внимание, что среди них есть люди разного возраста, инвалиды и здоровые, женщины и мужчины и т.д.

Если принципу справедливости дается моральное истолкование, важным в его обосновании будет указание на то, что он является существенным составным элементом конкретной, хорошо обоснованной системы морали. Та теоретическая и эмпирическая (или квазиэмпирическая) поддержка, какой обладает мораль в целом, распространяется и на принцип справедливости. Это тем более верно, что данный принцип лежит не на «окраине» морали, а представляет собой одно из наиболее важных ее требований. Если из системы морали изъять принцип справедливости, предписывающий, в частности, отвечать на добро добром, сама эта система, если не разрушится, то станет совершенно иной.

Принцип справедливости можно также попытаться обосновать, включая его в достаточно ясную, последовательную и обос-

---

<sup>1</sup>Более подробно о принципе Юма см. в главе «Некорректная аргументация».

нованную систему представлений о человеке и его истории. Так поступает, например, Э.Фромм. Он пишет: «Есть основания предполагать, что стремление к справедливости и истине является неотъемлемой чертой человеческой природы, хотя оно может подавляться и искажаться, так же как и стремление к свободе»<sup>1</sup>. Фромм выводит страстную тягу к справедливости из анализа всей человеческой истории, как социальной, так и индивидуальной. История показывает, полагает Фромм, что для каждого бесправного идеи справедливости и истины — важнейшее средство в борьбе за свою свободу и развитие. Большая часть человечества на протяжении его истории была вынуждена защищать себя от более сильных групп, подавлявших и эксплуатировавших ее; кроме того, каждый индивид проходит в детстве через период бессилия.

Психолог А.Маслоу, один из ведущих представителей так называемой гуманистической психологии, из всех многообразных ценностей, к которым стремится по своей природе человек, выделяет «бытийные ценности». К ним относятся истина, красота, добро, совершенство, простота, всесторонность и др.; в числе ценностей бытия и справедливость. Эти ценности необходимы индивиду, чтобы самоактуализироваться, реализовать самого себя, погрузиться в живое и бескорыстное переживание и почувствовать себя целиком и полностью человеком. «В некотором вполне определенном и эмпирическом смысле, — пишет Маслоу, — человеку необходимо жить в красоте, а не в уродстве, точно так же как ему необходима пища для голодного желудка или отдых для усталого тела. Я осмелюсь утверждать, что на самом деле эти бытийные ценности являются смыслом жизни для большинства людей, хотя многие даже не подозревают, что они имеют эти метапотребности»<sup>2</sup>. Здесь требованию справедливости сообщается дополнительная поддержка, путем включения его в качестве важного элемента в психологическую концепцию жизненных ценностей человека.

Частным случаем системного обоснования оценочного утверждения является *внутренняя перестройка* той системы оценок, к которой оно принадлежит. Эта перестройка может состоять во введении новых оценок, очевидным образом согласующихся с рассматриваемой оценкой и поддерживающих ее, ис-

<sup>1</sup>Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1988. — С. 64.

<sup>2</sup>Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности: Тексты. — М., 1986. — С. 111.

ключении тех элементов системы, которые не вполне согласуются между собой, уточнении основополагающих принципов системы, изменении иерархии этих принципов и т.д. Если перестройка системы оценок обеспечивает продвижение какого-то положения от «периферии» системы к «ядру», то системная поддержка этого положения становится особенно заметной.

Важным шагом в теоретическом обосновании оценочного утверждения является *демонстрация его соответствия имеющимся в рассматриваемой области оценкам и их системам*. Условие совместимости, о котором шла речь ранее, относится, очевидно, не только к описательным, но и оценочным утверждениям.

Ф.Ницше давал очень высокую оценку стремлению к справедливости: «По истине никто не имеет больших прав на наше уважение, чем тот, кто хочет и может быть справедливым. Ибо в справедливости совмещаются и скрываются высшие и редчайшие добродетели, как в море, принимающем и поглощающем в своей неизведанной глубине впадающие в него со всех сторон реки»<sup>1</sup>. Если бы человек, говорит далее Ницше, «был просто холодным демоном познания, то он распространял бы вокруг себя ледяную атмосферу сверхчеловечески ужасного величия, которой мы должны были бы страшиться, а не почитать ее; но то, что он, оставаясь человеком, пытается от поверхностного сомнения подняться к строгой достоверности, от мягкой терпимости к императиву «ты должен», от редкой добродетели великодушия к редчайшей добродетели справедливости... — все это ставит его на одинокую высоту как достойный экземпляр человеческой природы»<sup>2</sup>. Эти суждения о справедливости не кажутся убедительными. Справедливыми должны быть, как принято считать, не отдельные люди и тем более не редчайшие индивиды, а все люди. Это верно как для морального смысла принципа справедливости, так и для других его смыслов. Если не изменить обычное представление о равенстве всех людей и о тех моральных ценностях, которыми они привыкли руководствоваться, мысль о «редчайшей добродетели справедливости» будет вызывать существенные возражения: она не согласуется со многими из тех оценок, которые прочно вошли в сознание современного человека.

Новая оценка должна быть в согласии не только с уже принятыми и устоявшимися оценками и их системами, но и с определенными общими принципами, подобными принципам простоты, привычности, красоты и т.д. Простая, красивая, внутренне согласованная система оценок, не порывающая резко с ценностями, оправдавшими себя временем, скорее найдет признание, чем неуклюжая, путанная, безосновательно порывающая с традицией система.

Определенное значение в обосновании оценочного утверждения может иметь, далее, *методологическая аргументация* — ссылка на то, что оценка получена с помощью метода, уже неоднократно продемонстрировавшего свою надежность. Значе-

<sup>1</sup>Ницше Ф. Полное собрание сочинений. — М., 1909. — Т. 2. — С. 129.

<sup>2</sup>Там же. — С. 129—130.

ние методологической аргументации в случае оценок не является, однако, столь существенным, как в случае описательных утверждений. Это связано в первую очередь с тем, что оценки не допускают эмпирического подтверждения и метод, с помощью которого они устанавливаются, трудно охарактеризовать сколь-нибудь однозначно.

## 6. Контекстуальные аргументы

Судьба общих теоретических утверждений, претендующих на описание реальности, как правило, не может быть решена окончательно ни эмпирическими, ни теоретическими способами обоснования. Существенную роль в принятии таких утверждений играют контекстуальные аргументы. Еще большее значение контекстуальная аргументация имеет в случае оценок. Нередко вопрос о том, приемлемо ли выдвинутое оценочное утверждение, зависит только от контекстуальных аргументов, приводимых в его поддержку.

Контекстуальные способы аргументации в поддержку оценок охватывают, как и в случае описательных утверждений, аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.

*Аргумент к традиции* представляет собой ссылку на ту устойчивую и оправданную временем традицию, которая стоит за рассматриваемым оценочным утверждением. Этот аргумент играет первостепенную роль в моральной аргументации, при обсуждении обычаев и правил идеала, правил разнообразных игр, правил грамматики, правил ритуала, разнообразных конвенций и т.д. Даже аргументация в поддержку законов государства, методологических и иных рекомендаций, предостережений, просьб, обещаний и т.п. во многом опирается на традицию.

Особенно наглядно проявляется роль аргумента к традиции при обсуждении *требований этикета*. Й.Хейзинга упоминает одну почтенную даму, которая воспринимала нормы придворного этикета как мудрые законы, установившиеся при королевских дворах еще в глубокой древности и достойные почитания и в будущем. «Она говорит о них как о вековой мудрости: “и к тому же слыхала я суждение древних, кои ведали...” Она видит в своем времени черты вырождения: уже добрый десяток лет во Фландрии некоторые дамы, разрешившиеся от бремени, устраивают свое ложе перед огнем, “над чем весьма потешались”;

прежде этого никогда не делали — и к чему это только приведет? — “нынче же всяк поступает как хочет, из-за чего следует опасаться, что дела пойдут совсем худо”»<sup>1</sup>.

Нередко правила этикета, как и другие нормы повседневного поведения, всецело опираются только на традицию и не претендуют на какое-то, хотя бы поверхностное целевое обоснование.

Обед при дворе французского короля Карла Смелого был подобен грандиозному театральному представлению и протекал почти с литургической значимостью, с заранее обусловленными обязанностями хлебодаров и стольников, виночерпиев и кухмейстеров. Придворные были разделены на группы по десять человек, каждая из которых вкушала свою трапезу в отдельной палате, и все обслуживались и потчевались так же, как и их господин, в тщательном соответствии с их рангом и знатностью. Очередность была рассчитана так хорошо, что каждая группа, после окончания своей трапезы, своевременно могла подойти с приветствием к герцогу, еще восседавшему за столом<sup>2</sup>. В основе принятых при французском дворе правил этикета лежала прежде всего традиция. Но эти правила имели также определенное целевое обоснование: этикет должен был, кроме прочего, поддерживать и укреплять иерархические предписания, касающиеся распорядка придворной жизни, и в конечном счете поддерживать общий иерархический принцип строения общества, господствовавший в средневековой жизни. Иначе обстояло дело в соседнем германском княжестве, где обычаи застолья существовали как бы сами по себе, без дополнительной целевой нагрузки. Французский гость, участник трапезы, не мог не почувствовать своего превосходства, столкнувшись с принятыми у немцев обычаями застолья: «...А то еще жареные пескари, коими упомянутый австрийский господин мой сорил по столу... Следует также заметить, что, как только подавали новое блюдо, каждый хватал не медля, и порою ничтожнейший приступал к еде первым»<sup>3</sup>.

Следующий пример участия традиции в поддержке оценок относится к области коммуникации. Одним из важных принципов, регулирующих в процессе коммуникации отношения между «я» и «другими», является *принцип вежливости*. Этот принцип всецело принадлежит речевому этикету и требует удовлетворения следующих максим: (1) максимы такта (Соблюдай интересы другого! Не нарушай границ его личной сферы!), (2) максимы великодушия (Не затрудняй других!), (3) максимы одобрения (Не хули других!), (4) максимы скромности (Отстраняй от себя похвалы!), (5) максимы согласия (Избегай возражений!), (6) максимы симпатии (Высказывай благожелательность!). (Эти максимы распространяются не только на речевое общение, но и на другие виды межличностных отношений.) Принцип вежливости опирается в первую очередь на насчитывающую мно-

<sup>1</sup>См.: *Хейзинга Й.* Осень Средневековья. — С. 252.

<sup>2</sup>См.: Там же. — С. 45—46.

<sup>3</sup>См.: Там же. — С. 46.



гие тысячелетия традицию успешной коммуникации. Попытка дедуктивного обоснования данного принципа вряд ли может оказаться успешной: трудно вообразить такие общие социальные требования, из которых удалось бы логически вывести рассматриваемый принцип. Целевое обоснование также едва ли было бы удачным, поскольку не особенно ясны те цели, достижению которых должно способствовать соблюдение принципа вежливости. Кроме того, если даже эти цели будут указаны, трудно ожидать, что с их помощью удастся понять ту чрезвычайную гибкость, которая всегда должна сопутствовать приложению принципа вежливости.

Как подчеркивает Дж.Лич, вежливость по своей природе асимметрична: то, что вежливо по отношению к адресату, может быть некорректным по отношению к говорящему. Например, говорящий считает вежливым сказать собеседнику приятное, слушающий же считает долгом воспитанного человека не согласиться с комплиментом<sup>1</sup>. Требования принципа вежливости способны поставить адресата речи в неловкое положение, между тем как говорящий не должен, следуя этим же требованиям, затруднять его, отводя ему роль экзаменуемого. «Максимы вежливости легко вступают между собой в конфликт, — отмечает Н.Д.Арутюнова. — Такт и вежливость побуждают к отказу от любезных предложений; максима «Не возражай!» требует, чтобы предложение было принято. Если дело касается угощения, то в первом случае адресат останется голодным, а во втором станет жертвой «демьяновой ухи»<sup>2</sup>. Преувеличенная вежливость ведет, как указывает Лич, к комедии бездействия, возникающей в симметричных ситуациях: не желая казаться невежливым, каждый уступает другому дорогу, и в конце концов оба сразу принимают уступку противной стороны. Особенность принципа вежливости в том, что не только его нарушение, но и его неумеренно усердное соблюдение вызывает дискомфорт.

Вряд ли есть такие общие, имеющие долгую историю требования к человеку или к обществу, из которых вытекали бы все эти тонкости в практическом применении принципа вежливости. Маловероятно, что имеются общие, чрезвычайно стабильные цели, необходимостью достижения которых удалось бы объяснить гибкий, требующий постоянного учета контекста прин-

<sup>1</sup>См.: *Leech G.N. Principles of Pragmatics.* — L.: N.Y., 1983. — Ch. 6.

<sup>2</sup>*Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. Истоки, проблемы и категории прагматики // Новое в зарубежной лингвистике.* — Вып. XVI. М., 1985.— С. 27.

цип. Успешная аргументация в его поддержку должна опираться, скорее всего, преимущественно на традицию.

Еще одним способом аргументации, призванной поддерживать оценочные утверждения, является *аргумент к авторитету*. Этот аргумент необходим, хотя и недостаточен, в случае обоснования любых предписаний (команд, директив, законов государства и т.п.). Он важен также при обсуждении ценности советов, пожеланий, методологических и иных рекомендаций и т.п. Данный аргумент должен учитываться при оценке предостережений, просьб, обещаний, угроз и т.п. Несомненна роль авторитета и, соответственно, апелляции к нему едва ли не во всех практических делах.

Следует проводить различие между *эпистемическим авторитетом*, или авторитетом знатока, специалиста в какой-то области, и *деонтическим авторитетом*, авторитетом вышестоящего лица или органа<sup>1</sup>. Аргумент к авторитету, выдвигаемый в поддержку описательного утверждения, — это обращение к эпистемическому авторитету; такой же аргумент, но поддерживающий оценочное утверждение, представляет собой обращение к деонтическому авторитету.

Деонтический авторитет подразделяется на *авторитет санкции* и *авторитет солидарности*. Первый поддерживается угрозой наказания, второй — стремлением достичь поставленную общую цель. Например, за законами государства стоит авторитет санкции; за приказами капитана судна в момент опасности — авторитет солидарности.

Такое подразделение авторитетов не является, конечно, жестким. Скажем, законы государства преследуют определенные цели, которые могут разделяться и гражданами государства; распоряжения капитана, адресованные матросам тонущего судна,

---

<sup>1</sup>«Есть два вида авторитета, — пишет Ю. Бохеньский, — авторитет знатока, специалиста, называемый по-научному “эпистемическим”, и авторитет вышестоящего лица, начальника, называемый “деонтическим”. В первом случае некто является для меня авторитетом, когда я убежден, что он знает данную область лучше меня и что он говорит правду. Например, Эйнштейн для меня — эпистемический авторитет в физике, школьный учитель для своих учеников — эпистемический авторитет в географии. Некто является для меня деонтическим авторитетом, когда я убежден, что смогу достичь цели, к которой стремлюсь, только выполняя его указания. Мастер — деонтический авторитет для работников мастерской, командир отделения — для рядовых и т.д.» (Бохеньский Ю. Сто суеверий. Краткий философский словарь предрассудков. — М., 1993. — С. 15—16).

опираются не только на авторитет солидарности, но и на авторитет санкции.

Два примера, подчеркивающих различие между аргументами к авторитету санкции и авторитету солидарности.

Зороастризм — самая древняя из мировых религий откровения. Корни его уходят в далекое историческое прошлое, особенно активен он был с III в. до н.э. по VII в. н.э. в трех великих Иранских империях. Зороастрийцы верили в жизнь человека после его смерти и переселение его души в подземное царство мертвых, которым правил Йима. В царстве Йимы, рассказывает М.Бойс, души жили словно тени и зависели от своих потомков, которые продолжали пребывать на земле. Потомки должны были удовлетворять их голод и одевать. Приношения для этих целей совершали в определенное время, так, чтобы эти дары могли преодолеть материальные преграды. Обряды первых трех дней после смерти считались жизненно важными и для того, чтобы защитить душу от злых сил, пока она покидает тело, и для того, чтобы помочь ей достичь потустороннего мира. Чтобы оказать возможно большую помощь умершему, семья должна была скорбеть и поститься в течение трех дней, а священнослужитель читать много молитв. Затем следовало кровавое жертвоприношение и ритуальное приношение огню<sup>1</sup>. Все эти обязанности зороастрийцы считали необходимым исполнять под угрозой наказания души умершего в царстве мертвых.

Св. Петр Фома, чувствуя приближение смертного часа, просил завернуть его в мешок, завязать на шее веревку и положить на землю. Он подчеркнуто подражал примеру Франциска Ассизского, который, умирая, тоже велел положить себя прямо на землю. Похороните меня, говорил Петр Фома, при входе на хоры, чтобы все наступали на мое тело, даже коза или собака, ежели они забредут в церковь. Восторженный его ученик, Филипп де Мезьер, стремясь к еще большему самоуничтожению, в изобретательности намерился превзойти своего учителя. В последний час пусть наденут ему на шею тяжелую железную цепь; как только испустит он последний свой вздох, его обнаженное тело пусть за ноги втащат на хоры; там останется он лежать крестом, раскинув в стороны руки, пока его не опустят в могилу, тремя веревками привязанного к доске — вместо богато украшенного гроба. Доску, покрытую двумя локтями холста или грубой льняной ткани, следует дотащить до могилы, куда и будет сброшена, голая как она есть, «падаль, оставшаяся от сего убогого странника». На могиле пусть будет установлено маленькое надгробие<sup>2</sup>. Эти распоряжения, касающиеся церемонии похорон, диктуются верному ученику авторитетом его учителя. Вместе с тем, за пожеланиями как Петра Фомы, так и Мезьера стоит и целевое обоснование: указания относительно того, как будет проходить погребение, должны в обоих случаях с наибольшей выразительностью передать всю недостойность умершего.

Аргумент к авторитету только в редких случаях считается достаточным основанием для принятия оценки. Обычно он сопровождается другими, явными или подразумеваемыми, доводами, и прежде всего — целевым обоснованием.

Нормы, в отличие от других оценок, всегда требуют указания того авторитета, которому они принадлежат. Это указание не является таким же элементом нормы, как ее субъект, содер-

<sup>1</sup>См.: Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. — М., 1988. — С. 21—22.

<sup>2</sup>См.: Хейзинга Й. Осень Средневековья. — С. 197—198.

жание, характер и условия приложения. Оно входит в качестве необходимой составной части в предполагаемую нормой санкцию. При обсуждении нормы возникает вопрос о том, стоит ли за нею какой-то авторитет и правомочен ли он обязывать, разрешать или запрещать. Если авторитет отсутствует или не обладает достаточными полномочиями, нет и возможного наказания за неисполнение нормы, значит, нет и самой нормы. Вопрос об авторитете, стоящем за нормой (и, соответственно, о поддерживающем ее аргументе к авторитету) не единственный, если речь идет об аргументации в поддержку норм.

На эту сторону дела обращает внимание, в частности, К. Поппер. «Тот факт, что бог или любой другой авторитет велит мне делать нечто, — пишет Поппер, — не гарантирует сам по себе справедливости этого веления. Только я сам должен решить, считать ли мне нормы, выдвинутые каким-либо авторитетом (моральным), добром или злом. Бог добр, только если его веления добры, и было бы серьезной ошибкой — фактически неморальным принятием авторитаризма — говорить, что его веления добры просто потому, что это — его веления. Конечно, сказанное верно лишь в том случае, если мы заранее не решили (на свой собственный страх и риск), что бог может велеть нам только справедливое и доброе»<sup>1</sup>.

Никакое обращение к авторитету, и даже к религиозному авторитету, не может избавить от дальнейшего обоснования нормы.

В качестве такого обоснования Поппер предлагает целевое обоснование, опирающееся на регулятивную идею абсолютной «справедливости» или абсолютного «добра». Попперу представляется, что именно эта идея, действующая в мире норм, является аналогом идеи истины, действующей в мире фактов<sup>2</sup>.

Предложение Поппера чрезмерно упрощает ситуацию. В мире норм нет аналога истины, который позволил бы обосновывать нормы подобно тому, как обосновываются фактические (описательные) утверждения, а именно — путем сопоставления с действительностью. Целевое обоснование нормы обычно следует за приводимым в ее поддержку аргументом к авторитету, но оно не является единственно возможным дальнейшим шагом в ее обосновании. Для многих норм, в частности норм, касающихся ритуала, моды, правил игры, грамматики и т.п.,

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — М., 1983. — С. 401.

<sup>2</sup>См.: Там же. — С. 399—400.

целевое обоснование не является ни обязательным, ни сколь-нибудь надежным.

Из многих ошибочных суждений, связанных с аргументом к авторитету, можно выделить два: резкое противопоставление авторитета и разума; смешение деонтического авторитета с эпистемическим.

На первую ошибку уже обращалось внимание при обсуждении способов контекстуальной аргументации. Ограничимся поэтому несколькими простыми примерами, приводимыми Ю. Бохеньским в опровержение предрассудка, будто авторитет и разум — вещи, противоречащие друг другу. На самом деле прислушиваться к авторитету — значит вести себя чаще всего вполне благоразумно. Если, к примеру, мать говорит ребенку, что существует большой город Варшава, ребенок поступает разумно, считая это правдой. Столь же разумно поступает пилот, когда верит метеорологу, сообщаящему, что в эту минуту в Варшаве высокое давление, западный ветер скоростью 15 узлов. Знания авторитета в обоих случаях превосходят знания ребенка или пилота. Более того, даже в науке мы прибегаем к авторитету. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на обширные библиотеки, имеющиеся в любом научном институте. Книги в этих библиотеках чаще всего содержат обзоры результатов, полученных другими учеными, то есть высказывания эпистемических авторитетов. Подчинение авторитету, например, капитану судна, иногда оказывается наиболее разумной позицией. «Утверждение о том, что авторитет и разум всегда противоречат друг другу, является предрассудком»<sup>1</sup>.

Что касается ошибки смешения деонтического авторитета с эпистемическим, то она настолько проста, хотя и обычна, что достаточно указать на нее и привести дискредитирующие ее примеры. Многие полагают, говорит с иронией Бохеньский, что тот, у кого есть власть, то есть деонтический авторитет, имеет также и авторитет эпистемический, так что может поучать своих подчиненных, например, по проблемам астрономии. Бохеньский вспоминает, что когда-то был свидетелем «доклада» военного чина, ничего не смыслившего в астрономии, причем доклад был сделан в подразделении, где служил стрелком доцент астрономии. «Иногда жертвами этого предрассудка становятся и выдающиеся личности. В качестве примера можно привести

<sup>1</sup> Бохеньский Ю. Сто суеверий. — С. 16—17.

св. Игнатия Лойолу, основателя Ордена иезуитов, который в известном письме к португальским отцам церкви потребовал, чтобы они «подчинили свой разум вышестоящему лицу», то есть деонтическому авторитету»<sup>1</sup>.

Существенную роль в аргументации в поддержку оценок играет *аргумент к интуиции*. Еще Платон говорил об интеллектуально-интуитивном познании идей, и прежде всего идеи блага, как высшей ступени познания и нравственного возвышения. Кембриджские платоники, которых возглавлял Б.Уичкот и в группу которых входили Р.Кэдворт, Г.Мор, Дж.Смит и др., считали рациональную интуицию основным, если не единственным, средством познания моральных ценностей. В частности, Кэдворт полагал, что мораль представляет собой единство абсолютных, универсальных, объективных и неизменных (вечных) идей-понятий, не сводимых к неморальным понятиям; познание морали осуществляется посредством особой интеллектуальной интуиции. Позднее, уже в XIX в. Г.Сиджвик объяснял рациональный характер природы морали существованием содержательно определенных, нетавтологических ключевых моральных принципов. Последние звучат так, что ни у кого не вызывает сомнения необходимость исполнения диктуемых ими моральных предписаний. Сами моральные принципы удовлетворяют требованиям содержательной определенности и нетавтологичности, ясности и отчетливости, интуитивной самоочевидности, универсальности и взаимной совместимости. К числу основных принципов Сиджвик относил принципы равенства или справедливости (беспристрастности в применении общих правил морали к поведению разных людей), разумного себялюбия и рациональной благожелательности. Последние два принципа регламентируют отношение человека к личному и универсальному благу. Смысл требования разумного себялюбия в том, что человек не должен без основания предпочитать осуществление личного блага в настоящем (не должен, так сказать, «жить одним моментом»). Требование благожелательности сводится к тому, что человек не должен без основания предпочитать осуществление личного блага осуществлению большего блага другого человека (не должен «жить только ради себя»). Поскольку эти сущностные моральные принципы самоочевидны, их познание носит интуитивный характер<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Там же. — С. 18.

<sup>2</sup>См.: *Sidgwick H. Methods of Ethics.* — L., 1903.

Интуиция играет существенную роль в морали, особенно в сложных моральных ситуациях, когда мотивы действий человека и их результаты неоднозначны. Однако сведение всей морали к тому, что кажется интуитивно очевидным, вряд ли способно подвести под нее твердый фундамент. Прежде всего, те принципы, которые предлагаются в качестве исходных и самоочевидных, в действительности далеки от очевидности и сами требуют обоснования. Кроме того, из общих требований, подобных требованиям беспристрастности, разумного себялюбия, рациональной благожелательности и т.д., явно не вытекает вся сложная, дифференцированная и очень гибкая система морали. Те, кто предлагает свести мораль к немногим самоочевидным положениям, явно переоценивают надежность и силу моральной интуиции.

Важное значение имеет интуиция при выборе *номинальных определений* и *конвенций*. Последствия, к которым может привести со временем принимаемое соглашение, как правило, не вполне ясны, многие из них заранее невозможно предвидеть. Целевое обоснование соглашения способно опереться только на самые очевидные последствия и потому является неполным и ненадежным. Необходимым дополнением к такому обоснованию всегда служит интуиция.

Во многом на интуицию опираются советы, пожелания, рекомендации и т.п.

Вера упрощенно может быть определена как состояние организма, вызывающее такое же поведение, какое вызвало бы определенное событие, если бы оно было дано в ощущении<sup>1</sup>. *Аргумент к вере* — это ссылка на это особое состояние организма, или «души», в поддержку выдвигаемого положения. Чаще всего данный аргумент не выражается явно, а только подразумевается. Он кажется убедительным для тех, кто принадлежит к той же вере, испытывает то же состояние души, но не для придерживающихся иных верований.

Идеалом И.Бентама, как и Эпикура, была безопасность человека, а не его свобода. Вера Бентама, что жить надо в безопасности и спокойствии, заставляла его восхищаться благожелательными самодержцами, предшествовавшими Французской революции: Екатериной Великой и императором Францем. Бентам глубоко презирал связанное с идеей свободы учение о правах человека. Права человека, говорил он, — это явная чепуха, неотъемлемые права человека — чепуха на ходулях. Декларацию прав человека, разработанную французскими революционерами, он назвал «метафизическим произведением». Ее положе-

<sup>1</sup>См. об этом: *Рассел Б.* История западной философии. — М., 1993. — Т. II. — С. 337.

ния, говорил он, можно разделить на три класса: невразумительные, ложные и как невразумительные, так и ложные. «О войнах и штормах лучше всего читать, жить лучше в мире и спокойствии», — с этой идеей Бентама охотно согласится тот, кто, как и он, верит в безопасность и не верит в свободу и необходимость постоянной борьбы за нее.

Вера как состояние души одного человека воздействует на ум и чувства другого человека. Вера способна заражать, и эта ее заразительность иногда оказывается более убедительным аргументом, чем любое доказательство. Средневековый философ Ориген, в частности, говорил, что для Евангелия существуют доказательства, способные удовлетворить даже ум, воспитанный на строгой греческой философии. Но, продолжал он, «в Евангелии заключено и свое собственное доказательство, более божественное, чем любое доказательство, выводимое при помощи греческой диалектики. Этот более божественный метод назван апостолом “проявлением духа и силы”; “духа”, ибо содержащиеся в Евангелии пророчества сами по себе достаточны, чтобы вызвать веру в любом человеке, читающем их, особенно в том, что относится к Христу; и “силы”, ибо мы должны верить, что те знамения и чудеса, о которых рассказывается в Евангелии, действительно имели место, по многим причинам, а также потому, что следы их все еще сохраняются в людях, ведущих свою жизнь в соответствии с наставлениями Евангелия»<sup>1</sup>. «Божественный» метод доказательства через «проявление духа и силы» представляет собой, по сути, аргумент к вере, очень убедительный для тех, кто ее разделяет. Пророчества сами держатся на вере, хотя и способны подкреплять ее в случае своего подтверждения; тем более это относится к знамениям и чудесам. Устанавливаемое Оригеном соотношение веры и демонстрации «духа и силы» следует перевернуть: не эта демонстрация вызывает веру, а наоборот, твердая, безусловная вера не может проявиться иначе, как через «дух и силу» верования. В дальнейшем «дух и сила» верующего способны оказать собственное воздействие на других и склонить их к принятию его веры.

*Аргумент к здравому смыслу*, вместе с аргументом к традиции, лежит в основе почти всех практических решений. На здравый смысл опираются по преимуществу и те неясные и редко формулируемые принципы, которыми человек руководствуется в своей обычной жизни. Если аргумент к здравому смыслу не так часто упоминается в практическом рассуждении, то, пожалуй, только потому, что люди склонны представлять свою

<sup>1</sup> *Origen. Contra Celsum, lib. I, cap. II.*



обычную жизнь в большей мере подчиненной каким-то общим идеям и теоретическим соображениям, чем это есть на самом деле.

Здравый смысл действует не только в области оценок, но и в сфере описаний. Он говорит как о том, какими должны быть человек и общество, так и о том, какой является природа. В частности, он лежит в основе истолкования опыта, свидетельствует о том, что имеются события, не являющиеся ничьим опытом, что со временем и пространством все меняется, что «факты — упрямая вещь» и не могут быть подтасованы, и т.д.

В отличие от здравого смысла *вкус* относится исключительно к сфере ценностей, а *аргумент к вкусу* — к выбору оценок.

Аргумент к вкусу чаще, чем аргумент к здравому смыслу, является *прямым*, выраженным как отдельный довод в процессе аргументации.

«...Две катастрофы, между которыми поэзия должна выбирать, — пишет Ф.Шлегель, — весьма различны по своему характеру. Если она будет направлена больше на эстетическую энергию, то вкус, все более притупляясь от привычных раздражителей, будет стремиться к раздражителям все более сильным и острым и вскоре перейдет к пикантному и потрясающему. *Пикантно* то, что судорожно возбуждает притупившиеся ощущения, *потрясающее* — такой же возбудитель воображения. Все это предвестия близкой смерти. *Пошлость* — скудная пища бессильного вкуса, *шокирующее* — авантюрное, отвратительное или ужасное — последняя конвульсия отмирающего вкуса. Напротив, если преобладающей тенденцией вкуса является философское содержание и природа достаточно сильна, чтобы выдержать самые сильные потрясения, то творческая сила, исчерпав себя в порождении безмерной полноты интересного, поневоле должна будет собраться с духом и перейти к созданию объективного. Поэтому подлинный вкус в нашу эпоху возможен не как подарок природы или плод одной лишь культуры, но только при условии великой нравственной силы и твердой самостоятельности»<sup>1</sup>. В этом эстетическом рассуждении о двух возможных путях развития поэзии аргумент к вкусу («к подлинному вкусу», каким он всегда и является) выступает решающим доводом в поддержку второй из возможных конечных целей поэзии. Эта цель — высшая красота, максимум объективного эстетического содержания. Только на этом пути, требующем силы и самостоятельности, вкус способен сохраняться и совершенствоваться. Если же поэзия будет стремиться к интересному, то есть к индивидуальному, имеющему повышенное количество эстетической энергии, то вкус неизбежно притупится и выродится.

Более обычно и в некотором смысле более интересно *косвенное* использование аргумента к вкусу, когда другие аргументы излагаются так, чтобы своей совершенной формой убеждать в правильности сказанного.

Из всех видов иронии Ф.Шлегель выше всего ставит сократовскую иронию — постоянное пародирование утверждающим самого себя, когда вновь

<sup>1</sup>Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. — М., 1983. — С. 116.

и вновь нужно то верить, то не верить. «Сократовская ирония, — пишет Шлегель, — единственное вполне произвольное и вместе с тем вполне обдуманное притворство. Одинаково невозможно как измыслить ее искусственно, так и изменить ей. У кого ее нет, для того и после самого откровенного признания она останется загадкой. Она никогда не должна вводить в заблуждение, кроме тех, кто считает ее иллюзией и либо радуется этому великолепному лукавству, подсмеивающемуся над всем миром, либо злится, подозревая, что и его имеют при этом в виду. В ней все должно быть шуткой и все всерьез, все чистосердечно откровенным и все глубоко сокрытым. Она возникает, когда соединяются понимание жизни и научный дух, совпадают законченная философия жизни и законченная философия искусства»<sup>1</sup>. Эстетическое впечатление, производимое этим описанием сократовской иронии, должно способствовать высокой оценке такой иронии и в особенности ее глубины и остроты.

Ф.Шафф говорит о Христе: «Его усердие никогда не оборачивалось пристрастием, Его постоянство — упрямством, Его добросердечие — слабостью, Его нежность — чувствительностью. Его неземная природа была свободна от безразличия и нелюдимости, Его достоинство — от гордости и самодовольства, Его дружелюбие — от фамильярности, Его самоотречение — от мрачности, Его сдержанность — от суровости. Он сочетал детскую невинность с мужеством, всепоглощающую преданность Богу с неустанным интересом к благоденствию людей, любовь к грешникам — с непримиримым осуждением греха, властное достоинство — с чарующей скромностью, бесстрашие и отвагу с обаятельной мягкостью»<sup>2</sup>. Здесь косвенный аргумент к эстетическому и моральному вкусу призван внушить позитивное впечатление о личности Христа и его деятельности.

И последний пример косвенного аргумента к эстетическому вкусу. «Каждый развитый язык, — пишет О.Шпенглер, — располагает рядом слов, как бы окутанных глубокой тайной: рок, напасть, случай, стечение обстоятельств, предназначение. Никакая гипотеза, никакая наука не в силах вообще прикоснуться к тому, что чувствует человек, погружаясь в смысл и значение этих слов. Это символы, а не понятия. Здесь центр тяжести той картины мира, которую я назвал миром—как—историей, в отличие от мира—как—природы. Идея судьбы требует опыта жизни, а не научного опыта, силы созерцания, а не калькуляции, глубины, а не ума. Есть *органическая логика*, инстинктивная, сновидчески достоверная логика всякой жизни, в противоположность *логике неорганического*, логике понимания, понятого. Есть логика направления, противостоящая логике протяженного... Каузальность есть нечто рассудочное, законосообразное, выговариваемое вслух, признак всего нашего понимающего бодрствования. “Судьба” — это слово для не поддающейся описанию внутренней достоверности. Сущность каузального проясняется физической или теоретико-познавательной системой, числами, понятийным анализом. Идею судьбы можно сообщить, только будучи художником, — через портрет, через трагедию, через музыку. Одно требует различения, стало быть, разрушения; другое есть насквозь *творчество*. В этом кроется связь судьбы с жизнью, каузальности со смертью»<sup>3</sup>. Шпенглеровское противопоставление идеи судьбы и принципа каузальности не оригинально, достаточно декларативно и не опирается на какие-либо ясно выраженные аргументы. Но это противопоставление запоминается благодаря той форме, в какой оно представлено.

<sup>1</sup>Там же. — С. 286—287.

<sup>2</sup>Цит. по: Мак-Дауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства. — М., 1990. — С. 115.

<sup>3</sup>Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993. — С. 273.

Косвенный аргумент к вкусу обычен у проповедников, моралистов, в эстетике, художественной критике и др. Многие выдающиеся философы были также блестящими писателями. В частности, А.Бергсон, Б.Рассел, Ж.-П.Сартр и Э.Камю — лауреаты Нобелевской премии по литературе.

## 7. Принципы морали

Особый интерес для теории аргументации представляют *принципы*, или *нормы*, *морали*.

Мораль — гениальное изобретение человечества, стоящее в одном ряду с языком и религией. Мораль, сложившаяся исторически, существует тысячелетия. Благодаря чему она держится? Чему она служит? Можно ли быть если не доказательным, то хотя бы убедительным в моральном рассуждении? На эти и подобные вопросы существует множество ответов, ни один из которых не кажется, однако, достаточно обоснованным. Споры о природе и особенностях моральной аргументации пронизывают всю историю философии. Расхождения мнений настолько велики, что нет единства даже в ответе на вопрос: подчиняется ли моральная аргументация требованиям логики?

В Новое время, когда мораль стала постепенно утрачивать религиозные основания, начало вызревать недовольство традиционной системой морали. Многим философам она представлялась аморфной, недостаточно последовательной и не имеющей сколь-нибудь твердых, апробированных разумом оснований. Были предложены десятки искусственных «моральных систем», или «этик», опирающихся будто бы на ясные исходные принципы и претендующих на замещение традиционной системы морали. Ни одно из этих построений не только не прижилось, но и не оказало даже минимального воздействия на реальную моральную практику. Вместе с тем попытки сконструировать «совершенную мораль», соответствующую высоким, возможно даже научным, образцам обоснованности, постоянно стимулировали интерес к природе и своеобразию моральной аргументации. Другое дело, что этот интерес не привел, в сущности, ни к каким однозначным результатам.

Тема моральной аргументации, никогда не уходившая из поля зрения философии и теории аргументации, по-прежнему остается неясной и, судя по всему, такой останется еще долго.

Далее будут сделаны общие замечания относительно своеобразия моральных принципов и стандартных способов аргумен-

тации в их поддержку. Как отмечал Р.Хеар, начать с природы этической дискуссии значит войти в самое сердце этики<sup>1</sup>.

Этика, в отличие от, скажем, математики или физики, не является точной наукой. Бытует мнение, что она в принципе не может быть такой наукой. Многие современные философы убеждены, что этика вообще не наука и никогда не сможет стать ею. Вот как выразил эту мысль Л.Витгенштейн в прочитанной им однажды лекции по этике: «...Когда я задумываюсь над тем, чем действительно являлась бы этика, если бы существовала такая наука, результат кажется мне совершенно очевидным. Мне представляется несомненным, что она не была бы ни чем, что мы могли бы помыслить или высказать... Единственное, что мы можем, — это выразить свои чувства с помощью метафоры: если бы кто-то смог написать книгу по этике, которая действительно являлась книгой по этике, эта книга, взорвавшись, разрушила бы все иные книги мира. Наши слова, как они используются в науке, являются исключительно сосудами, способными вместить и перенести значение и смысл, естественные значения и смысл. Этика, если она вообще чем-то является, сверхъестественна»<sup>2</sup>.

Язык морали — особый язык. Своеобразие морального рассуждения связано прежде всего с тем, что в нем используются моральные оценки и нормы. Действительно ли эти специфические составляющие имеют значение, несовместимое с обычным, или естественным, значением слов?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, нужно прояснить основные особенности моральных оценок и норм.

Моральные оценки, как и все другие, могут быть *абсолютными* и *сравнительными* («Ложь морально предосудительна» и

<sup>1</sup>См.: Hare R.M. Language of Morals. — Oxford, 1952. — P. 3.

<sup>2</sup>Wittgenstein L. Lecture on Ethics // Philosophical Review. — 1965. — V. 17. — N 1. P. 7.

Мнение Витгенштейна о невозможности этики и противопоставление ее естественным наукам, допускающим достаточно надежное обоснование, противоречит многовековой философской традиции. Еще не так давно, а именно в конце XVII века, столь же распространенным было прямо противоположное убеждение. Наиболее яркое выражение оно нашло в философии Спинозы, предпринявшего грандиозную попытку построить этику по образцу геометрии. Современник Спинозы, Локк, никогда не сомневался в возможности научной этики, столь же очевидной и точной, как и математика. Он полагал, сверх того, что — несмотря на работы «несравненного мистера Ньютона» — естественная наука невозможна. Отстаивая возможность строгой и точной этики, Спиноза и Локк не были оригинальны. Они только поддерживали и продолжали старую философскую традицию, у истоков которой стояли Сократ и Платон.

«Морально прощительнее лгать дальнему, чем ближнему»). В моральном рассуждении гораздо более употребительны, однако, абсолютные оценки. Каких-либо стандартных формулировок моральных оценок не существует, обороты «морально хорошо», «морально предосудительно», «морально предпочтительнее» и т.п. звучат искусственно. Является ли какая-то оценка моральной, определяется обычно контекстом ее употребления, а не ее формулировкой.

Нормы представляют собой частный случай оценок, соответственно, моральные нормы являются частным случаем моральных оценок. Особенности моральных норм во многом связаны со своеобразием стоящих за ними санкций. Моральное наказание не фиксируется жестко, оно является не только внешним («моральное порицание»), но и внутренним («угрызения совести»). Такое наказание по своему характеру занимает, как кажется, промежуточное положение между правовыми санкциями, санкциями за нарушение правил игры и санкциями за нарушение технических (целевых) норм.

«Чистые» моральные суждения, представляющие собой собственно моральную оценку или норму, встречаются редко. Обычно моральные оценки (нормы) входят в рассуждение в форме оценок (норм) других видов, составляя их своеобразный аспект. Граница между моральной и иной оценкой не является четкой; оценка (норма) едва ли не каждого вида может выражать также моральную оценку (норму). Это означает, что понятие «моральное рассуждение» — несомненная идеализация.

Ранее уже говорилось, что «чистые» оценки не так часты, как это обычно представляется. Гораздо более употребительны двойственные, *описательно-оценочные* (или дескриптивно-прескриптивные) выражения. В зависимости от ситуации они или описывают, или оценивают. Но нередко даже знание ситуации не позволяет с уверенностью сказать, какую из этих двух функций выполняет рассматриваемое выражение<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Еще Сократ столкнулся с затруднением, связанным с возможностью и истинностной, и ценностной интерпретации одного и того же утверждения. На вопрос, может ли справедливый человек однажды совершить несправедливый поступок, он отвечал, что нет: если это произойдет, человек перестанет отвечать идее справедливого. Сократ придерживался ценностного подхода и шел от идей к вещам. В рамках же истинностного подхода такая ситуация вполне возможна. Не случайно Л.Шестов писал, что «сократовское уверение, будто с дурным не может приключиться ничего хорошего, а с хорошим — ничего дурного, есть “пустая болтовня” и “поэтический образ”» (*Шестов Л. Скованный Парменид. Париж, 1927. С. 50—51*).

Простым и наглядным примером такой двойственности могут служить определения толковых словарей. Задача словаря — дать достаточно полную картину стихийно сложившегося употребления слов, описать те значения, которые придаются им в обычном языке. Но составители словарей ставят перед собой и другую цель — нормировать и упорядочить обычное употребление слов, привести его в определенную систему. Словарь не только описывает, как реально используются слова. Он указывает также, как они должны правильно употребляться. Описание он соединяет с требованием.

Еще одним примером двойственных выражений являются, как указывает П.Стросон, правила грамматики: они описывают, как функционирует язык, и вместе с тем предписывают, как правильно его употреблять<sup>1</sup>. Если в определениях толковых словарей ярче выражена их дескриптивная роль, то в правилах грамматики доминирует их прескриптивная функция.

Почти все определения, употребляемые в науке, также являются дескриптивно-прескриптивными. Именно поэтому трудно провести границу между реальными определениями, описывающими некоторые объекты, и номинальными определениями, требующими наличия у объектов каких-то свойств.

Моральные принципы также относятся к двойственным выражениям. В них содержится описание сферы моральной жизни и опосредствованно тех сторон жизни общества, одним из обнаружений которых является мораль. Этими же принципами предписываются определенные формы поведения, требуется реализация известных ценностей и идеалов.

Нередко это противоречивое единство описания и предписания разрывается, и моральным принципам дается либо дескриптивная, либо прескриптивная интерпретация. Характерны в этом плане споры по поводу истинности данных принципов.

Те, кто считает их описаниями или прежде всего описаниями, убеждены, что понятия истины и лжи приложимы к ним точно в том или же несколько модифицированном смысле, что и к остальным описаниям. Нередко в качестве дополнительного аргумента утверждается, что, если бы моральные принципы не были связаны с истиной, то ни одну моральную систему нельзя было бы обосновать, и все такие системы оказались бы

---

<sup>1</sup>См.: *Strawson P.F. The Different Conceptions of Analytical Philosophy // The Linguistic Turn. — Chicago ; London, 1975. — P. 87.*

равноправными. Эта ссылка на угрозу релятивизма и субъективизма в морали очевидным образом связана с убеждением, что объективность, обоснованность и тем самым научность необходимо предполагают истинность, и что утверждения, не допускающие квалификации в терминах истины и лжи, не могут быть ни объективными, ни обоснованными, ни научными. Это убеждение — характерная черта того устаревшего стиля теоретизирования, который был присущ XVII—XVIII вв.

Авторы, подчеркивающие регулятивную, проектирующую функцию моральных принципов и считающие главным не дескриптивное, а прескриптивное их содержание, полагают, что к этим принципам неприменимо понятие истины. Нередко при этом, чтобы избежать релятивизма и иметь возможность сопоставлять и оценивать разные системы морали, взамен истины вводится некоторое иное понятие. Его роль — быть как бы «заменителем» истины в сфере морали и показывать, что хотя понятие истины не применимо к морали, она, тем не менее, как-то связана с действительностью, и в ней возможны некоторые относительно твердые основания. В качестве таких «суррогатов» истины предлагались понятия «правильность», «значимость», «целесообразность», «выполнимость» и т.п.

Ни один из этих подходов к проблеме истинности моральных принципов не является, конечно, обоснованным. Каждый представляет собой попытку разорвать то противоречивое дескриптивно-прескриптивное единство, каким является моральный принцип, и противопоставить одну его сторону другой.

Первый подход предполагает, что в терминах истины может быть охарактеризована любая форма отображения действительности человеком, и что там, где нет истины, нет вообще обоснованности и все является зыбким и неопределенным. С этой точки зрения добро и красота являются всего лишь завуалированными формами истины.

Очевидно, что такое расширительное толкование истины лишает сколь-нибудь ясного смысла не только те понятия, которые она призвана заместить, но и ее саму.

В случае второго подхода уже сама многочисленность предлагаемых «суррогатов» истины, их неясность, их короткая жизнь, отсутствие у них корней в истории этики, необходимость для каждой формы отображения действительности, отличной от чистого описания, изобретать свой особый «заменитель» истины говорят о том, что на этом пути не приходится ожидать успеха.

Проблема обоснования моральных принципов — это проблема раскрытия их двойственного, дескриптивно-прескриптивного характера. Принцип морали напоминает двуликое существо, повернутое к действительности своим регулятивным, оценочным лицом, а к ценностям — своим «действительностным», истинностным лицом: он оценивает действительность с точки зрения ее соответствия ценности, идеалу, образцу и одновременно ставит вопрос об укорененности этого идеала в действительности<sup>1</sup>.

Аналогичную дескриптивно-прескриптивную природу имеют, как указывалось, и обычные законы науки. Но если у моральных принципов явно доминирует прескриптивное, оценочное начало, то у научных законов ведущим обычно является описательный момент.

Таким образом, проблема не в том, чтобы заменить добро в области этики истиной, и не в том, чтобы заместить добро чем-то, что напоминало бы истину и связывало бы, подобно ей, мораль с действительностью. Задача в выявлении взаимосвязи и взаимодополнения истины и добра, в выявлении их взаимоотношений с другими этическими категориями.

Если под «обычным», или «естественным», значением утверждения понимается, как это нередко бывает, его описательное значение, то ясно, что моральные принципы не имеют, строго говоря, такого значения: они описывают, но лишь для того, чтобы эффективно оценивать, и оценивают, чтобы адекватно описывать. Функции описания и оценки — диаметрально противоположны. Однако вряд ли оправданно говорить на этом основании о какой-то особой «неестественности» значения моральных принципов. Двойственный, дескриптивно-прескриптивный характер имеют не только они, но и многие другие языковые выражения, включая и самые обычные научные законы.

---

<sup>1</sup>Можно отметить, что многое из того, что рождается в человеческой душе, является двойственным в том же смысле, в каком двойственна мораль. «Душа, — писал К. Юнг, — это переход, и поэтому нужно ее рассматривать в двух аспектах. С одной стороны, она дает образ, составленный из обрывков и следов всех прошлых событий, с другой — набрасывает нам в том образе контуры будущих событий, поскольку душа сама создает свое будущее» (*Jung C. G. On Psychological Understanding // Journal of Abnormal Psychology. — 1915. — P. 391.*) Исправляя теорию толкования снов З. Фрейда, Юнг указывал, в частности, что каждое сновидение выражает желания, испытанные в прошлом, но обращено также к будущему и указывает на цели и стремления человека, видящего сон. Полное толкование сна должно включать «проспективное» и «ретроспективное» его истолкования.



Тем не менее определенная потенциальная опасность, связанная с двойственностью моральных принципов, существует. Она обнаруживает себя, когда эти принципы истолковываются либо как чистые описания, либо как чистые оценки (предписания). В первом случае значение понятия «описательное утверждение» оказывается настолько размытым, что «книга по этике» становится в известном смысле опасной для обычных научных книг. Во втором случае вместо «книги по этике» появляется перечень достаточно произвольных предписаний, связанных скорее с господствующей идеологией, чем с моралью.

Из сказанного о природе моральных принципов можно сделать некоторые выводы, имеющие отношение к теме моральной аргументации.

Прежде всего — о так называемой логике морального рассуждения. Можно ли о морально хорошем и плохом, обязательном и запрещенном рассуждать логически последовательно и непротиворечиво? Можно ли быть логичным в области этики? Вытекают ли из одних моральных оценок и норм другие моральные оценки и нормы? На эти и связанные с ними вопросы отвечают логика оценок и логика норм, показывая, что рассуждения о ценностях не выходят за пределы логического и могут успешно анализироваться и описываться с помощью обычных методов формальной логики. Несколько сложнее вопрос о логических связях двойственных, описательно-оценочных выражений, к числу которых относятся и моральные принципы. Этот вопрос пока не обсуждался специально, но интуитивно очевидно, что моральное рассуждение, как и чисто оценочное рассуждение, подчиняется требованиям логики. Поскольку эти требования распространяются на весь класс описательно-оценочных утверждений, особой логики морального рассуждения не существует.

• Второе. Одно время важное значение придавалось разграничению этики и метаэтики. Первая истолковывалась как система моральных норм, предписывающих определенное поведение, вторая — как совокупность описательных утверждений о таких нормах, прежде всего об их существовании или «пребывании в силе». Нормативная этика считалась ненаучной и не допускающей обоснования из-за отсутствия связи моральных норм и фактов. Описательная этика (метаэтика) трактовалась как обычная эмпирическая дисциплина.

Противопоставление прескриптивного и дескриптивного имело место в этике всегда, хотя и не в столь резкой форме проти-

вопоставления «ненаучного» и «научного». В основе противопоставления лежит двойственный характер моральных принципов: (нормативная) этика истолковывает их как чистые предписания, метаэтика — как описания или основу для них. Обе эти интерпретации морали односторонни и ущербны. Между двумя основными функциями моральных принципов нет ясной границы, даже контекст использования не всегда позволяет ее провести. Это означает, что (нормативная) этика и (описательная) метаэтика также не могут быть эффективно отграничены друг от друга, при условии, что обе они не оказываются искусственными построениями и сохраняют связь с реальной моралью. Этика и метаэтика — два крайних полюса, между которыми движутся и к которым с разной силой тяготеют конкретные этические теории.

Третье. Моральное рассуждение — весьма своеобразная разновидность гуманитарного рассуждения. Моральная аргументация обычно чрезвычайно свернута, а принятие морального решения нередко выглядит как спонтанное движение души.

«Далеко не все коллизии долга, а возможно, и ни одна, — пишет К.Юнг, — на самом деле окажутся «разрешены», даже если о них дискутировать и аргументировать до второго пришествия. В один прекрасный день решение просто объявится, очевидно, как результат своего рода короткого замыкания»<sup>1</sup>. Причину того, что принимаемое моральное решение трудно или даже невозможно мотивировать, Юнг видит в том, что глубинную основу морали составляют не поддающиеся рефлексии инстинкты. «Инстинкты *a priori* представляют собою те наличные динамические факторы, от которых в конечном счете зависят этические решения, принимаемые нашим сознанием. Это есть нечто бессознательное, и о смысле его не существует никакого окончательного мнения. Об этом возможно иметь лишь предварительное мнение, ибо нельзя окончательно постигнуть свое собственное существо и положить ему рациональные границы»<sup>2</sup>.

Свернутость моральной аргументации и морального решения объясняется, скорее, не таинственными инстинктами, а тем, что в основе их лежат моральные схемы, ушедшие в глубины сознания, действующие почти автоматически и не требующие размышления при своем применении. Человек, принимающий

<sup>1</sup>Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. — М., 1992. — С. 292.

<sup>2</sup>Там же. — С. 275.

моральное решение, редко в состоянии внятно объяснить, чем именно он руководствовался и исходя из каких принципов одобрял или осуждал тот или иной способ поведения. Общие схемы морального решения, подобно законам логики, усваиваются стихийно и действуют, минуя сознание и размышление. Если такое рассуждение и приводится, оно нередко имеет к принятому решению внешнее отношение, оправдывая задним числом то, что принято независимо от него.

Именно на эту непосредственность и неразвернутость морального выбора и решения во многом опираются и н т у и т и в и з м в этике, отстаивающий существование особой моральной интуиции, и с е н т и м е н т а л и з м, постулирующий наличие у человека особого морального чувства.

Как бы ни обстояло дело с моральной интуицией и моральным чувством и их связью с моральным рассуждением, очевидно, что моральная аргументация представляет собой по преимуществу сферу намеков, иносказаний, притч, примысленных задним числом оправданий и т.п.<sup>1</sup>

В заключение этого раздела рассмотрим в качестве примера те многообразные аргументы, которые в принципе могут быть приведены в поддержку конкретного морального принципа.

Одним из наиболее категоричных принципов морали является норма, запрещающая лишать жизни другого человека. Социальное значение этой нормы не вызывает сомнений, и обычно она формулируется в виде лаконичного прямого приказа: «Не убей!» Другие возможные формулировки: «Человек не должен убивать другого человека», «Должно быть так, что человек не лишает жизни других людей» и т.п.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Моральная аргументация и моральные поучения почти всегда требуют особого истолкования и понимания. «Христу, например, влагают в уста следующие слова: “Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби”. Зачем нужна змеиная мудрость? И как относится она к голубиной чистоте? “Если не будете как дети...” Кто думает о том, каковы дети на самом деле? Какой моралью обосновал Господь узурпацию того осла, который понадобился ему, чтобы въехать, подобно триумфатору, в Иерусалим? И кто в конце концов выказывал прихоти, подобно ребенку, кто проклял смоковницу? Какая мораль следует из слов нечестивого домохозяина и какое глубокое и важное в нашем положении знание несут в себе слова Господа, содержащиеся в одном из апокрифов: “Человек, ежели ведаешь ты, что творишь, так праведен ты, а ежели не ведаешь, так проклят и нарушитель закона ты”? Что, наконец, означает признание Павла: “Зло, коего не желал я, совершил я”?» (Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. — С. 277).

<sup>2</sup>Об этом принципе см.: *Ossowska M. Normy moralne. Próba systematyzacji.* — Warszawa, 1970. — S. 31—50.

Обоснование морального принципа должно начинаться с уточнения его значения, определения тех ситуаций, на которые простирается его действие, и тех, к которым он не применим. В частности, в нашем примере необходимо уточнить понятие убийства как насильственного лишения жизни. Шантаж, угрозы и т.п. могут оказаться причиной преждевременной смерти, но едва ли здесь можно говорить даже о неумышленном убийстве.

Существенную роль в прояснении, а тем самым и в последующем обосновании принципа «Не убей» играет перечисление признаваемых исключений из него.

Во-первых, в современной Европе не принято морально осуждать как убийцу того, кто лишает жизни самого себя. В недавнем прошлом ситуация была иной: во многих европейских странах попытка самоубийства считалась не только морально предосудительной, но и уголовно наказуемой. Христианская религия осуждала самоубийство, убеждая, что только Бог, давший нам жизнь, может ее отобрать. Некоторые античные философы рассматривали самоубийство как наиболее приемлемый способ ухода из жизни. В средневековой Японии акт харакири был обязанностью, выражающей верность своему господину, протест против клеветы и др. В современном обществе самоубийство может осуждаться, если человек, покончивший с собой, ушел тем самым от каких-то важных своих обязательств, выбрал более легкий, так сказать, путь.

Во-вторых, исключением из принципа «Не убей» считаются случаи насильственного лишения жизни другого человека в условиях защиты своей собственной жизни или жизни своих близких. При этом должна иметь место явная агрессия, уклониться от которой другим способом не удалось бы.

В-третьих, норма «Не убей» не распространяется на противника в случае войны. Однако это исключение применимо не ко всем культурам. Например, эскимосы, не имеющие политической организации, способной поставить всех граждан под ружье, вообще не понимают массового убийства одними людьми других.

В-четвертых, к убийству не принято причислять умерщвление в случае неизлечимой, причиняющей большие страдания болезни. Однако здесь общего согласия нет: врачей, помогающих своим смертельно больным пациентам уйти из жизни, иногда отдают под суд.

В-пятых, к убийству иногда не относят безболезненное лишение жизни детей, появившихся на свет с такими физически-

ми пороками, которые заведомо сделают невозможной их нормальную жизнь. Этот случай еще более спорен в современном обществе, чем предыдущий. Вместе с тем хорошо известны культуры, в которых практика лишения жизни не совсем нормальных детей была обычной.

В-шестых, убийством, как правило, не считается прерывание беременности, хотя в разных странах отношение к нему является разным. В частности, христианская традиция относится к прерыванию беременности резко отрицательно.

И, наконец, в-седьмых, к убийству не причисляется приведение в исполнение вступившего в законную силу смертного приговора. Существуют, как многим представляется, веские аргументы против включения в законодательство норм, позволяющих выносить подобные приговоры. Но если соответствующие нормы все-таки приняты, приведение приговора в исполнение не должно относиться к убийству.

Указанные исключения — обычные ограничения рассматриваемого принципа. Они действуют в определенном регионе и во вполне конкретный период времени. В других местах или в другие отрезки времени исключения могут быть иными. Некоторые из них небесспорны даже для конкретного места и времени. Все это показывает, что принцип «Не убей» не является точным: граница тех ситуаций, в которых он приложим, лишена четкости, размыта. Соответственно, аргументация в поддержку данного принципа всегда будет оставаться в той или иной мере нечеткой. Она будет, кроме того, требовать конкретизации места и времени, на которые распространяется действие принципа.

Уточнение понятия убийства и анализ случаев насильственного лишения жизни, не подпадающих под это понятие, — это одновременно и один из важных способов аргументации в поддержку общего принципа, запрещающего убийство. Каждое из указанных исключений может рассматриваться как попытка опровержения данного принципа. Неудавшееся опровержение какого-то положения является доводом в поддержку последнего. Далее, уточняя и ограничивая понятие убийства, мы вводим дополнительные соглашения относительно рассматриваемых объектов, устраняем внутреннюю несогласованность разных принципов морали, уточняем сами эти принципы, меняем их иерархию и т.д. Иными словами, мы прибегаем к тому специфическому способу обоснования какой-то системы утверждений, который ранее был назван *внутренней перестройкой тео-*

*рии*. Теория оказывает определенную поддержку входящим в нее утверждениям. Чем яснее и последовательнее становится теория, тем большей оказывается эта системная поддержка.

Весомость системной поддержки существенно возрастает, если указывается, что принцип «Не убей» принадлежит не к «периферии» целостной системы морали, а к самому ее ядру. В иерархии моральных принципов он занимает, пожалуй, самое высокое место. Отказ от него способен разрушить всю систему морали, любое его ограничение или новое толкование ведет к ограничению и переистолкованию всей морали. Принцип «Не убей» — центральный камень того прочного свода, каким является мораль. Изъятие этого камня неминуемо ведет к уничтожению всего свода. Вместе с тем данный камень надежно удерживается на своем месте всеми другими камнями запираемого им свода.

В теории морали — но не в обычной моральной жизни — первостепенное значение придается *дедуктивному обоснованию* моральных принципов. Последние пытаются логически вывести из некоторых общих положений, касающихся природы человека, природы общества, человеческой истории и т.п. Если такие положения носят описательный характер, они — в силу принципа Юма — не пригодны для обоснования принципов морали: от «есть» невозможно с помощью одной логики перейти к «должен». Общие утверждения, претендующие на роль основоположений морали, должны иметь, как и сами моральные принципы, двойственный, описательно-оценочный характер.

Какие именно общие положения могут использоваться при дедуктивном обосновании принципа «Не убей»? Теория морали не дает на этот вопрос достаточно ясного ответа.

Допустим, мы принимаем следующий «принцип всеобщей гуманности»: «Всякий человек должен быть гуманен». Примем, далее, в качестве посылки утверждение «Всякий гуманный человек не должен убивать». Сформулируем моральный силлогизм:

Всякий человек должен быть гуманным.  
Всякий гуманный человек не должен убивать.

---

Всякий человек не должен убивать.

Этот силлогизм представляется логически обоснованным (правильным).

Рассуждение можно переформулировать иначе:

Должно быть так, что если человек гуманен, он не убивает;  
должно быть так, что человек гуманен;  
следовательно, должно быть, что человек не убивает.

Данное рассуждение является обоснованным с точки зрения логики оценок («хорошо, что» вместо «должно быть так, что»). Его логическая структура: «Если хорошо, что если *A*, то *B*, и хорошо, что *A*, то хорошо, что *B*».

Однако логическая правильность этих двух рассуждений мало что значит. Их заключение, что человек не должен убивать, является обоснованным лишь в той мере, в какой обоснованы те посылки, из которых оно выводится.

Принцип «**Всякий человек должен быть гуманен**» расплывчат и неясен. Не лучше обстоит дело и с положением «**Гуманный человек не должен убивать**». Не очевидно, в частности, что эти два общих утверждения вообще как-то связаны с рассмотренными исключениями из принципа «**Не убей**». Выведение последнего из данных общих утверждений делает его в той же мере расплывчатым и неясным, как и они сами.

Сходным образом обстоит дело с дедукцией принципа «**Не убей**» из общих положений типа: «**Не делай в отношении других того, что ты не хотел бы, чтобы это было сделано в отношении тебя**», «**Поступай только так, чтобы правило твоего поведения могло стать предметом всеобщего законодательства**» и т.п.

Роль дедуктивной аргументации в обосновании принципа «**Не убей**», как и других ключевых моральных принципов, не может быть существенной. Это не означает, конечно, что вообще не найдется аудитории, для которой выведение рассматриваемого принципа из абстрактных пожеланий «**всеобщего человеколюбия**», «**универсального альтруизма**» или «**разумного эгоизма**», не покажется убедительным. Однако моральное убеждение, основывающееся на дедукции, вряд ли будет сколь-нибудь прочным. Посылки, на которое оно опирается, не являются достаточно ясными, они не способны выдерживать даже умеренную критику.

То, что дедуктивная аргументация не играет важной роли в обосновании моральных принципов, не означает, что ее применимость в морали крайне ограничена. Обычное моральное рассуждение касается не столько обоснования общих принципов, сколько их приложения к конкретным ситуациям и понимания на основе данных принципов конкретных поступков. В обоих этих случаях значение дедукции несомненно.

И в теории морали, и в обычной моральной практике широко распространено *целевое обоснование* моральных принципов и моральных решений. Такое обоснование включает ссылку на ту цель, имеющую очевидную позитивную ценность, которая достигается благодаря обосновываемому принципу или принятому решению.

Применительно к принципу «Не убей» целевое обоснование, взятое в упрощенной его форме, может выглядеть так:

То, что человек не убивает, является необходимым условием существования общества.  
Общество должно существовать.

---

Люди должны не убивать друг друга.

Первая посылка устанавливает связь между реализацией рассматриваемого принципа и существованием общества. Эта посылка является, очевидно, чисто описательной. Вторая — выражает определенную социальную цель и представляет собой оценку. Рассуждение является, таким образом, разновидностью модального силлогизма, в котором из описательной и оценочной посылок выводится оценочное заключение. Если вторая посылка истолковывается как описательно-оценочное утверждение, заключение также будет иметь описательно-оценочный характер.

Приведенное рассуждение можно переформулировать так, чтобы связь цели и средства ее достижения выражалась, как обычно, условным утверждением:

Если люди будут убивать друг друга, общество саморазрушится.  
Общество должно сохраниться.

---

Люди должны не убивать друг друга.

Еще один пример целевого обоснования рассматриваемого принципа:

Если люди не убивают друг друга, это способствует моральному совершенству общества.  
Общество должно быть морально совершенным.

---

Человек не должен убивать.

Эти упрощенные рассуждения не ставят, конечно, своей задачей убедить кого-то в приемлемости обсуждаемого морального принципа. Их задача — продемонстрировать, что для этого может использоваться также целевое обоснование.

Еще один способ обоснования принципа «Не убей» представляется следующим рассуждением:

Всякий человек, воздерживающийся от убийства, должен становиться гуманнее.  
Каждый человек должен становиться гуманнее.

---

Каждый человек должен воздерживаться от убийства.

Обе посылки этого рассуждения являются оценками, заключение также представляет собой оценку. Как и ранее, если посылки истолковываются как двойственные, описательно-оценочные утверждения, заключение должно иметь такой же, описательно-оценочный характер. Рассуждение является типичной индукцией, его заключение вытекает из посылок не с необходимостью, а только с некоторой вероятностью.



Это рассуждение можно переформулировать также с использованием условного утверждения в качестве посылки:

Должно быть так, что если человек не убивает, он становится гуманнее.  
Должно быть так, что человек становится гуманнее.

---

Должно быть так, что человек не убивает.

Схема этого рассуждения: «Должно быть так, что если *A*, то *B*; должно быть *B*; значит, должно быть *A*». Это — типичная индукция с оценочными (или описательно-оценочными) посылками и оценочным (или описательно-оценочным) заключением.

Можно упомянуть еще один вид индуктивного обоснования моральных принципов — *ссылку на образец*.

Рассуждение протекает в форме обычной неполной (популярной) индукции, использующей оценочные (или описательно-оценочные) посылки:

*L.* должен воздерживаться от убийства.  
*M.* должен воздерживаться от убийства.  
*N.* должен воздерживаться от убийства.  
*L.*, *M.*, *N.* являются людьми.

---

Каждый человек должен воздерживаться от убийства.

Убедительность этого рассуждения во многом зависит от того, насколько аудитория уверена, что поведение упомянутых в нем лиц достойно всяческого подражания. Кроме того, на убедительность популярной индукции существенно влияет также отсутствие явных контрпримеров выводимому общему положению. В случае принципа «Не убей» такие контрпримеры сразу же приходят на ум: если Аристотель не убивал, то его ученик, Александр Македонский, повинен во многих убийствах, и т.п. Ссылка на образцы вряд ли способна сколь-нибудь существенно поддержать обсуждаемый принцип. Вместе с тем она может казаться достаточно убедительной в случае других моральных принципов, таких, скажем, как «Не лги», «Уважай чужое достоинство» и т.п.

Каждый акт *понимания* сообщает известную дополнительную поддержку той общей оценке или норме, на основе которой он осуществляется. Понимание того, что конкретные люди или группы людей не должны убивать, является индуктивным аргументом в пользу того, что вообще никто не должен этого делать:

Каждый человек не должен убивать.  
Александр Македонский был человеком.  
Значит, Александр Македонский не должен был убивать.

Или другой пример:

Все люди, хоть в малой степени считающиеся с моралью, не должны убивать.  
Средневековые рыцари были людьми, дорожащими принципами морали.  
Следовательно, средневековые рыцари не должны были убивать.

Здесь речь идет о понимании поведения определенной группы людей. Вместе с тем, если такое понимание имеет место, оно является доводом в поддержку общего положения, что любой человек не вправе убить. Понимание представляет собой дедукцию частной оценки или нормы, касающейся определенного индивида или сообщества, из общей оценки или нормы, говорящей о каждом индивиде или сообществе. Если свершившийся акт понимания истолковывается как аргумент в поддержку такой общей оценки или нормы, рассуждение оборачивается и превращается в индукцию. Однако убедительность индукции, отправляющейся от понимания, обычно не особенно высока.

К теоретическим способам обоснования моральных принципов относится и *указание на хорошую их согласованность не только между собой, но и с другими принципами человеческого общежития*. В частности, принцип «Не убей» хорошо отвечает идее гуманности человека, положению о возможном моральном прогрессе человеческого общества, идее жизни как высшей человеческой ценности и т.п. Этот принцип хорошо согласуется также с системой права, рассматривающей убийство как одно из самых тяжких преступлений.

К этому условию соответствия примыкает *аргумент к системности морали*. Мораль — не только сложная, но и стройная, достаточно последовательная система норм, образцов, идеалов и т.п. Эта система прочно укоренена в человеческой жизни, и указание на то, что конкретный принцип поведения входит в качестве неотъемлемого элемента в эту первостепенной важности систему, представляет собой важный аргумент в поддержку данного принципа. Системная поддержка становится особенно сильной, когда указывается, что рассматриваемый моральный принцип входит, подобно принципу «Не убей», в самое ядро моральных требований. Попытка отказаться от такого принципа означала бы отказ от всей существующей системы морали и ее неминуемое разрушение. Даже частичный пересмотр принципа «Не убей» путем изменения перечня исключений из него может иметь фатальные последствия для системы морали в целом.

Еще одним теоретическим аргументом в поддержку принципа «Не убей» может служить *ссылка на то, что он имеет более широкую сферу приложения, чем та, которая прямо в нем упоминается*. Можно предполагать, что он справедлив не только в отношении других людей, но и в отношении всех вы-

сших животных. Нельзя убивать без особой, крайней необходимости ни одно такое животное. Не следует, по всей вероятности, насильственно лишать жизни не только высших, но и любых животных. Быть может, вообще любое живое существо — как животное, так и растение — не может быть лишено жизни без крайней нужды. Кроме того, животным, и в первую очередь высшим, не должны причиняться неоправданные страдания. Споры по поводу кастрации домашних животных, негуманных форм их забоя, вивисекции и т.п. так или иначе связаны с попыткой распространить принцип, запрещающий убийство человека, также на высших животных и в первую очередь на домашних.

Все теоретические аргументы, если их рассматривать с логической точки зрения, являются — за исключением дедуктивного обоснования — индуктивными рассуждениями. Значимость дедукции в аргументации в поддержку принципов морали не велика. Индукция также не играет заметной роли в их обосновании. Кроме дедукции и индукции других форм рассуждения нет. Из этого можно сделать общий вывод, что само по себе рассуждение не способно обеспечить устойчивость и действенность моральных принципов. Проблема обоснования морали, если таковая, конечно существует, не решается путем приведения особых — дедуктивных или индуктивных — аргументов в поддержку отдельных ее принципов или системы морали в целом. Мораль опирается в конечном счете не на рассуждение, а на что-то иное. В этом она подобна родственным ей по происхождению естественному языку и религии: они устойчивы и эффективны вовсе не благодаря особо удачным и веским аргументам в их поддержку.

Подведя этот итог обсуждению универсальных способов аргументации в поддержку конкретных принципов морали, рассмотрим те *контекстуальные способы аргументации*, которые используются применительно к этим принципам.

*Аргумент к авторитету* не является особенно употребительным, когда речь идет о моральных принципах. Он может показаться убедительным для тех, кто полагает, что мораль создана какой-то конкретной личностью, деяния которой имеют особое значение для человека. Но этот аргумент не окажет никакого позитивного воздействия на тех, кто убежден в естественноисторическом происхождении морали. Нужно заметить, что даже тем, кто полагает, что моральные законы имеют божественное происхождение, данный аргумент представляется излишне пря-

молинейным. Бог создал человека и дал ему моральный завет. Но завет не столько навязывается человеку силой и угрозой наказания, сколько раскрывает его предназначение и должен исполняться в первую очередь потому, что выражает его природу как специфического творения и способствует постоянному его совершенствованию.

Более употребительным и веским является *аргумент к моральной интуиции*, к прямому усмотрению морального добра, постижению его без рассуждения и доказательства. Для моральной интуиции характерны непосредственная очевидность и неосознанность ведущего к ней пути. Для нее нетипичны однако неожиданность морального прозрения и тем более невероятность ведущего к нему пути. Результаты «непосредственного морального видения» обычно кажутся ожидаемыми и само собою разумеющимися.

Д. Мур считал, что слово «хороший», употребляемое в моральных суждениях, указывает на наличие у хороших вещей некоторого «внеестественного» свойства. Этим данное слово важным образом отличается от слов, которые, подобно слову «желтый», обозначают «естественные» свойства, воспринимаемые нашими органами чувств. Свойство «быть хорошим» не существует ни фактически, наряду с естественными свойствами, ни в какой-то сверхчувственной реальности. Оно постигается не обычными чувствами, а интуицией, результаты которой являются обоснованными, но не допускают доказательства. Мур полагал также, что все утверждения о моральном добре истинны независимо от природы мира<sup>1</sup>.

Слово «хороший» действительно необычно в семантическом плане. Однако особенности его употребления вряд ли являются решающим свидетельством в пользу существования особой моральной интуиции. Все эти особенности вполне можно объяснить и без нее.

Этики, увлеченные поисками таинственного собственно морального смысла «хорошего», недооценивали способность этого слова замещать множества эмпирических свойств. «Хороший» не обозначает никакого фиксированного эмпирического свойства. Им представляются совокупности таких свойств и при этом таким образом, что в случае разных ти-

---

<sup>1</sup>Таких представлений о моральном добре Дж. Мур придерживался в работах: *Moore G.E. Principia Ethica.* — Cambridge, 1903; *Moore G.E. Ethics.* London, 1912.

пов вещей эти совокупности являются разными. Ссылаясь на это обстоятельство, можно было бы сказать, что качества, дающие право называть вещи «хорошими», являются разными в случае разных вещей. Хорошими могут быть и ножи, и адвокаты, и доктора, и шутки и т.д., т.е. вещи столь широкого и неоднородного класса, что трудно ожидать наличия у каждой из них некоторого общего качества, обозначаемого словом «хорошее». «Красным», «тяжелым» и т.п. может быть названо лишь то, что имеет вполне определенное свойство; приложимость «хорошего» не ограничена никакими конкретными свойствами.

Свойство «быть хорошим» является «внеестественным» в том отношении, что оно не существует наряду с иными «естественными» свойствами. Вещи являются хорошими не потому, что они имеют особое свойство «добро», а в силу того, что этим вещам присущи определенные «естественные» свойства и существуют социальные по своему происхождению стандарты того, какими именно свойствами должны обладать вещи. Слово «хороший» является заместителем имен «естественных» свойств, но не именем особого «естественного» свойства.

Свойство «быть хорошим (быть добрым)» не относится к какой-то сверхчувственной реальности. Смысл, в котором оно существует, отличается от смысла, в каком существуют свойства, подобные весу и химическому составу тел. Но добро познается обычными чувствами, и его познание сводится к установлению соответствия между свойствами реальных вещей и свойствами, требуемыми от этих вещей относящимися к ним стандартами. Неверным поэтому является как утверждение Мура об интуитивном характере постижения добра, так и его положение об аналитической истинности высказываний о добре. И наконец, Мур ошибался, допуская, что неопределимое качество добра является одним и тем же в случае всех хороших вещей.

Моральная интуиция существует, но она не является особым чувством и мало чем отличается от других разновидностей интуиции.

Ссылки на моральную интуицию играют важную роль в моральной аргументации, особенно в запутанных и неоднозначных моральных ситуациях.

Вместе с тем моральная интуиция вряд ли особенно существенна при обсуждении значимости общих моральных принципов, подобных принципам «Не убей», «Не укради» и т.д.

Наиболее употребительным доводом, используемым в моральном рассуждении, является *аргумент к традиции*. Этот аргумент представляется также наиболее важным, если речь идет об основополагающих принципах морали. «Привычка — душа держав» (А.Пушкин «Борис Годунов»), исторически сложившаяся и тысячелетиями эффективно действовавшая моральная привычка, или моральная традиция, — душа морали. Это кажется верным не только для так называемых «традиционных» обществ, в которых традиция определяет все существенные стороны социальной жизни, но и для любых иных обществ, хотя в последних роль моральной традиции внешне не так заметна. Аргумент к традиции оказывается обычно решающим, когда обсуждаются основоположения морали, включающие принципы «Не убей», «Не укради», «Будь справедлив», «Люби своего ближнего» и т.п.

Моральная традиция двойственна, она имеет, как и принципы морали, описательно-оценочный характер. Она обобщает и систематизирует огромный опыт моральной жизни и в этом смысле суммарно описывает его. Но мораль не только ретроспективна, но и проспективна: она отталкивается от прошлого, чтобы предписывать и определять будущее поведение. Поэтому аргумент к моральной традиции — это не аргумент «от прошлого», а аргумент «от прошлого к будущему».

Еще одним важным аргументом в поддержку моральных принципов является *аргумент к здравому смыслу*, к присущему каждому человеку чувству правильности и общего блага, формирующемуся благодаря общности жизни, ее уклада и целей. Роль суждений здравого смысла в моральной аргументации нередко переоценивалась теоретиками морали. Но еще большей ошибкой было бы недооценивать важность таких суждений в рассуждениях о морально правильном и неправильном, морально годном и негодном.

*Аргумент к вкусу* редко используется в моральной аргументации, касающейся моральных принципов. Сфера действия этого аргумента — определение совершенства, и он часто используется при оценке морального совершенства поступков конкретных людей. Особое значение аргумент к вкусу имеет также в сфере нравственного решения. Но вряд ли к вкусу можно апеллировать с намерением поддержать общие принципы морали.

Таким образом, в процессе аргументации, касающейся моральных принципов, могут использоваться самые разные спо-

---

собы аргументации, начиная с дедуктивного обоснования и кончая обращением к моральной интуиции и традиции. Наиболее важным из них представляются не универсальные, а контекстуальные аргументы и прежде всего — аргумент к традиции и аргумент к здравому смыслу. Если мораль и держится в определенной мере на аргументации, то на аргументации, включающей все возможные ее способы, а не какие-то избранные, особо подходящие для обоснования морали приемы.

<b>Глава 6. Объяснение и понимание в аргументации</b> .....	232
1. Объяснение .....	236
2. Предсказание .....	241
3. Понимание .....	245
4. Понимание поведения .....	250
5. Понимание природы .....	257
6. Понимание языковых выражений .....	264



## Глава 6

# ОБЪЯСНЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ В АРГУМЕНТАЦИИ

Объяснение и понимание — две универсальные операции мышления, взаимно дополняющие друг друга. Долгое время они противопоставлялись одна другой. Неопозитивизм считал если не единственной, то главной функцией науки объяснение. Философская герменевтика ограничивала сферу объяснения естественными науками и выдвигала в качестве основной задачи гуманитарных наук понимание. Сейчас становится все более ясным, что операции объяснения и понимания имеют место в любых научных дисциплинах — и естественных, и гуманитарных — и входят в ядро используемых ими способов обоснования и систематизации знания.

Вместе с тем объяснение и понимание не являются прерогативой научного познания. Они присутствуют в каждой сфере человеческой деятельности и коммуникации.

Редкий процесс аргументации обходится без объяснения как сведения незнакомого к знакомому. Без понимания языковых выражений аргументация вообще невозможна.

Логическая структура операций объяснения и понимания не особенно ясна. Прежде всего это касается понимания, относительно которого даже предполагается, что оно вообще лишено отчетливой, допускающей расчленение структуры и не способно быть объектом логического анализа.

В дальнейшем развивается идея, что (рациональное) понимание и объяснение имеют сходную формальную структуру.

Имеются два типа объяснения. Объяснение первого типа представляет собой подведение объясняемого явления под известное общее положение и носит дедуктивный характер. Учитывая, что используемое при объяснении общее утверждение нередко (хотя и не всегда) является законом природы, такое объяснение можно назвать *номологическим*.

Объяснение второго типа опирается не на общее утверждение, а на утверждение о *каузальной связи*. Каузальное объяснение является в одних случаях дедуктивным, в других — индуктивным.

Дедуктивное объяснение (номологическое или каузальное) можно назвать *сильным объяснением*; индуктивное каузальное объяснение — *слабым объяснением*.

Пример сильного номологического объяснения:

Всякий металл проводит электрический ток.

Алюминий — металл.

Следовательно, алюминий проводит электрический ток.

Это — дедуктивное умозаключение, одной из посылок которого является общее утверждение (в данном случае закон природы), другой — утверждение о начальных условиях. В заключении общее знание распространяется на частный случай и тем самым факт, что алюминий проводит ток, находит свое (номологическое) объяснение.

Пример сильного (дедуктивного) каузального объяснения:

Если поезд ускорит ход, он придет вовремя.

Поезд ускорил ход.

Следовательно, он придет вовремя.

Это — дедуктивное рассуждение, одной из посылок которого является утверждение о каузальной зависимости своевременного прибытия поезда от ускорения его хода, другой — утверждение о реализации причины. В заключении говорится, что следствие также будет иметь место.

Общие схемы сильного каузального объяснения:

(1) *A* является причиной *B*; *A* имеет место; следовательно, *B* также имеет место.

(2) Если бы не было *A*, то не было бы и *B*; но *B* имеет место; следовательно, *A* также имеет место.

Например:

Если в кристаллической решетке алюминия нет свободных электронов, он не проводит электрический ток.

Алюминий проводит ток.

Значит, в его кристаллической решетке есть свободные электроны.

Слово «причина» употребляется в нескольких различающихся по своей силе смыслах. Схемы (1) и (2) сильного каузального объяснения совпадают в случае наиболее сильного смысла причинности, для которого верно, что если *A* есть причина *B*, то не-*B* есть причина не-*A*.

Пример слабого (индуктивного) каузального объяснения:

Если металлический стержень нагреть, он удлинится.

Металлический стержень удлинился.

Значит, он был, по всей вероятности, нагрет.

Это — индуктивное рассуждение, одной из посылок которого является утверждение о каузальной связи, другой — утверждение о реализации следствия этой связи. В заключении говорится, что причина, способная вызвать это следствие, также, по-видимому, имеет место.

Общая схема слабого каузального объяснения:

*A* является причиной *B*; *B* имеет место; значит, по-видимому, *A* также имеет место.

Еще один пример слабого каузального объяснения:

Если нет важной цели, то нет и активных действий.

Активных действий нет.

Значит, нет, вероятно, важной цели.

Существуют два типа понимания, параллельных двум разновидностям объяснения.

Понимание первого типа представляет собой *подведение понимаемого явления под известную общую оценку и представляет собой дедукцию*. Такое понимание можно назвать *сильным*. Понимание второго типа опирается не на общее оценочное утверждение, а на каузальное утверждение. Это понимание всегда является индуктивным рассуждением и может быть названо *слабым*.

Пример сильного понимания:

Больной должен слушать советы врача.

*N.* — больной.

Значит, *N.* должен слушать советы врача.

Это — дедуктивное умозаключение, одной из посылок которого является общая оценка, другой — утверждение о начальных условиях. В заключении общее предписание распространяется на частный случай и тем самым достигается понимание того, почему конкретный индивид должен слушать советы врача.

Слабое понимание может быть названо также *целевым* (телеологическим, мотивационным) *пониманием*. Существует две формы такого понимания.

Первая форма:

Если не-*A* есть причина не-*B*, и *B* — позитивно ценно, то, по-видимому, *A* также является позитивно ценным.

Например:

Если в доме не топить печь, в доме не будет тепло.

В доме должно быть тепло.

Значит, в доме следует, по-видимому, топить печь.

Еще один пример:

Если *N.* не побежит, он не успеет на поезд.

*N.* хочет успеть на поезд.

Значит, *N.* должен, по всей вероятности, бежать.

Иногда утверждается, что данная схема — это схема дедуктивного рассуждения. Далее приводятся аргументы, что это не так, и что всякий акт понимания, опирающийся на каузальное утверждение, является индуктивным рассуждением.

Это означает, что параллель между объяснением и пониманием не является полной. Существует сильное каузальное объяснение, представляющее собой дедуктивное рассуждение, но нет дедуктивного каузального (целевого) понимания.

Другая, типично индуктивная форма целевого понимания:

$A$  — причина  $B$ ;  $B$  — позитивно ценно; значит,  $A$  также является, вероятно, позитивно ценным.

Например:

Если в доме протопить печь, в доме будет тепло.

В доме должно быть тепло.

Значит, следует, по всей вероятности, протопить печь.

Первая посылка говорит о средстве, необходимом для достижения определенного результата. Вторая посылка является оценочным утверждением, представляющим этот результат как цель и превращающим связь «причина — следствие» в связь «цель — средство». В заключении говорится о том действии, которое должно быть осуществлено для достижения поставленной цели.

Таким образом, различие между объяснением и пониманием не в их строении, а в характере, или модусе, принимаемых посылок<sup>1</sup>.

Слово «объяснение» обозначает как операцию, ведущую к определенному результату, так и сам этот результат. Слово «понимание» обозначает, скорее, только результат соответствующей деятельности. Операцию, ведущую к нему, можно назвать, вслед за Л. Витгенштейном, «оправданием».

В работах, посвященных операции объяснения, под объяснением почти всегда понимается дедуктивное, или сильное, объяснение. В соответствии с традицией слово «объяснение», используемое без уточнения вида объяснения, будет в дальнейшем означать сильное объяснение. Аналогично слово «понимание», используемое без указания типа понимания (сильное или слабое), будет означать сильное понимание.

*Сильное объяснение есть подведение под истину, сильное оправдание — подведение под ценность.* Объяснить — значит вывести из имеющихся общих истин, оправдать (и в результате — понять) — значит вывести из принятых общих оценок<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Более подробно структура сильного понимания и ценности, лежащие в основе понимания, рассматриваются в работах: *Ивин А.А. Ценности в научном познании // Логика научного познания. Актуальные проблемы.* — М., 1987; *Ивин А.А. Ценности и понимание // Вопросы философии.* — 1987. — № 8; *Ивин А.А. Логика и ценности // Мышление, когнитивные науки, искусственный интеллект.* — М., 1988; *Ивин А.А. Логико-философское исследование ценностей // Исследования по неклассическим логикам.* — М., 1989.

<sup>2</sup>Рациональное, или понятийное, понимание как результат более или менее отчетливого рассуждения является дедуктивным умозаключением. Но очевидно, что существуют и «нерассудочные» формы понимания. К последним относятся, в частности, *интуитивное схватывание* и *эмоциональное* (чувственное) понимание с такой его разновидностью как *эмпатия*. Как и понятийное понимание, они предполагают ценности, но не являются, конечно, дедукциями. «Нерассудочное» понимание не рассматривается далее.

## 1. Объяснение

*Объяснение какого-то явления — это рассуждение, посылки которого содержат информацию, достаточную для выведения из нее описания рассматриваемого явления.* Наиболее развитая форма объяснения, широко применяемая в науке, — объяснение на основе научного закона, функционирующего как описание. Такое объяснение будем называть *теоретическим*. Не всякое объяснение опирается на научный закон и может быть названо теоретическим. Объяснение может опираться также на случайное общее утверждение.

Наука в современном смысле этого слова начала складываться всего около трехсот лет тому назад; что касается объяснения, то оно, по-видимому, столь же старо, как и само человеческое мышление.

Объяснение — это ответ на вопрос «Почему объясняемое явление происходит?». Почему тело за первую секунду своего падения проходит путь длиной 4,9 метра? Чтобы объяснить это, мы ссылаемся на закон Галилея, который в самой общей форме описывает поведение разнообразных тел под действием силы тяжести. Если требуется объяснить сам этот закон, мы обращаемся к более общей теории гравитации Ньютона. Получив из нее закон Галилея в качестве логического следствия, мы тем самым объясняем его.

С.Тулмин приводит простой пример того, как объяснение сводит незнакомое и неожиданное к знакомому. Палка, являющаяся прямой, выглядит согнутой, если ее опустить в воду. «В данной ситуации вас приводит в замешательство то, что свидетельства ваших чувств, которые сперва были недвусмысленны и единодушны, оказываются сомнительными и противоречивыми. Очевидно, что налицо противоречия трех родов: а) между сообщениями одного наблюдателя об одном и том же свойстве в разные моменты времени: сперва он сообщает “палка прямая”, затем — “палка согнута”; б) между сообщениями разных наблюдателей об одном и том же свойстве в один и тот же момент: “загнута влево” — скажут одни, “загнута вправо” — говорят другие, “она только укоротилась” — говорят третьи; в) между свидетельствами разных органов чувств об одном и том же свойстве в один и тот же момент: глядя на палку, вы скажете, что она согнута, но, ощупав ее, скажете, что она прямая. В результате этих противоречий вы спрашиваете: “Что же действительно справедливо? Загнута она или нет? И если да, то влево или вправо? А если нет, то почему кажется, что да?” И, задавая эти вопросы, мы начинаем требовать объяснения того, что происходит»<sup>1</sup>.

Чтобы объяснить «поведение» палки, погруженной в воду, надо, используя законы геометрической оптики, просле-

<sup>1</sup>Цит. по: Харвей Д. Научное объяснение в географии. — М., 1974. — С. 27.

дить преломление лучей света при переходе из одной среды в другую.

Еще один пример объяснения на основе закона природы. В статистической физике существует теория голубого неба. Эта теория возникла при интерпретации физического факта, который не укладывается в привычные представления. Ведь небо — это тот же воздух, а воздух невидим. Находясь на поверхности Земли, мы должны бы видеть абсолютно черное «небо» и ослепительно яркое Солнце. Голубое небо мы видим благодаря неоднородности атмосферы. Хаотическое движение молекул, приводящее к возникновению сгустков и разрежений, создает флуктуацию показателя преломления. В результате возникает беспорядочное преломление всех лучей света. Первоначально параллельный поток лучей становится расходящимся — происходит рассеивание света.

В повседневной жизни объяснения тоже нередко опираются на законы. Однако последние, как правило, настолько просты и очевидны, что мы не формулируем их явно, а иногда даже не замечаем их.

Например, мы спрашиваем ребенка, почему он плачет. Ребенок объясняет: «Я упал и сильно ударился». Почему этот ответ кажется нам достаточным объяснением? Потому что мы знаем, что сильный удар вызывает боль, и знаем, что когда ребенку больно, он плачет. Это определенный психологический закон. Подобные законы просты и известны всем, поэтому нет нужды выражать их явно. Тем не менее это элементарные законы, и объяснение в данном случае плача ребенка осуществляется именно через них.

Представим себе, что мы встретились с плачущим марсианским ребенком. Мы не знаем, бывает ли марсианским детям больно от удара или нет и плачут ли они от боли. Понятно, что в данном случае объяснение типа «Я упал и ударился» вряд ли удовлетворит нас. Нам не известны те общие положения, на которые оно опирается. А без этого нет и объяснения.

Идея, что объяснение — это подведение объясняемого явления под научный закон, стала складываться еще в прошлом веке. Она встречается в работах Дж.С.Милля, А.Пуанкаре, П.Дюгема и др. Четкую формулировку модели научного объяснения в современной методологии науки обычно связывают с именами К.Поппера и К.Гемпеля. «Дать *причинное объяснение* некоторого события, — пишет Поппер, — значит дедуцировать описывающее его высказывание, используя в качестве посылок один или несколько *универсальных законов* вместе с определенными сингулярными [единичными] высказываниями — *начальными условиями*»<sup>1</sup>. Поппер приводит такой пример объяснения. Допустим, мы наблюдаем следующее событие: нить, к которой под-

---

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — М., 1983. — С. 83. Явление «объясняется посредством подведения его под общий закон, то есть путем показа того, что оно произошло в соответствии с этим законом при наличии определенных предшествующих условий... Выяснение общей регулярности состоит в подведении ее под другую регулярность, под более общий закон» (Hempel C. G., Oppenheim P. Studies in the Logic of Explanation // Philosophy of Science. — 1948. — V. 15. — N 2. — P. 236).

вешен груз в 2 кг, разрывается. Мы можем спросить: почему данная нить порвалась? Ответом на этот вопрос будет объяснение, имеющее достаточно простую структуру. Нам известно общее положение, которое можно считать законом: «Для всякой нити верно, что если она нагружена выше предела своей прочности, она разрывается». Нам известно также, что данная конкретная нить нагружена выше предела ее прочности, то есть истинно единичное утверждение «Данная нить нагружена выше предела ее прочности». Из общего утверждения, говорящего обо всех нитях, и единичного утверждения, описывающего наличную ситуацию, мы делаем вывод: «Данная нить разрывается».

В основе объяснения лежит следующая схема дедуктивного рассуждения:

Для всякого объекта верно, что если он имеет свойство  $S$ , то он имеет свойство  $P$ .

Данный объект  $A$  имеет свойство  $S$ .

---

Объект  $A$  имеет свойство  $P$ .

Это простейший вариант того, что называют *дедуктивно-номологической схемой объяснения*. Посылки объяснения называются *экспланансом*, заключение — *экспланандумом*.

Объяснение должно удовлетворять следующим четырем требованиям:

(1) заключение, описывающее объясняемое явление, должно логически вытекать из посылок;

(2) в числе посылок должно содержаться хотя бы одно общее положение, необходимое для выведения заключения;

(3) посылки должны иметь определенное эмпирическое содержание, они должны в принципе подтверждаться экспериментом или опытом;

(4) посылки должны быть истинными.

Указанная схема объяснения впервые была четко описана К.Гемпелем и П.Оппенгеймом и получила название «схема Гемпеля — Оппенгейма», или «объяснение посредством “охватывающего” закона». Она допускает разнообразные модификации и обобщения. В число посылок может входить несколько общих и единичных утверждений, а объясняющее рассуждение может представлять собой цепочку умозаключений. Объясняться может не только отдельное событие, но и общее утверждение, и даже теория.

Гемпель предложил также вариант *индуктивно-вероятностного объяснения*. В нем используемое для объяснения общее по-

ложение носит вероятностно-статистический характер, а в заключении устанавливается лишь вероятность наступления объясняемого события<sup>1</sup>.

Объяснение связывает объясняемое событие с другими событиями и указывает на закономерный характер этих связей. Если используемые в объяснении законы являются истинными и условия их действия реально существуют, то объясняемое событие должно иметь место и является в этом смысле *необходимым*. Дедуктивно-номологическое и индуктивно-вероятностное объяснения, пишет Гемпель, «имеют следующую общую черту: они объясняют некоторое событие, показывая, что, исходя из определенных конкретных обстоятельств и общих законов, можно было бы предвидеть его возникновение (предвидеть в логическом смысле этого слова) либо с дедуктивной необходимостью, либо с индуктивной вероятностью. Благодаря этой черте оба эти способа объяснения вполне удовлетворяют тому, что я рискнул бы назвать общим *условием адекватности* для объяснений... Условие, которое мы имеем в виду, сводится к следующему: любое объяснение, то есть любой рационально приемлемый ответ на вопрос: “Почему произошло X?”, должно дать информацию, на основании которой можно было бы достаточно уверенно считать, что событие X действительно имело место»<sup>2</sup>. Закон природы выражает необходимую связь явлений, объяснение через такой закон придает необходимый характер объясняемому событию.

Объяснение является дедукцией объясняемого явления из некоторого общего положения (в частности, закона природы) и утверждения о реализации данного положения в конкретных условиях наступления явления. Если общее положение представляет собой закон, объяснение обосновывает необходимость объясняемого явления. Если же используемое в объяснении общее положение оказывается случайным обобщением, то и заключение о наступлении объясняемого явления является случайным утверждением.

Допустим, что в какой-то комнате случайно собрались только женатые мужчины. Воспользовавшись этим, можно построить такое объяснение того, что находящийся в этой комнате *N* женат: «Все мужчины, находящиеся в этой комнате, женаты; *N* — мужчина, находящийся в комнате; поэтому *N* женат». За-

<sup>1</sup>См.: *Hempel C.G. Deductive-nomological vs. Statistical Explanation // Minnesota Studies in the Philosophy of Science. — 1962. — V. III. — P. 98—169.*

<sup>2</sup>*Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. — М., 1977. — С. 75—76.*



ключение кажется нелепым: *N* женат явно не потому, что он случайно оказался в данной комнате.

Высоту флаштока можно вывести дедуктивно из длины его тени и измерения угла подъема Солнца над горизонтом, вычисленного по принципам геометрической оптики. Однако о высоте флаштока нельзя на этом основании сказать, что тем самым она «объяснена».

Если даны два угла треугольника  $37^\circ$  и  $59^\circ$  соответственно, то можно сделать дедуктивный вывод, что третий угол равен  $84^\circ$ . Однако это не будет объяснением величины третьего угла. Во всяком случае слово «объяснение» будет использоваться при этом не в своем обычном смысле<sup>1</sup>.

Примеры такого рода иногда склоняют к мнению, что при построении объяснений должны использоваться только законы (природы или общества), выражающие необходимую связь явлений, и что случайно истинные обобщения не пригодны для объяснений. Это мнение не кажется, однако, оправданным. Прежде всего, между необходимыми и случайными обобщениями (законами и общими утверждениями, не являющимися законами) нет четкой границы. Понятие закона природы, не говоря уже о понятии закона общества, вообще не имеет сколь-нибудь ясного определения. Если потребовать, чтобы в объяснении всегда присутствовал закон, то граница между объяснением и теми дедукциями, в которых используются случайные обобщения, исчезнет. Кроме того, определенные общие утверждения не рождаются законами, а постепенно **с т а н о в я т с я** ими. И в самом этом процессе становления научного закона существенную роль играет как раз выявление его «объяснительных возможностей»: использование общего утверждения, претендующего на статус закона, в многообразных объяснениях конкретных явлений. Последовательность: «сначала закон, а затем объяснение на основе этого закона» не учитывает динамического характера познания и оставляет в стороне вопрос, откуда берутся сами научные законы.

Объяснение может быть *глубоким* и *поверхностным*. Объяснение на основе закона столь же глубоко, как и та теория, в рамках которой используемое в объяснении общее положение оказывается законом. Объяснение, опирающееся на случайное обобщение, поверхностно, как и само это обобщение, но тем не менее является объяснением.

Понятие закона природы появилось относительно недавно; общие утверждения не только становятся законами, но иногда и перестают быть ими. Объяснение — фундаментальная операция

---

<sup>1</sup>О последних двух примерах см.: Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. — М., 1969. — С. 375—376.

мышления, и ее судьба не может ставиться в однозначную зависимость от понятия научного закона.

Слабое каузальное объяснение исследовано гораздо меньше, чем номологическое объяснение. Иногда высказывается даже мнение, что слабое каузальное объяснение вообще не следует относить к объяснению, поскольку оно ненадежно: как всякое индуктивное рассуждение оно дает только правдоподобное заключение. Этом мнение не кажется однако обоснованным.

Слабые каузальные объяснения постоянно используются и в обычных, и в научных рассуждениях. Допустим, что какой-то дом загорелся, и мы хотели бы объяснить, почему это произошло. Можно построить такое умозаключение:

Если бы в дом ударила молния, он загорелся бы.

Дом загорелся.

Значит, в дом, по-видимому, ударила молния.

Заключение этого умозаключения не является достоверным, оно проблематично, но является возможным объяснением того, почему все-таки дом загорелся. Построение таких слабых объяснений, перебор возможных причин случившегося события является необходимым звеном в поиске подлинной его причины.

Далеко не все объяснения, которые предлагает наука, являются объяснениями на основе уже известного научного закона. Наука постоянно расширяет область исследуемых объектов и их связей. На первых порах изучения новых объектов речь идет не столько об открытии тех универсальных законов природы, или общества, действие которых распространяется на эти объекты, сколько об обнаружении тех причинно-следственных связей, в которых они находятся с другими объектами. Вряд ли есть основания утверждать, что каждая научная дисциплина, независимо от ее своеобразия и уровня развития, дает исключительно объяснения, опирающиеся на законы. Трудно сказать, например, устанавливают ли история и социология какие-то твердые законы развития общества, но очевидно, что эти науки способны давать причинные объяснения исследуемых ими явлений.

## 2. Предсказание

С понятием сильного (номологического) объяснения непосредственно связано понятие *предсказания*.

*Предсказание* — это выведение описания нового явления из установленного общего положения и соответствующих начальных условий.

Схема предсказания та же, что и схема объяснения: из общего утверждения (желательно закона природы или общества) выводится частное или единичное утверждение о предсказываемом явлении. Объяснение и предсказание отличаются лишь своей временной направленностью: объяснение направлено к прошлому, предсказание — к будущему. При объяснении объясняемое явление уже известно, для него подбирается то общее положение, на которое может опереться объяснение. При предсказании сначала устанавливается общее положение, из него выводится описание предсказываемого явления и ищется его подтверждение. Всякое объяснение потенциально представляет собой предсказание (предсказание, направленное в прошлое, или *ретросказание*), а каждое предсказание дает объяснение предсказанным событиям. Предсказание, в сущности, отличается от объяснения только тем, что речь идет о неизвестном еще факте.

Против «симметрии» объяснения и предсказания выдвигались многие возражения, но ни одно из них нельзя признать убедительным<sup>1</sup>.

Объяснение и предсказание играют неоценимую роль в процессе обоснования научных теорий, концепций, общих положений. Выявление многообразных связей, имеющих между утверждениями теории, представляет собой важный момент в обосновании как самой теории, так и входящих в нее утверждений. Особую ценность в систематизации теории играет прослеживание тех цепочек утверждений, которые ведут от общих положений теории к утверждениям, непосредственно связанным с опытом. Такие цепочки существенно проясняют внутреннюю структуру теории. Но, что важнее, они привязывают ее к фактам, к тому, что дано в эксперименте и непосредственном наблюдении. Тем самым теория превращается в достаточно надежное средство ориентации в окружающем мире.

По своей структуре объяснение совпадает с рассматривавшимся ранее *косвенным подтверждением* (подтверждением следствий обосновываемого *общего* положения).

Объяснение — это выведение единичного утверждения из некоторого общего положения. Если выведенное следствие подтверждается, то тем самым косвенно подтверждается и общее утверждение. Скажем, из утверждений «Все металлы ковки» и

---

<sup>1</sup>Некоторые из этих возражений обсуждаются в кн.: Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. — С. 356—380.

«Ниобий металл» вытекает утверждение «Ниобий ковок». Если последнее утверждение находит эмпирическое подтверждение, то тем самым эмпирически подтверждается и общее положение «Все металлы ковки».

Вместе с тем, можно заметить, что «подтверждающая сила» объясняемого явления заметно выше, чем та поддержка, которую оказывает общему утверждению произвольно взятое подтвердившееся его следствие. Формально говоря, из общего утверждения можно вывести неограниченное число следствий. Не все они равноценны с точки зрения влияния их подтверждения на подтверждение общего утверждения. Следствия могут быть о ж и д а е м ы м и и неожиданными, и вклад вторых в подтверждение общего утверждения существенно выше, чем вклад первых. Следствия могут описывать к л ю ч е в ы е для теории факты и могут касаться в т о р о с т е п е н н ы х с точки зрения теории фактов. Подтверждение первых может быть решающим для судьбы теории, в то время как подтверждение вторых может оказаться несущественным для нее.

Особая «подтверждающая сила» получивших объяснение фактов связана в первую очередь с тем, что объяснения строятся как раз для к л ю ч е в ы х, имеющих принципиальную важность для формирующейся теории фактов, для фактов, представляющихся неожиданными или даже парадоксальными с точки зрения ранее существовавших представлений и, наконец, для фактов, которые претендует объяснить и м е н н о д а н н а я теория и которые необъяснимы для конкурирующих с нею теорий. Подтверждение подобных фактов, достигаемое в результате их объяснения, придает теории особую силу и крепость.

Кроме того, хотя объяснение совпадает по общему ходу мысли с косвенным подтверждением, эти две операции преследуют прямо противоположные цели. Объяснение включает факт в теоретическую конструкцию, делает его теоретически осмысленным и тем самым «утверждает» его как нечто не только эмпирически, но и теоретически несомненное. Косвенное подтверждение направлено не на «утверждение» эмпирических следствий некоторого общего положения, а на «утверждение» самого этого положения путем подтверждения его следствий. Эта разнонаправленность объяснения и косвенного подтверждения (объяснение мира и укрепление теории) также сказывается на особой «подтверждающей силе» фактов, получивших объяснение, в сравнении с фактами, служащими исключительно для

подтверждения теории. В некотором смысле объяснять мир важнее, чем строить о нем теории, хотя эти две задачи во многом неотделимы друг от друга.

Сказанное о роли объяснений в подтверждении и укреплении теории относится также к предсказаниям, отличающимся от объяснений только по своей временной направленности.

«...Если прогресс науки является непрерывным и ее рациональность не уменьшается, — пишет К.Поппер, — то нам нужны не только успешные опровержения, но также и позитивные успехи. Это означает, что мы должны достаточно часто создавать теории, из которых вытекают новые предсказания, в частности, предсказания новых результатов, и новые проверяемые следствия, о которых никогда не думали раньше»<sup>1</sup>. Поппер упоминает в числе предсказаний, подтверждение которых сыграло особую роль в судьбе предложивших их теорий, предсказание того, что при определенных условиях движение планет должно отклоняться от законов Кеплера, и предсказание, что свет, несмотря на свою нулевую массу, подвержен гравитационному притяжению. Еще одним примером может служить предсказание Дирака, что для каждой элементарной частицы должна существовать античастица. «Нам нужны успехи такого рода. Непросто крупные научные теории означали все новые завоевания неизвестного, новые успехи в предсказании того, о чем никогда не думали раньше»<sup>2</sup>.

Хорошим примером того, как серия успешных, можно сказать блестящих, предсказаний привела к быстрому утверждению теории является теория атома Н.Бора. Бор вывел формулу для диаметра электронных орбит и получил размер водородного атома, равный примерно  $10^{-8}$  см. С одной стомиллионной сантиметра физики давно уже были знакомы по косвенным оценкам размера этого атома. Теперь данная величина вытекала непосредственно из теории. Бор указал еще одно число: 109 000 для константы Ридберга, входившей во все спектральные формулы. Экспериментальное значение этой константы было 109 675. Эти количественные совпадения теории с опытом произвели очень сильное впечатление.

Успешные объяснения и предсказания — н е о б х о д и м о е условие истинности независимо проверяемой теории. Но они не являются д о с т а т о ч н ы м условием ее истинности. Подобно косвенному подтверждению теории (подтверждению вытекающих из нее следствий) подтвердившиеся объяснения и предсказания повышают правдоподобие теории и способствуют ее утверждению, но не делают ее истинной.

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 368.

<sup>2</sup>Там же.

В этой связи можно вспомнить старую теорию флогистона («огненной материи»), которая внесла в свое время существенную упорядоченность в большой ряд физических и химических явлений. Она объяснила, почему некоторые тела горят, а другие нет (первые богаты флогистонам, а вторые бедны им) и почему металлы имеют намного больше общих друг с другом свойств, нежели их руды (металлы полностью состоят из различных элементарных земель, соединенных с флогистонам, а поскольку флогистон содержится во всех металлах, он создает общность их свойств). Кроме того, теория флогистона объяснила ряд реакций получения кислоты при окислении веществ, подобных углероду и сере. Она также объяснила уменьшение объема, когда окисление происходило в ограниченном объеме воздуха, — флогистон высвобождался при нагревании, которое «портит» упругость воздуха, абсорбирующего флогистон, точно так же, как огонь «портит» упругость стальной пружины. Несмотря на все эти успешные объяснения теория флогистона оказалась все-таки ошибочной.

### 3. Понимание

Понимание связано с усвоением нового содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений.

Проблема понимания долгое время рассматривалась в рамках *экзегетики* (от греч. *exēgēsis* — толкование), занимавшейся толкованием древних, особенно религиозных (библейских) текстов. В прошлом веке, благодаря усилиям прежде всего В.Шлейермахера и В.Дильтея, начала складываться более общая теория истолкования и понимания — *герменевтика* (от греч. *hermēneutike (techne)* — истолковательное (искусство)).

До сих пор распространенной является точка зрения, что пониматься может только *текст*, наделенный определенным смыслом: понять означает раскрыть с м ы с л, вложенный в текст его автором. Очевидно, однако, что это очень узкий подход. Мы говорим не только о понимании написанного или сказанного, но и о понимании действий человека, его переживаний. Понятными или непонятными, требующими размышления и истолкования, могут быть поступки, как наши собственные, так и других людей. Пониматься может и неживая природа: в числе ее явлений всегда есть не совсем понятные современной науке, а то и просто непонятные для нее. Не случайно физик П.Ланжевэн утверждал, что «понимание ценнее знания», а другой физик — В.Гейзенберг считал, что Эйнштейн не понимал процессов, описываемых квантовой механикой, и так и не сумел их понять<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>См.: Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке. — М., 1980. — С. 82.

Идея, что пониматься может только текст, будучи приложена к пониманию природы, ведет к неясным рассуждениям о «книге бытия», которая должна «читаться» и «пониматься», подобно другим текстам. Но кто же автор этой «книги»? Кем вложен в нее скрытый, не сразу улавливаемый смысл, истолковать и понять который призвана естественная наука? Поскольку у «книги природы» нет ни автора, ни зашифрованного им смысла, «понимание» и «толкование» этой книги — только иносказание. И если пониматься может лишь смысл текста, естественнонаучное понимание оказывается пониманием в некотором переносном, метафорическом значении.

Понимание — универсальная операция. Как и объяснение, оно имеется во всех науках — и естественных, и гуманитарных. Другое дело, что понимание разных вещей — природных и духовных — имеет разную ценность для человека.

Как отмечалось выше, существует сильное и слабое понимание. Первое опирается на общую оценку и является дедуктивным рассуждением. Второе представляет собой индуктивное рассуждение, в основе которого лежит утверждение о средствах, необходимых для достижения определенной цели.

Рассмотрим более подробно сильное понимание.

Сильное понимание опирается на некоторый общий стандарт и распространяет его на частный или конкретный случай. Такое понимание можно назвать *рациональным*.

Хорошие примеры сильного понимания — и в особенности понимания человеческих мыслей и действий — дает художественная литература. Эти примеры отчетливо, как кажется, говорят о том, что понятное в жизни человека — это привычное, соответствующее принятому правилу или традиции.

В романе «Луна и грош» С.Мозм сравнивает две биографии художника, одна из которых написана его сыном-священником, а другая неким историком. Сын «нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии». Историк же, «умевший безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий», подошел к той же теме совсем по-другому: «Это было увлекательное занятие: следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Мозм С. Луна и грош. Театр. Рассказы. — М., 1983. — С. 8—10.

Этот пример хорошо иллюстрирует *предпосылочность* понимания, его зависимость не только от интерпретируемого материала, но и от позиции самого интерпретатора. Однако в данном случае важнее другое. Пример говорит о том, что поведение становится понятным, как только удастся убедительно подвести его под некоторый *общий принцип или образец*. В одной биографии образцом служит распространенное представление о «заботливом, трудолюбивом, глубоко нравственном человеке», каким якобы должен быть выдающийся художник, в другой — вера, что «человеческая натура насквозь порочна» и когда речь идет о неординарном человеке, это особенно заметно. Оба эти образца, возможно, никуда не годятся. Но если один из них принимается интерпретатором и ему удастся подвести поведение своего героя под избранную схему, оно становится понятным как для интерпретатора, так и для тех, кто соглашается с предложенным образцом.

О том, что *понятное — это отвечающее принятому правилу*, а потому *правильное* и в определенном смысле *ожидаемое*, хорошо говорит Д.Данин в «Человеке вертикали». Сознание человека замусорено привычными представлениями, как должно и как не должно вести себя в заданных обстоятельствах. «Эти представления вырабатывались статистически. Постепенно наиболее вероятное в поведении стало казаться нормой. Обязательной. А порою и единственно возможной. Это не заповеди нравственности. Это не со скрижалей Моисея. И не из Нагорной проповеди Христа. Это — не десять и не сто, а тысячи заповедей общежития (мой руки перед едой). И физиологии (от неожиданности вздрагивай). И психологии (по пустякам не огорчайся). И народной мудрости (семь раз отмерь). И здравого смысла (не питай иллюзий)... В этой неписаной системе правильного, а главное — понятного поведения всегда есть заранее ожидаемое соответствие между внутренним состоянием человека и его физическими действиями. Это всесветная и вековечная система Станиславского, по которой всю жизнь лицедействует подавляющее большинство человечества. Для всего есть слово. И для всего есть жест»<sup>1</sup>.

В этой характеристике понятного как правильного и ожидаемого интересен также такой момент. Предпосылкой понимания внутренней жизни индивида является не только существование *образцов* для ее оценки, но и наличие *определенных стандартов проявления этой жизни вовне*, в физическом, доступном восприятию действии.

Таким образом, *понимание можно определить как оценку на основе некоторого образца, стандарта или правила*.

<sup>1</sup>Данин Д. Человек вертикали: (Повествование о Нильсе Боре) // Избранное. — М., 1984. — С. 107.



Если объяснить значит вывести из имеющихся общих истин, то понять значит вывести из принятых общих ценностей<sup>1</sup>.

Несколько элементарных примеров понимания прояснят его структуру.

Всякий ученый должен быть критичным.  
Галилей — ученый.  
Значит, Галилей должен быть критичным.

Первая посылка данного умозаключения является общей оценкой, распространяющей требование критичности на каждого ученого. Вторая посылка — описательное высказывание. Она аналогична посылке объяснения, устанавливающей «начальные условия». Заключение является оценкой, распространяющей общее правило на конкретного индивида.

Это рассуждение можно переформулировать так, чтобы общая оценка включала не «должно быть», а оборот «хорошо, что», обычный для оценок:

Хорошо, что всякий ученый критичен.  
Галилей — ученый.  
Следовательно, хорошо, что Галилей критичен.

Несколько сложнее обстоит дело с формулировкой элементарного акта понимания, включающей условное высказывание, и параллельной формулировке элементарного акта объяснения:

Должно быть так в случае каждого человека, что если он ученый, то он критичен.  
Галилей — ученый.  
Значит, должно быть так, что Галилей критичен.

Рассуждения такой структуры должны рассматриваться логикой оценок. Она не разработана однако настолько, чтобы быть в состоянии сказать, является последнее умозаключение правильным или нет.

<sup>1</sup>О неразрывной связи понимания ценностей говорил еще В. Дильтей (см.: *Dilthey W. Gesammelte Schriften. — Leipzig, 1924. — B. 5. — S. 317*). «Понимание и оценка. Безоценочное понимание невозможно, — писал М. М. Бахтин. — Нельзя разделить понимание и оценку: они одновременны и составляют единый целостный акт. Понимающий подходит к произведению со своим уже сложившимся мировоззрением, со своей точки зрения, со своих позиций. Эти позиции в известной мере определяют его оценку, но сами они при этом не остаются неизменными: они подвергаются воздействию произведения, которое всегда вносит нечто новое. Только при догматической инертности позиции ничего нового в произведении не раскрывается (догматик останется при том, что у него уже было, он не может обогатиться). Понимающий не должен исключать возможности изменения или даже отказа от своих уже готовых точек зрения и позиций. В акте понимания происходит борьба, в результате которой происходит взаимное изменение и обогащение» (*Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979. — С. 327*). «Точки зрения» и «позиции», упоминаемые здесь, — это общие оценки, используемые в процессе понимания произведения; сами эти оценки могут изменяться под воздействием произведения.

Следующий пример относится к пониманию неживой природы:

На стационарной орбите электрон не должен излучать.  
Электрон атома водорода находится на стационарной орбите.  
Значит, электрон атома водорода не должен излучать.

Понимание представляет собой оценку на основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа и т.п. Соответственно, пониматься может все, для чего существует такой образец, начиная с индивидуальных психических состояний, «детского лепета», «Гамлета» и «критики разума»<sup>1</sup> и кончая явлениями неживой природы.

Как в обычных, так и в научных рассуждениях «чистые» описания и «чистые» оценки довольно редки. Столь же редки опирающиеся на них «чистые» объяснения и «чистые» оправдания. Одно и то же рассуждение чаще всего можно истолковать и как объяснение, и как оправдание.

Возьмем, к примеру, рассуждение:

Солдат является стойким.  
Сократ был солдатом.  
Значит, Сократ был стоек.

В зависимости от того, какой смысл придается в конкретном случае посылке «Солдат является стойким», это рассуждение может оказаться и оправданием («Солдат должен быть стойким; Сократ был солдатом; значит, Сократ должен был быть стойким»), и объяснением («Солдат, как правило, стоек; Сократ был солдатом; следовательно, Сократ был, скорее всего, стоек»).

Дедуктивный характер объяснения и оправдания не всегда нагляден и очевиден, поскольку наши обычные дедукции являются до предела сокращенными. Мы видим плачущего ребенка и говорим: «Он упал и ударился». Это — дедуктивное объяснение, но, как обычно, крайне сокращенное. Видя идущего по улице человека, мы отмечаем: «Обычный прохожий». И в этом качестве он понятен для нас. Но за простой как будто констатацией стоит целое рассуждение, результат которого — оценка: «Этот человек таков, каким должен быть стандартный прохожий». Всякое слово, обозначающее объекты, достаточно тесно связанные с жизнью и деятельностью человека, сопряжено с определенным стандартом, или образцом, известным каждому, употребляющему это слово. Языковые образцы функционируют почти автоматически, так что рассуждение, подводящее вещь под образец, скрадывается, и понимание ее в свете образца ка-

<sup>1</sup>Их когда-то упоминал В.Дильтей, относивший понимание только к ним (см.: *Dilthey W. Gesammelte Schriften.* — В. 5. — S. 317).

жется не результатом дедуктивного рассуждения, а неким вне-рефлексивным «схватыванием».

Понимание, как и объяснение, обыденно и массовидно, и только свернутый характер этих операций внушает обманчивое представление, что они редки и являются результатом специальной деятельности, требующей особых знаний и способностей.

#### 4. Понимание поведения

Далее будут рассмотрены три типичных области понимания: понимание поведения человека, его характера и поступков, понимание природы и понимание языковых выражений. Из этих областей понимание поведения представляется парадигмой, или образцом, понимания вообще, поскольку именно в человеческом поведении ценности, играющие центральную роль во всяком понимании, обнаруживают себя наиболее явно и недвусмысленно.

Понимание поведения, как и понимание любых других объектов, может быть *сильным*, или рациональным, и *слабым*, или целевым (мотивационным), пониманием. Рациональное понимание поведения не вызывает особых вопросов. Сосредоточимся поэтому на *целевом понимании поведения*, постоянно порождающем споры.

*Целевое понимание поведения предполагает раскрытие связи между мотивами (целями, ценностями), которыми руководствуется человек, и его поступками.* Понять в этом смысле поведение индивида — значит указать ту цель, которую он преследовал и надеялся реализовать, совершая конкретный поступок.

Например, мы видим бегущего человека и пытаемся понять, почему он бежит. Для этого надо уяснить цель, которую он преследует: он хочет, допустим, успеть на поезд, и поэтому бежит.

Логической формой элементарного акта целевого понимания поведения является так называемый *практический силлогизм* (вывод):

Агент *N* намеревается (желает, стремится) получить *A*.

Для получения *A* нужно совершить действие *B*.

Следовательно, *N* должен совершить действие *B*.

Первая посылка фиксирует цель, которую ставит перед собой действующий субъект. Вторая посылка описывает его представления о средствах, необходимых для достижения цели. В заключении предписывается то конкретное действие, которое субъект должен совершить.

В терминах логики оценок эту схему рассуждения можно упрощенно представить так: «Позитивно ценно *B*; средством для достижения *A* является действие *B*; следовательно, позитивно ценно (должно быть сделано) *B*». Например:

*N* хочет, чтобы окно было открыто.

Если *N* не выполнит определенное действие, окно не будет открыто.

*N* должен выполнить действие «открытия окна».

Деление выводов на *теоретические* и *практические* восходит еще к Аристотелю, говорившему, что если заключением первых является утверждение, то заключение вторых — действие<sup>1</sup>.

В недавнее время внимание к практическому силлогизму как универсальной схеме понимания поведения человека было привлечено Э.Энскомб и Г.Х. фон Вригтом<sup>2</sup>. «Практическое рассуждение, — пишет фон Вригт, — имеет большое значение для объяснения и понимания действия. Один из основных тезисов... состоит в том, что практический силлогизм дает наукам о человеке то, что так долго отсутствовало в их методологии: подходящую модель объяснения, которая является подлинной альтернативой по отношению к модели охватывающего закона. С более общей точки зрения можно сказать, что подводящая модель служит для каузального объяснения и объяснения в естественных науках; практический же силлогизм служит для телеологического объяснения в истории и социальных науках»<sup>3</sup>.

То, что фон Вригт называет «телеологическим объяснением» представляет собой, однако, не объяснение, а понимание. В этом «объяснении» из оценки, устанавливающей намерение (цель) действующего субъекта, и описательного утверждения о причинной связи цели со средством ее достижения выводится утверждение о том, что должен сделать субъект, то есть новая оценка (норма). Эта схема рассуждения именуется иногда также «интенциональным объяснением», объяснением через цели, которые ставит перед собой индивид. Вряд ли названия «телеологическое объяснение» и «интенциональное объяснение» удачны: они способствуют ставшей уже традиционной путанице между объяснением и пониманием.

Первые практические силлогизмы упоминались еще Аристотелем. Однако до сих пор отсутствует общая логическая теория практического рассуждения. Является ли логически правильным

<sup>1</sup>См.: *Аристотель*. О движении животных. 701 а 10—40; Никомахова этика. 1147а 25—31.

<sup>2</sup>См.: *Anscombe E.* Intention. — Oxford, 1957; *Wright G.H. von.* The Varieties of Goodness. — London, 1963. — Ch VIII.

<sup>3</sup>*Wright G.H. von.* Explanation and Understanding. — London, 1971. — P. 27.

умозаключение типа: «*x* хочет успеть на поезд; если он не побежит, он не успеет на поезд; следовательно, *x* должен бежать»? «На этот вопрос нелегко ответить, — пишет фон Вригт. — С одной стороны, наш силлогизм кажется вполне убедительным, лишенным слабостей, вполне обоснованным. С другой стороны, напрасно было бы искать в учебниках и книгах по логике ту схему вывода, частным случаем которой был бы данный силлогизм. Он не является, конечно, категорическим или модальным силлогизмом... Следует ли пытаться дополнить рассматриваемый силлогизм некоторыми, якобы не выраженными в нем явно посылками, чтобы сделать его обоснованным в силу законов “обычной логики”? Я думаю, это привело бы в тупик. Не помогло бы и расширение второй посылки до утверждения “*x* полагает, что если он не побежит, он не успеет на поезд”. Будем ли мы отрицать, что данный силлогизм логически обоснован? Этот выход часто предлагался, но, по-моему, он является простой отговоркой. Мы должны, я думаю, принять, что практические силлогизмы являются специфическими логически обоснованными схемами аргументации. Принятие их означает на самом деле расширение области логики. Мы не можем свести практические силлогизмы к каким-то другим образцам обоснованного вывода. Но мы можем, и, конечно, должны, приложить усилия для прояснения их своеобразной природы»<sup>1</sup>.

Логический анализ практического силлогизма предполагает построение особой логической теории практического рассуждения. Чтобы очертить контуры этой теории, необходимо представить практический вывод в стандартизированной форме. Первая его посылка говорит о некотором желаемом результате или цели, т.е. является позитивной оценкой некоторого состояния дел. Другая посылка указывает на средства к достижению поставленной цели. Эта посылка фиксирует причинную связь между предполагаемыми средствами и целью и представляет собой простейший эмпирический закон. Заключение практического вывода говорит о том действии, которое должен выполнить агент, поставивший перед собой определенную цель, а именно о действии, реализующем *A*: «Должно быть выполнено действие *B*». Последнее выражение является позитивной оценкой действия *B*: «Хорошо, что реализуется *B*». Поскольку действующее лицо (агент) является одним и тем же на протяжении практического вывода, в особом упоминании агента нет необходимости.

<sup>1</sup>Wright G.H. von. The Varieties of Goodnes. — P. 167—168.

Одна из стандартных форм практического вывода такова:

Позитивно ценно  $A$ ;  $B$  есть причина  $A$ ; значит, позитивно ценно  $B$ .

Другая стандартная форма практического силлогизма:

Не- $A$  есть причина не- $B$ ;  $B$  — позитивно ценно;  
значит,  $A$  также является позитивно ценным.

Теория практических выводов должна быть, таким образом, комбинированной, соединяющей логику абсолютных оценок и логику причинности. С первой логикой ситуация сравнительно ясна, вторая нуждается в тщательном исследовании.

Не входя в детали логического анализа практического силлогизма, отметим, что, на наш взгляд, этот силлогизм является формой не дедуктивного, а *индуктивного рассуждения*. Целевое (мотивационное, телеологическое) понимание представляет собой индукцию, заключение которой является *проблематичным утверждением*.

Во-первых, можно привести примеры конкретных рассуждений, следующих схемам целевого понимания, но дающих, как кажется, только проблематичное заключение. Таков, в частности, практический силлогизм: « $N$  хочет разбогатеть; единственный способ для  $N$  достичь богатства — это убить дядю, наследником которого он является; значит,  $N$  должен убить дядю».

Во-вторых, связь цели и средства, используемая при целевом понимании, истолкованная как описательное утверждение, является причинно-следственной связью. Как принято считать, такая связь заведомо слабее, чем связь логического следования. Допустим, что схема рассуждения «Если  $A$  причина  $B$  и  $B$  — позитивно ценно, то  $A$  позитивно ценно» является обоснованной. Тогда обоснованной должна быть и схема, полученная из нее заменой утверждения о причинной связи утверждением о логическом следовании: «Если из  $A$  логически следует  $B$  и  $B$  — позитивно, то  $A$  — позитивно ценно». Но последняя схема заведомо не относится к обоснованным, это типичная схема индуктивного рассуждения.

В-третьих, в логике истины аналогом схемы целевого понимания была бы схема: «Если истинно, что  $A$  — причина  $B$  и истинно  $B$ , то истинно  $A$ ». Но последняя схема не является обоснованной. Значит, рассуждая по аналогии, можно сказать, что и схема целевого понимания также не должна считаться схемой дедуктивного умозаключения.

И, наконец, в-четвертых, схемы целевого понимания нарушают принцип Юма, утверждающий невыводимость описательных утверждений из оценок. Преобразование схемы «Если  $B$  — причина  $A$  и  $A$  — позитивно ценно, то  $B$  — пози-

тивно ценно» дает схему «Если  $A$  — позитивно ценно и неверно, что  $B$  — позитивно ценно, то неверно, что  $B$  — причина  $A$ ». Здесь из двух оценок вытекает описательное утверждение. Преобразование схемы «Если не- $A$  причина не- $B$  и  $B$  — позитивно ценно, то  $A$  — позитивно ценно» дает схему «Если  $B$  — позитивно ценно и неверно, что  $A$  позитивно ценно, то неверно, что не- $A$  есть причина не- $B$ ». Последняя схема также позволяет из двух оценок вывести описание.

Иногда в качестве практического силлогизма (вывода) предлагается следующая схема:

Агент  $N$  стремится получить  $A$ .  
 Для достижения  $A$  нужно совершить действие  $B$ .  
 Значит,  $N$  совершает действие  $B$ <sup>1</sup>.

Очевидно, однако, что этот вывод является логически необоснованным. В нем из оценочной и описательной посылок (обе они необходимы) выводится описательное заключение. Вывод нарушает рассматривавшийся ранее принцип, говорящий о невозможности получения описательных заключений из оценочных посылок, выведения «есть» из «должен». Это становится особенно ясным, когда рассматриваемая схема переформулируется следующим образом:

Агент  $N$  позитивно оценивает  $A$ .  
 $B$  есть причина  $A$ .  
 Значит, агент  $N$  реализует  $B$ .

Далеко не всегда человек совершает те действия, которые обеспечивают достижение поставленной им цели. Можно стремиться к некоторой цели, но одновременно отвергать средства, имеющиеся для ее достижения. Из посылок « $N$  позитивно оценивает  $A$ » и « $B$  есть причина  $A$ » вытекает заключение « $N$  должен реализовать  $B$ », но никак не « $N$  на самом деле реализует  $B$ ». Не всякое должное действие (в данном случае действие, предписываемое поставленной целью) реально осуществляется.

Как уже отмечалось, при теоретическом объяснении заключение является **н е о б х о д и м ы м**. Объясняемое явление подводится под закон природы, что сообщает этому явлению статус физически (онтологически) необходимого. Придание такого статуса К.Гемпель считал общим **у с л о в и е м а д е к в а т н о с т и** объяснения: объяснение должно содержать информацию, позволяющую утверждать, что объясняемое явление действительно имеет место.

При оправдании заключение не является физически необходимым. Но оно **а к с и о л о г и ч е с к и н е о б х о д и м о**, поскольку приписывает позитивную ценность действию, о котором говорится в заключении. Различие между физической необ-

<sup>1</sup>См., например: *Никифоров А.Л., Тарусина Е.И.* Виды научного объяснения // *Логика научного познания. Актуальные проблемы.* — М., 1987. — С. 192—193.

ходимостью и аксиологической необходимостью существенно. Если какое-то явление или действие физически необходимо, то оно имеет место; но из того, что какое-то явление или действие аксиологически необходимо (позитивно ценно), не вытекает, что это явление или действие на самом деле реализуется.

Первая посылка практического вывода выражает ту цель, которую ставит перед собой действующий субъект. Эта цель может быть стандартной, общей для всех представителей рассматриваемого сообщества, или индивидуальной, продиктованной особенностями той ситуации, в которой действует конкретный субъект.

*Оправдание, исходящее из стандартной цели, можно назвать рациональным, а оправдание, опирающееся на индивидуальную цель, — телеологическим, или мотивационным.*

В первом случае стимулом к деятельности являются какие-то общепринятые в данном сообществе образцы, стандарты или нормы. Во втором — индивидуальные ценности, намерения или стремления. Различие между рациональным и телеологическим оправданием является, конечно, относительным, как относительна сама граница между общепринятыми и чисто индивидуальными ценностями.

К.Гемпель и его сторонники настаивали на том, что всякое подлинно научное объяснение должно опираться на научный закон и что дедуктивно-номологическая схема объяснения является универсальной<sup>1</sup>. У.Дрей попытался показать, что в истории используются иные типы объяснений, в частности «рациональное объяснение». В реальных исторических объяснениях почти не прибегают к помощи законов. При объяснении поступков исторической личности историк старается вскрыть те мотивы, которыми она руководствовалась в своей деятельности и показать, что в свете этих мотивов поступок был разумным (рациональным)<sup>2</sup>.

Дрей так описывает схему «рационального объяснения», противопоставляемую «объяснению при помощи охватывающего закона»:

---

<sup>1</sup>«Никакое объяснение, то есть ничто, заслуживающее почетного титула “объяснение”, — пишет, например, Р.Карнап, — не может быть дано без обращения по крайней мере к одному закону... Важно подчеркнуть этот пункт, потому что философы часто утверждают, что они могут объяснить некоторые факты в истории, природе или человеческой жизни каким-то другим способом» (Карнап Р. Философские основания физики. Введение в философию науки. — М., 1971. — С. 43.).

<sup>2</sup>См.: Дрей У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. — М., 1977. — С. 41—43.



В ситуации типа *C* следовало сделать *X*.  
 Деятель *A* находился в ситуации типа *C*.  
 Поэтому деятель *A* должен был сделать *X*.

На самом деле, это схема не объяснения, а оправдания. Первая посылка является не общим описательным утверждением, что требуется для объяснения, а общей оценкой («оценочным принципом действия», по выражению Гемпеля), как и в случае всякого оправдания. Вторая посылка представляет собой фактическое утверждение, фиксирующее начальные условия. Заключение есть оценка, распространяющая общий принцип на отдельный случай. Заключение логически вытекает из принятых посылок.

Возражая Дреку, Гемпель так реконструировал его схему:

Деятель *A* находился в ситуации типа *C*.  
 В ситуации типа *C* следовало сделать *X*.  
 Поэтому деятель *A* сделал *X*<sup>1</sup>.

Здесь заключение является уже не оценкой, а описанием, и оно не вытекает дедуктивно из посылок, одна из которых представляет собой оценку. Предлагаемая Гемпелем схема — это схема логически некорректного рассуждения, не имеющего ничего общего ни с объяснением, ни с оправданием.

Самим Гемпелем предлагалась следующая схема «исторического объяснения»:

Деятель *A* находился в ситуации типа *C*.  
 В то время он был рационально действующим лицом.  
 Любое рациональное существо в ситуациях данного типа обязательно (или же с высокой вероятностью) делает *X*.  
 Следовательно, *A* сделал *X*.

По мысли Гемпеля, это рассуждение представляет собой обычное объяснение с помощью «охватывающего закона»<sup>2</sup>.

Нетрудно заметить, однако, что схема Гемпеля является откровенно двусмысленной. Именуемое «законом» утверждение «Любое рациональное существо в ситуациях типа *C* обязательно (или же с высокой вероятностью) делает *X*» может истолковываться и как оценка, и как описание. В случае оценочной интерпретации это утверждение выражает определенное требование к «разумным» существам: в ситуациях типа *C* они должны всегда или в большинстве случаев делать *X*. Описательная интерпретация «закона» является гораздо менее естественной, поскольку в нем идет речь о «рациональных существах», которые «обязательно делают» что-то.

Гемпелевская схема может пониматься, таким образом, и как оправдание, и как объяснение. Но «объясняющая сила» описательных утверждений типа «Многие люди в ситуациях типа *C* делают *X*», конечно же, невелика.

<sup>1</sup>См.: Там же.

<sup>2</sup>См.: Гемпель К. Мотивы и «охватывающие» законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. — М., 1977. — С. 78.

Объяснение включает описательные посылки и его заключение является описанием; посылки оправдания (понимания) всегда включают по меньшей мере одну оценку и его заключение является оценкой. В обычном языке граница между описательными и оценочными утверждениями не является ясной, одно и то же предложение способно в одних случаях выражать описание, а в других — оценку. Неудивительно поэтому, что разграничение объяснения и оправдания не всегда является простым делом.

Рассматривая творчество З.Фрейда в контексте его эпохи, К.Юнг пишет: «Если... соотносить учение Фрейда с прошлым и видеть в нем одного из выразителей неприятия нарождающимся новым веком своего предшественника, века девятнадцатого, с его склонностью к иллюзиям и лицемерию, с его полуправдами и фальшью высокопарного изъяснения чувств, с его пошлой моралью и надуманной постной религиозностью, с его жалкими вкусами, то, на мой взгляд, можно получить о нем гораздо более точное представление, нежели, поддаваясь известному автоматизму суждения, принимать его за провозвестника новых путей и истин. Фрейд — великий разрушитель, разбивающий оковы прошлого. Он освобождает от тлетворного влияния прогнившего мира старых привязанностей»<sup>1</sup>. В истолковании Юнга, Фрейд — прежде всего бунтарь и ниспровергатель, живший в период крушения ценностей уходящей в прошлое викторианской эпохи. Основное содержание учения Фрейда — не новые идеи, направленные в будущее, а разрушение морали и устоев, особенно сексуальных устоев, викторианского общества.

Если бы выделяемые Юнгом особенности индивидуального характера Фрейда и главные черты предшествовавшей эпохи были описанием, предлагаемый Юнгом анализ можно было бы считать объяснением особенностей творчества Фрейда. Но утверждения Юнга могут истолковываться и как оценки характера и эпохи, достаточно распространенные, может даже показаться общепринятые, но тем не менее именно оценки, а не описания. Можно быть уверенным, что, скажем, через сто лет девятнадцатый век будет оцениваться совершенно иначе, точно так же, как по-другому будет оцениваться направленность творчества Фрейда. Если речь идет об оценках, то анализ Юнга является уже не объяснением, а оправданием творчества Фрейда, призванным дать понимание этого творчества. Вряд ли между этими двумя возможными истолкованиями суждений Юнга можно сделать твердый и обоснованный выбор.

## 5. Понимание природы

Если в гуманитарном знании процедуры истолкования и понимания обычны, то в естественных науках они кажутся по меньшей мере редкими. По поводу идеи «истолкования природы», ставшей популярной благодаря Ф.Бэкону, В.Дильтей ясно

<sup>1</sup>Юнг К. Феномен духа в искусстве и науке. — М., 1992. — С. 58.

и недвусмысленно сказал: «Понимание природы — *interpretatio naturae* — это образное выражение»<sup>1</sup>.

Иного мнения о понимании природы придерживаются сами ученые, изучающие ее.

Одна из глав книги В.Гейзенберга «Часть и целое» симптоматично называется «Понятие “понимания” в современной физике (1920—1922)».

«Позитивисты, конечно, скажут, что понимание равносильно умению заранее рассчитать, — пишет Гейзенберг. — Если можно заранее рассчитать лишь весьма специфические события, значит, мы поняли лишь некую небольшую область; если же имеется возможность заранее рассчитать многие и различные события, то это значит, что мы достигли понимания более обширных сфер. Существует непрерывная шкала переходов от понимания очень немногoго к пониманию всего, однако качественного отличия между способностью заранее рассчитать и пониманием не существует»<sup>2</sup>. «Умение рассчитать» — это способность сделать точное количественное предсказание. Предсказание есть объяснение, направленное в будущее, на новые, еще неизвестные объекты. Сведение понимания к «умению рассчитать» является, таким образом, редукцией понимания к объяснению.

Гейзенберг приводит простой пример, показывающий, что такая редукция неправoмерна: «Когда мы видим в небе самолет, то можем с известной степенью достоверности заранее рассчитать, где он будет через секунду. Сначала мы просто продлим его траекторию по прямой линии; или же, если мы успели заметить, что самолет описывает кривую, то учтем и кривизну. Таким образом, в большинстве случаев мы успешно справимся с задачей. Однако траекторию мы все же еще не поняли. Лишь когда мы сначала поговорим с пилотом и получим от него объяснение относительно намечаемого полета, мы действительно пойдем траекторию»<sup>3</sup>.

О расхождении объяснения и понимания можно говорить не только относительно взаимодействия природы и человека, но и применительно к самой природе, рассматриваемой вне контекста целей и намерений человека.

По поводу вопроса, понял ли он эйнштейновскую теорию относительности, Гейзенберг, в частности, говорит: «Я был в состоянии ответить лишь, что я этого не знаю, поскольку мне не ясно, что, собственно, означает слово “понимание” в естествознании. Математический остов теории относительности не представляет для меня трудностей, но при всем том я, по-видимому, так еще и не понял, почему движущийся наблюдатель под словом “время” имеет в виду нечто иное, чем покоящийся. Эта путаница с понятием времени остается мне

<sup>1</sup>*Dilthey W.* Gesammelte Schriften. — Leipzig, 1924. — S. 324.

<sup>2</sup>Гейзенберг В. Часть и целое. — С. 127—128.

<sup>3</sup>Там же.

чуждой и пока еще невразумительной... У меня такое ощущение, что я в известном смысле обманут логикой, с какой действует этот математический каркас. Или, если хочешь, я понял теорию головой, но не понял сердцем»<sup>1</sup>. Гейзенберг обосновывает свое сомнение в возможности отождествлять предварительную вычисляемость с пониманием также примерами из истории. Древнегреческий астроном Аристарх уже допускал возможность того, что Солнце находится в центре нашей планетной системы. Однако эта мысль была снова отвергнута Гиппархом и забыта, так что Птолемей исходил из центрального положения Земли, рассматривая траектории планет в виде нескольких находящихся друг над другом кругов, циклов и эпициклов. При таких представлениях он умел очень точно вычислять заранее солнечное и лунные затмения, и его учение поэтому в течение полутора тысяч лет расценивалось как надежная основа астрономии. Но действительно ли Птолемей понимал планетную систему? Разве не Ньютон, знавший закон инерции и применивший концепцию силы как причины изменения скорости движения, впервые действительно объяснил движение планет через тяготение? Разве не он первый понял это движение? Другой пример касается электричества. Когда в конце XVIII в. были точнее изучены электрические явления, существовали весьма точные расчеты электростатических сил между заряженными телами. В качестве носителей этих сил выступали тела, как и в ньютоновской механике. Но лишь после того, как Фарадей видоизменил вопрос и поставил проблему силового поля, то есть разделения сил в пространстве и времени, он нашел основу для понимания электромагнитных явлений, которые затем Максвелл смог сформулировать математически.

Эти примеры показывают, что пониматься могут не только поступки человека, но и явления природы, применительно к которым невозможно говорить о «намерениях» и «целях».

*Понимание природы является оценкой ее явлений с точки зрения того, что должно в ней происходить, т.е. с позиции устоявшихся, хорошо обоснованных, опирающихся на прошлый опыт представлений о «нормальном», или «естественном», ходе вещей.* Понять какое-то природное явление значит подвести его под стандартное представление о том, что происходит в природе. Проблема понимания встает в естествознании, как правило, только в моменты его кризиса, когда разрушаются существующие *стандарты* оценки изучаемых природных явлений. Если какая-то область явлений описывается одной, в достаточной мере подтвержденной и хорошо вписывающейся в существующую систему знания теорией, то данная теория определяет как то, что происходит в рассматриваемой области, так и то, что должно в ней происходить в обычных условиях. Теория и описывает, и предписывает естественный ход событий. Дескриптивная и прескриптивная интерпретации основных положений теории (ее законов) не различаются, объяснение и понимание, опирающиеся на эти законы, совпадают. Как только в рассматриваемой области обнаруживаются аномальные с точки зрения теории явле-

<sup>1</sup>Там же. — С. 50—51.

ния, даваемые ею объяснения и понимания начинают расходиться. Когда возникает конкурирующая теория, относящаяся к той же области, расхождение объяснения и понимания становится очевидным, поскольку представление о естественном, и значит единственном, ходе вещей расплывается. Возникает возможность объяснения без понимания и понимания без объяснения.

Понятие *естественного хода событий* является ключевым в проблеме понимания природе. Пока что это понятие столь же неясно, как и понятие понимания природы.

«Любая физическая теория говорит нам, — пишет А.Грюнбаум, — какое индивидуальное частное поведение физических существ или систем она считает “естественным” при отсутствии каких-либо видов *возмущающих* влияний, которые она рассматривает. Одновременно с этим точно определяются влияния или причины, которые рассматриваются в этой теории как ответственные за какое-либо отклонение от того поведения, которое предполагается “естественным”. Однако, когда такие отклонения наблюдаются, а теория не может сказать, какими возмущениями они вызваны, то в таком случае ее предположения относительно характера “естественного”, или невозмущаемого, поведения становятся сомнительными»<sup>1</sup>. Теория постоянно стремится к тому, чтобы предписываемый ею естественный ход событий совпадал в известных пределах с реальным их ходом, чтобы «должен» не отрывалось от «есть», а понимание, достигаемое на основе прескриптивно интерпретированных законов теории соответствовало тем объяснениям, которые строятся на основе этих же законов, истолкованных дескриптивно. Если намечается существенное расхождение «естественного порядка» и реального хода событий, теория должна быть способна указать те возмущающие причины, которые искажают второй ход событий, несут ответственность за отклонение его от первого.

Для механики Аристотеля было естественным, что равномерное движение не может продолжаться бесконечно при отсутствии системы внешних сил. В механике Галилея тело, движущееся равномерно и прямолинейно, сохраняло свою скорость без внешней силы. Сторонники Аристотеля требовали от Галилея указать причину, которая не позволяет телу стремиться к состоянию покоя и обуславливает сохранение скорости в одном и том же направлении. Поведение движущихся тел, как оно представлялось механикой Галилея, не было естественным с точки зрения механики Аристотеля и не было понятным для ее сторонников.

---

<sup>1</sup>Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. — М., 1969. — С. 501.

Как и в общем случае, объяснение явлений природы есть выведение их описания из принятых общих истин, а оправдание (понимание) этих явлений — выведение их из общих ценностей.

Внутренние ценности естественнонаучной теории определяются ее контекстом и функционируют как ценности до тех пор, пока выступают в качестве стандартов оценки иных ее утверждений. Под давлением обстоятельств, и прежде всего новых фактических данных, прежние стандарты могут быть пересмотрены и заменены другими. Последние должны по-новому упорядочить утверждения теории и, сверх того, объяснить, почему старые образцы оказались неэффективными.

Недостаточное внимание к ценностям в структуре теории во многом объясняется неисследованностью способа упорядочения входящих в нее положений.

Теория всегда имеет иерархическое и ступенчатое строение. С каждой новой, более высокой ступенью иерархии ценностное, прескриптивное значение утверждений, относящихся к этой ступени, увеличивается. Возрастает их сопротивляемость попыткам опровергнуть или отказаться от них, укрепляется их роль критериев оценки иных, лежащих ниже предложений.

Отчетливо двойственный, описательно-предписательный характер наиболее общих принципов теории очевиден. Они описывают и объясняют некоторую совокупность фактов. В качестве описаний принципы должны соответствовать эмпирическим данным и эмпирическим обобщениям. Вместе с тем принципы являются также стандартами оценки как других утверждений теории, так и самих фактов.

Эта двойственность отмечается многими авторами. Н.Хэнсон, например, пишет: «...Формулировки законов иногда используются для выражения возможных и случайных утверждений, иногда для выражения правил, рекомендаций, предписаний, нормативов, соглашений, априорных утверждений... а иногда — формально аналитических высказываний... Немногие осознают разнообразие способов использования формулировок научных законов в одно и то же время, иногда даже в одном и том же отчете об эксперименте»<sup>1</sup>.

Общие принципы научной теории имеют, таким образом, две функции: описания и оценки. Нередко значение одной из них резко преувеличивается, а другой — игнорируется. Если

<sup>1</sup>Hanson N.R. Patterns of Discovery. — Cambridge, 1965. — P. 98.

абсолютизируется момент описания, принципы онтологизируются и предстают как прямое, однозначное и единственно возможное отображение фундаментальных характеристик бытия. Если принимается во внимание только оценочная функция, принципы истолковываются как конвенции, в выборе которых сказывается все, начиная с соображений математического удобства и кончая личными склонностями ученого.

Если общий принцип истолковывается как описание, выведение из него частного явления представляет собой объяснение последнего. Если же общий принцип трактуется как оценка (предписание, стандарт), то выведение из него частного явления оказывается оправданием этого явления, обеспечивающим его понятность в свете принятого образца.

Поскольку научные законы могут истолковываться двояко — дескриптивно и прескриптивно (как описания и как оценки), определение объяснения как подведения рассматриваемого явления под научный закон является неточным. Объяснение — это не просто подведение под закон, а подведение под закон, *интерпретированный как описание*, т.е. берущийся в одной из двух своих функций. Подведение какого-то явления под научный закон, истолкованный как оценка (предписание, стандарт), представляет собой оправдание данного явления, придание ему статуса того, что должно быть.

К примеру, общее положение «Если металлический стержень нагреть, он удлинится» можно истолковать как описание металлических стержней и построить на его основе, допустим, объяснение:

Для всего металлического стержня верно, что, если он нагревается, он удлиняется.

Железный стержень нагревается.

Значит, железный стержень удлиняется.

Указанное общее положение можно истолковать также как оценку, как суждение о том, как должны вести себя металлические стержни, и построить на основе данной оценки оправдание определенного факта:

Каждый металлический стержень при нагревании должен удлиняться.

Железный стержень нагревается.

---

Железный стержень должен удлиняться.

Чем объясняется иллюзия, будто понимание играет весьма ограниченную роль в познании природы или даже, как иногда полагают, вообще не встречается в естествознании? Прежде всего, существует определенная асимметрия между гуманитарными и естественными науками с точки зрения вхождения в них ценностей. Первые достаточно прямо и эксплицитно формули-

руют оценки и нормы разного рода, в то время как во вторые ценности входят по преимуществу имплицитно, чаще всего в составе описательно-оценочных утверждений. Это усложняет вопрос о роли понимания в естествознании и одновременно вопрос о роли объяснения в гуманитарном знании.

Иногда слову «понимание» придается смысл неожиданного прозрения, внезапного схватывания и ясного видения какого-то, до тех пор бывшего довольно несвязным и туманным целого. Такого рода понимание является, конечно, редкостью не только в естественных, но и в гуманитарных науках. Но сводить к «озарениям», «инсайтам» или «прозрениям» всякое понимание — это все равно, что сводить работу художника над картиной к нескольким завершающим мазкам, придающим ей особое звучание и цельность. Отдельные акты понимания, логически связывая между собой утверждения и упорядочивая их в иерархическую структуру, придают единство и целостность теории или иной сложной системе идей. Роль понимания аналогична в этом плане роли объяснения. Итогом многих элементарных пониманий и объяснений является система идей как органическое единство, отдельные элементы которого придают смысл целому, а оно им. Называя «пониманием» только заключительный этап «схватывания» или «усмотрения» целостности, складывающейся, разумеется, постепенно, нужно помнить, что без предшествующих, более элементарных дедукций в форме объяснений и пониманий он просто не был бы возможен.

И наконец, в естественных науках процедура истолкования и понимания маскируется периодами так называемой «нормальной науки», когда основные ценности теории, входящие в ее парадигму, не подвергаются сомнению и пересмотру. Нормальная наука внушает впечатление, что описание обязательно совпадает с оценкой, «имеет место» — с «должно быть» и, соответственно, объяснение есть одновременно и оправдание. Однако в период кризиса естественнонаучной теории и разрушения ее парадигмы, когда на арену выходят конкурирующие системы ценностей, объяснение и понимание заметно расходятся. В такой ситуации споры о понимании становятся обычным делом. В кризисный период «есть» и «должен», объяснение и понимание перестают совпадать и становится возможным и явным объяснение (в частности правильное предсказание) без понимания и понимание без умения объяснить на основе точного закона.

В мире, постулируемом теорией, граница между тем, что есть и тем, что должно быть, не является, как правило, устойчивой и



определенной. Как уже отмечалось, общие утверждения теории, и в особенности научные законы, имеют обычно двойственный, описательно-оценочный характер. Они функционируют и как описания, и как стандарты оценки других утверждений и ситуаций. В силу этого трудно — а в естественнонаучных теориях вне контекста их развития просто невозможно — провести различие между объяснением и оправданием. Рассуждение, играющее в одном случае роль объяснения, в другом может оказаться оправданием, и наоборот. Возможность такой смены функций связана с тем, что объяснение и оправдание совпадают по своей общей структуре.

До сих пор речь шла о сильном (рациональном) понимании природы. В случае природных явлений возможно также *слабое* (целевое, телеологическое) *понимание*. Оно редко встречается в рассуждениях о неживой природе, но достаточно обычно в биологии и других науках о живой природе, где оно именуется *телеологическим*.

Один пример телеологического понимания:

Чтобы выжить, зайцу следует зимой иметь другую окраску, чем летом.  
Заяц стремится выжить.

Значит, зайцу нужно зимой иметь другую окраску, чем летом.

Первая посылка устанавливает связь между целью и одним из средств ее достижения. Рассматриваемая как описательное утверждение, данная посылка фиксирует простейшую каузальную зависимость: смена зайцем окраски способствует его выживанию. «Способствует» означает здесь «является частичной, или неполной, причиной». Вторая посылка устанавливает позитивную ценность цели. Собственно говоря, каузальное утверждение становится целевым как раз благодаря тому, что следствие причинно-следственного утверждения объявляется целью, то есть позитивной ценностью. В заключении говорится о том, что «должен делать» заяц, «поставивший указанную цель». Многим представляется, что телеологическое понимание является всего лишь метафорическим способом выражения обычного каузального объяснения.

## 6. Понимание языковых выражений

Казалось бы, что может быть обыденнее и проще общения людей с помощью языка и достигаемого ими понимания друг друга?

Обычность, постоянная повторяемость речевого общения создает впечатление не только естественности, но и своеобразной простоты употребления языка для целей коммуникации. Кажется, что взаимопонимание собеседников является элементарным делом, если, конечно, выполняются некоторые простейшие условия: скажем, разговор ведется на языке, известном обо-

им; словам придаются их обычные значения; пословицы и метафоры не истолковываются буквально и т.п. Понимание представляется нормой, а случаи непонимания — отклонениями от нее, недоразумениями.

Представление о понимании как о чем-то крайне простом, не требующем особых размышлений, очень распространено. Настолько, что даже само слово «понимать» в обычном языке редко используется в значении схватывать или усваивать смысл сказанного. Широко употребляемые и ставшие уже стандартными выражения «они не поняли друг друга», «говорили на разных языках» и т.п. означают обычно вовсе не то, что выяснявшие свои отношения люди не улавливали смысла употреблявшихся ими высказываний. Напротив, им было ясно, о чем шла речь. Но их позиции, изложенные, быть может, со всей доступной ясностью и убедительностью, оказались все-таки несовместимыми. «Не понять» чаще всего как раз и означает «не принять чужую точку зрения», «не принять чужих оценок».

Однако понимание как схватывание смысла сказанного далеко не так просто и прозрачно, как это кажется. Обычность понимания, его элементарность, повседневность и доступность, прежде всего бросающиеся в глаза, не должны заслонять существования особой проблемы понимания языковых выражений.

Одинаковое понимание, являющееся центральной проблемой интеллектуальной коммуникации, предполагает, что собеседники, в о - п е р в ы х, говорят об одном и том же предмете, в о - в т о р ы х, беседуют на одном языке и, наконец, в - т р е т ь и х, придают своим словам одни и те же значения. Эти условия представляются необходимыми, и нарушение любого из них ведет к непониманию собеседниками друг друга.

Однако сами эти условия — при всей их внешней простоте и очевидности — являются весьма абстрактной характеристикой понимания. Первая же попытка приложить их к реальной коммуникации и выявить тем самым их полезность и глубину наглядно показывает это.

Эти условия не являются независимыми друг от друга, и ни одно из них не может быть понято в изоляции от остальных. Стоящие за ними общие соображения могут быть выражены и иначе, в форме каких-то иных требований. Можно сказать, например, что одинаковое понимание требует, чтобы высказывания касались одного и того же предмета и включались собеседниками в один и тот же речевой или более широкий контекст.

Но главное в том, что попытка конкретизации условий понимания затрагивает целую серию сложных и ставших уже классическими проблем, касающихся самой сути общения посредством знаков. В их числе проблемы знака, значения, синонимии, многозначности, контекста и т.д. Без детального исследования всех этих и многих связанных с ними проблем общие принципы коммуникации и понимания неизбежно остаются абстракциями, оторванными от жизни.

Для строгого определения понимания языковых выражений необходимо уточнить два фундаментальных понятия семантики — понятие *значения* и понятие *представления*. Первое из них относится прежде всего к изолированным словам, второе — к контексту или ситуации, в которой употребляются слова. Значение и представление являются теми двумя полюсами семантики, между которыми группируется все ее содержание<sup>1</sup>. *Понимание — это связывание воедино данных двух полюсов.*

Вообразим простейшую ситуацию общения: говорящий передает слушающему единственное слово *огонь*. Информация, получаемая слушателем, минимальна. Из большого числа возможных слов выбрано одно, и тем самым тема общения существенно сужена. Но слушающий еще не знает, о каком именно огне идет речь. Это может быть огонь свечи или мимолетная вспышка метеора, пожар или огонь очага, огонь любви или огонь вина, огонь

<sup>1</sup>Под термином «значение» здесь имеется в виду значение слова в системе языка, в его словаре, в то время как термин «представление» характеризует смысл слова в речи. В одном ряду с последним термином стоят такие, как «ситуационное значение», «контекстное значение», «субъективное значение», «индивидуальное значение». (См. об этом: *Вайнрих Х.* Лингвистика лжи // *Язык и моделирование социального взаимодействия.* — М., 1987. — С. 48—55.) Последующие характеристики значения и представления основываются на этой работе. «Семантика слов в тексте, — пишет Вайнрих, — коренным образом отличается от семантики изолированных слов, и семантика слова должна быть дополнена семантикой текста. Старая семантика была преимущественно семантикой слова; она изгоняла из синтаксиса все, что переступает границу слова и стремится к предложению» (Там же. — С. 51). И в другом месте: «Язык познается через предложения и тексты. Тем самым сначала у человека имеется лишь несколько представлений, их немного; затем, с расширением языковой практики, возрастает количество представлений на основе услышанных и запомнившихся предложений. Однако человек не только имеет представления, но образует из них — и это совершенно правильная гипотеза — значение. Этим достигается второй семантический полюс, и слово усвоено. Теперь его можно употреблять отдельно. В процессе употребления слова в разных предложениях гипотеза значения постоянно корректируется. Интересно, что мы как носители некоторого языка ежедневно играем в создание гипотезы и проверку ее правильности или ложности, в ту же самую игру, на правилах которой основана наука. Язык по своей структуре есть наивная наука» (Там же. — С. 52—53).

реальный или воображаемый. Слушающему известно значение слова «огонь», но это слово многозначно, его значение растянуто и нет оснований из многих возможных значений предпочесть одно. Значение является неопределенным не только по своему объему, но и по своему содержанию. Возможно, что говорящий хотел рассказать о пожаре, а слушающий подумал об огне свечи или о чем-то совершенно ином. Слушатель ожидает дальнейшей информации, которая позволила бы уточнить и конкретизировать растянутое и неопределенное значение слова *огонь*. Но уже та скудная информация, которую имеет слушающий, является началом контакта и взаимопонимания его с говорящим, поскольку рассматриваемое слово имеет для них, как и для всех тех, кто говорит на этом языке, одинаковое значение. Всем, кто знает значение (растянутое, неопределенное и социальное) слова *огонь*, присущи одинаковые ожидания по отношению к дальнейшей информации, конкретизирующей это значение. Допустим, что говорящий намеревается сообщить о пожаре, свидетелем которого он был. Значение каждого слова абстрактно: оно является результатом выделения той совокупности признаков предмета, обозначаемого словом, которые считаются релевантными для данного предмета в некоторой языковой общности. Конкретизация значения слова *огонь* с помощью слова *пожар* («огонь пожара») отделяет от релевантных в этом контексте признаков огня все иные его признаки, считающиеся уже нерелевантными и не входящими в значение слова.

Таким образом, значение слова характеризует слово вне контекста его употребления и обладает следующими четырьмя особенностями. Во-первых, это значение *р а с т я н у т о*: одно и то же слово может отсылать к разным конкретным ситуациям. Во-вторых, это значение является содержательно *н е о п р е д е л е н н ы м*: оно включает многие признаки, из которых в каждой ситуации его употребления оказываются релевантными лишь некоторые. В-третьих, значение *с о ц и а л ь н о*: слово имеет одинаковое значение для всех, кто пользуется данным языком. И наконец, в-четвертых, значение слова *а б с т р а к т н о*: оно формируется на основе отбора некоторых признаков предмета, обозначаемого словом, и абстрагирования от всех иных его признаков.

Конкретизация значения слова, осуществляемая контекстом его употребления и прежде всего контекстом других, используемых вместе с ним слов, должна связать значение слова с представлением. В частности, уточнение значения слова *огонь* с

помощью слова *пожар* связывает значение «огня» с конкретным, имеющимся у слушателя представлением об огне пожара, отличном от представлений о ружейном огне, огне свечи, вина, любви и т.д. В отличие от значения, представление не растянуто, а узко ограничено. Представление о пожаре приближается к конкретному предмету, к некоему пожару, о котором говорящий хочет сообщить. Представление не является также неопределенным, напротив, оно весьма точно и включает вполне конкретные признаки. Представление не социально, а индивидуально. У каждого, включая говорящего и слушатели, имеется свое субъективное, сугубо индивидуальное и неповторимое представление об огне пожара. И наконец, представление не абстрактно, а конкретно. В представлении говорящего никакой из многочисленных признаков пожара, о котором он хочет рассказать, не отбрасывается и не считается неуместным. Всякое представление является, таким образом, **о г р а н и ч е н н ы м, т о ч н ы м, и н д и в и д у а л ь н ы м и к о н к р е т н ы м.**

Мостиком между значением и представлением является *предложение*. Оно вместе с контекстом его употребления сводит растянутое, неопределенное, социальное и абстрактное значение до ограниченного, точного, индивидуального и конкретного представления. «Если мы слышим изолированное слово, наш ум может блуждать по всему пространству значения. Если же слово услышано в тексте, этого не происходит. Контекст фиксирует. Он фиксирует именно значение. Слова текста взаимно ограничивают друг друга и ограничиваются сами и тем действительней, чем полноценней текст»<sup>1</sup>.

Языковое выражение становится понятным слушателю, как только ему удастся связать значения слов, входящих в это выражение, со своими представлениями о тех предметах, к которым отсылают слова.

*Понимание языкового выражения — это подведение значений входящих в него слов под соответствующие представления.*

В процессе понимания индивидуальное, конкретное представление выступает как *образец*, с которым нужно согласовать значение. Представление о каком-то объекте говорит о том, каким *должен быть* объект данного рода с точки зрения обладающего этим представлением индивида. Представление является ценностью, которой должно соответствовать значение. В представлениях фиксируются образцы вещей, их стандарты, опре-

<sup>1</sup>Там же. — С. 53.

деляющие, какими значениями должны наделяться связываемые с этими представлениями слова.

В процессе понимания представление является исходным, или первичным, а значение должно быть приспособлено к нему. Из этого вытекает, что если связь представления и значения не удастся установить и понимание не достигается, нужно менять не представление, а значение. Если, допустим, у человека очень смутное представление о пожаре и ему не вполне понятно значение слов *огонь пожара*, это значение следует попытаться передать другими словами, прилаживая его к имеющемуся представлению. Если у кого-то вообще нет никакого представления о пожаре, любые перефразировки выражения *огонь пожара* не сделают его понятным данному слушателю.

Понимается всегда не отдельное слово, а *текст*, в котором слова взаимно ограничивают друг друга и редуцируют свои значения до представлений.

Примером такой контекстуальной редукции для слова *огонь* может служить следующее предложение из сказки братьев Гримм: «Тут солдат хорошенько осмотрелся: вокруг в аду стояли котлы, и под ними горел сильный огонь, а внутри варились что-то и клокотало». Сначала указание места (в аду) исключает все огни, которые не являются адскими огнями; затем эпитет *сильный* исключает все адские огни, которые не являются сильными; остальные слова предложения также способствуют конкретизации значения слова *огонь*. Этому способствует и текст всей сказки, так что в воображении читателя слова прочно связываются с имеющимся у него представлением об адском огне<sup>1</sup>.

«Излишне спорить о том, что первично — слово или текст (предложение), — отмечает Х. Вайнрих. — Прежде всего и всегда есть слово в тексте. И если когда-либо существовала первичная интерпретация мира с помощью слов отдельных языков, то в тексте она давно устарела. Мы не рабы слов, потому что мы хозяева текста.

Излишне также жаловаться, что языки в принципе непереводимы. Немецкое слово *Gemüt* уклоняется от перевода, равно как и французское *esprit* или американское *business*. Дилетантские аргументы такого рода столь же ничтожны, сколь и досадны. Слова *Feuer, rue, car* тоже не переводятся. Но нам вовсе и незачем переводить слова. Мы должны переводить предложения и тексты. Не беда, что значения слов при переходе от одного языка к другому обычно не совпадают. В тексте это все равно зависит только от представлений, а их можно сделать подходящими, требуется подобрать лишь соответствующий контекст. Поэтому тексты принципиально переводимы. Являются ли тогда перево-

<sup>1</sup>См.: Там же. — С. 53—54.

ды ложью? Здесь можно придерживаться следующего правила: переведенные слова лгут всегда, переведенные тексты — только в тех случаях, когда они плохо переведены»<sup>1</sup>.

Ранее упоминалось требование, чтобы собеседники, стремящиеся понять друг друга, говорили об одном и том же предмете. Никакое понимание невозможно, если люди рассуждают о разных вещах, искренне полагая или только делая вид, что речь идет об одном и том же. Такая ситуация является, кстати, нередкой, и не случайно она нашла отражение в поговорках. Если один говорит про Фому, а ему отвечают про Ерему, как будто тот и есть Фома, ни к какому пониманию беседующие не придут. Или говорят сначала о бузине, растущей в огороде, а затем сразу же переходят к дядьке, живущему в Киеве. И остается в конце концов неясным, о чем же все-таки шла речь.

Требование, чтобы собеседники говорили об одном и том же предмете, означает, что значения одинаковых слов должны редуцироваться к одинаковым представлениям. В этом случае слова и построенные из них предложения будут пониматься одинаково. Если представления говорящих о каком-то затрагиваемом предмете разнятся, необходимо модифицировать значения так, чтобы они отвечали представлениям.

Хорошим примером в этом плане является разговор Воробьянинова с Безенчуком из «Двенадцати стульев» И.Ильфа и Е.Петрова<sup>2</sup>. «Неспециалист» Воробьянинов просто говорит, что его теща умерла. Гробовых дел мастер Безенчук различает в смерти намного больше оттенков, и для каждого из них у него есть особое обозначение. Он машинально уточняет, что теща Воробьянинова не просто умерла, а преставилась, и поясняет: «Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле — значит, преставилась. А например, которая покрупнее да похудее — та, считается, богу душу отдает». И затем он излагает целую систему: в зависимости от комплекции и общественного положения скончавшегося смерть определяется или как сыграть в ящик, или приказать долго жить, или перекинуться, или ноги протянуть. «Но самые могучие когда помирают, — поясняет Безенчук, — железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают». О себе он говорит: «Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у меня комплекция мелкая». И предполагает, что о нем после смерти скажут: «Гигнулся Безенчук».

Хотя смерть в общем-то для всех одна, все-таки сколько людей, столько же представлений о смерти, каждая из смертей уникальна. И хотя язык «специалиста» стремится провести между ними более или менее тонкие различия, даже ему это явно не под силу.

Слово всегда обобщает. Оно охватывает сразу несколько сходных в чем-то предметов или явлений. Когда говорят двое, всег-

<sup>1</sup>Там же. — С. 54—55.

<sup>2</sup>См.: *Ильф И., Петров Е.* Двенадцать стульев. Золотой теленок. — М., 1987. — С.32—33.

да остается вероятность того, что они имеют в виду, может быть, весьма близкие и похожие, но тем не менее разные предметы. Быть может, интуитивно опасаясь именно этой особенности слова, Безенчук поправляет Воробьянинова: «Не умерла, а преставилась», прилаживая слова к представлению о смерти тещи.

«...Контекст создает свое представление из значения слова. Он как бы вырезает из широкого значения куски, которые не связаны с соседними значениями в предложении. То, что остается после всех отсечений, и есть представление»<sup>1</sup>.

*Понимание — это подведение значений слов под представления о тех вещах, к которым отсылают слова.* Понимание является оценкой значений с точки зрения представлений. Последние показывают, каким должен быть мир, если он правильно отражается в языке, и являются в этом смысле стандартами существующих (быть может, только в воображении) вещей.

Исходя из общего понимания ценностей и соотношения понимания и объяснения, можно сказать, что в языковом общении есть не только понимание языковых выражений, но и их *объяснение*.

*Объяснить языковое выражение — значит подвести представления об объектах, к которым отсылают входящие в выражение слова, под значение выражения.*

Например, чтобы объяснить значение слова «горящий», надо указать те возможные представления, которые подпадают под его значение: «горящий дом», «горящий огонь», «горящий закат» и т.п.

До сих пор речь шла о сильном (дедуктивном) понимании языковых выражений. Существует также, хотя и является более редким, *целевое* (индуктивное) их *понимание*. При таком понимании указывается та цель, которую хотел достичь индивид, употребляя конкретное языковое выражение.

Ограничимся одним примером:

Чтобы затемнить смысл сказанного, надо использовать слова в их не совсем обычном значении.

*N* хочет затемнить смысл сказанного.

Значит, *N* должен использовать слова в их не совсем обычном значении.

Первая посылка является целевым утверждением. В описательной интерпретации она устанавливает каузальную связь: «Употребление слов в их не совсем обычном значении является причиной не вполне прозрачного смысла сказанного». Вторая посылка фиксирует конкретную цель индивида, идущую, возможно, вразрез со стандартными целями языковой коммуникации. В заключении говорится о том, что должен сделать индивид для достижения поставленной им цели.

<sup>1</sup>Вайнрих Х. Лингвистика лжи. — С. 54.



<b>Глава 7. Проблемные ситуации и аргументация.....</b>	<b>272</b>
1. Многообразный мир проблем .....	—
2. Явные проблемы.....	275
3. Неявные проблемы.....	281

# ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И АРГУМЕНТАЦИЯ

### 1. Многообразный мир проблем

Понятие *проблемы* является одним из центральных в теории аргументации. Тезис аргументации — это всегда один из потенциальных ответов на явную или неявную проблему, одно из возможных ее решений. Полное значение тезиса может быть понято, только если он не отрывается от целостной проблемной ситуации, в качестве ответа на которую он сформировался.

Конкретный характер аргументации также существенно зависит от проблемной ситуации, в рамках которой она разворачивается.

Анализ зависимости аргументации от типа обсуждаемой проблемы — важный аспект логико-эпистемологического исследования аргументации.

С понятием проблемы, хотя оно и кажется поначалу очень простым, связаны определенные сложности.

Обычно под проблемой понимается явно сформулированный вопрос или целый комплекс вопросов, возникших в ходе познания. Сам процесс познания истолковывается при этом как последовательный переход от ответов на одни вопросы к ответам на другие вопросы, вставшие после решения первых.

Общим стало положение, что всякое исследование обязательно начинается с постановки проблемы. Последовательность «проблема → исследование → решение» считается применимой всегда и везде. Ясная и отчетливая формулировка проблемы рассматривается как обязательное условие успеха предпринимаемого исследования.

Все это верно. Но верно применительно не ко всем, а только ко вполне определенным и притом довольно узким классам проблем.

Конкретный анализ проблемных ситуаций показывает, что далеко не каждая проблема сразу же приобретает вид явного

вопроса. Не всякое исследование начинается с выдвигания проблемы и кончается ее решением. Нередко бывает так, что проблема формулируется одновременно с решением. Иногда случается даже, что она осознается только через некоторое время после решения. Зачастую поиск проблемы сам вырастает в отдельную проблему, решение которой требует особого таланта. «Великая проблема, — писал Ф.Ницше, — подобна драгоценному камню: тысячи проходят мимо, пока наконец один не поднимет его»<sup>1</sup>.

Мир проблем сложен и многообразен, как и порождающий проблемы процесс познания. Деятельность по обнаружению и раскрытию проблем связана с самой сутью творческого мышления. Представлять эту деятельность как что-то простое, упорядоченное в линию «вопрос → ответ → новый вопрос → новый ответ → ...» — значит обеднять богатую палитру познания как творчества, постоянного поиска не только решений проблем, но и самих проблем.

Сложность процесса созревания и раскрытия проблем хорошо чувствуют ученые, постоянно сталкивающиеся в своей деятельности с самыми разнообразными проблемными ситуациями.

А.Эйнштейн и Л.Инфельд говорили, например, о том, что сформулировать проблему часто важнее и труднее, чем решить ее. Иногда высказывается утверждение, что, как только проблема уяснена и сформулирована, творческая часть работы исчерпана. Решение поставленной проблемы представляет собой чисто техническую задачу, не имеющую подлинно творческого характера. Это, разумеется, преувеличение. Но иногда бывает так, что найти проблему действительно не только труднее, но и поучительней, чем ее решить.

В широком смысле *проблемной является всякая ситуация, практическая или теоретическая, которая не имеет соответствующего обстоятельствам решения и поэтому заставляет остановиться и задуматься. Проблема* в самом общем смысле — это некоторое затруднение, колебание, неопределенность. Требуются действия по устранению этой неопределенности, но далеко не всегда ясно, что именно следует предпринять. Само древнегреческое слово, от которого произошла наша «проблема», означало вообще «преграду», «трудность», «задачу», а не просто «вопрос».

Можно отметить два фактора, влияющих на способ постановки проблем. Это, во-первых, общий характер мышления той

<sup>1</sup>Ницше Ф. Соч.: В 12 т. — СПб., 1912. — Т. 1. — С. 427.

эпохи, в которую формируется и формулируется проблема, и, во-вторых, имеющийся уровень знания о тех объектах, которых касается возникшая проблема.

Каждой исторической эпохе свойственны свои т и п и ч н ы е ф о р м ы проблемных ситуаций. В древности проблемы ставились во многом иначе, чем, скажем, в средние века или в современном мышлении. В хорошо проверенной и устоявшейся научной теории проблемные ситуации осознаются по-другому, чем в теории, которая только складывается и не имеет еще твердых оснований.

Какие существуют типы проблем? Какие возможны разновидности наиболее привычных явных, так сказать «вопросных», проблем?

Подразделять проблемы можно по разным основаниям. Можно разделить их, например, на существующие, возникающие и потенциальные, в зависимости от актуальности, неотложности. Как наиболее эффективно использовать имеющиеся залежи каменного угля — это актуальная, сегодняшняя проблема. Чем можно заменить продукты переработки нефти в двигателях внутреннего сгорания — эта проблема станет острой в обозримом будущем. Как лучше всего использовать солнечную энергию, передаваемую на землю космическими устройствами — это потенциальная проблема, относящаяся уже к отдаленному будущему.

Разные цели требуют разных классификаций проблем. Для нас особый интерес представляет деление проблемных ситуаций по следующим трем признакам: *сформулирована ли проблема с самого начала; имеется ли метод ее решения; насколько отчетливы представления о том, что именно считать решением проблемы.*

По этим трем основаниям все проблемные ситуации подразделяются на в о с е м ь разных типов, указанных в табл. 1 («+» означает «известно», «—» — «неизвестно»):

Таблица 1

Типы проблемных ситуаций	Формулировка проблемы	Метод решения проблемы	Решение проблемы
1	+	+	+
2	+	+	—
3	+	—	+
4	+	—	—
5	—	+	+
6	—	+	—
7	—	—	+
8	—	—	—

Первые четыре типа — это *явные проблемные ситуации*, когда формулировка проблемы задана с самого начала. Различия между ними сводятся к тому, известно ли, каким методом должна решаться проблема, и определено ли, что следует считать ее решением.

Последующие четыре типа — это *неявные проблемные ситуации*, когда проблему еще предстоит обнаружить и сформулировать.

## 2. Явные проблемы

Самые банальные явные проблемы можно назвать *показательными задачами*. Они представляют, пожалуй, вырожденный случай проблем. Указан вопрос, ответ на который нужно получить, известен метод решения и известно, что считать решением, или, как говорят, «ответом». Такого рода задачи с максимальной информацией по всем трем параметрам и, соответственно, с минимумом неопределенности часто применяются в обучении. Прежде чем перейти к решению задач какого-то нового, не встречавшегося раньше типа, обычно приводят развернутые решения одной-двух характерных задач. Проследив шаг за шагом процедуру их решения, обучающийся вырабатывает определенные навыки в обращении с другими задачами такого рода.

Другой тип явных проблем более интересен: задан вопрос; ясен метод решения; не известен только результат решения. Конечно, это тоже не исследовательские проблемы: слишком многое определено уже с самого начала и для поиска решения остается довольно ограниченное пространство. Тем не менее подобные задачи несомненно полезны: они тренируют ум, вырабатывают сообразительность, умение рассуждать последовательно и ясно и т.д.

Вот пример такой задачи.

О человеке известно, что он живет на шестнадцатом этаже и всегда спускается вниз на лифте; вверх он поднимается только до десятого этажа и дальше идет пешком. Почему он так поступает?

Проблема здесь определена: есть вопрос и указана информация, необходимая для нахождения ответа. Метод решения также не нуждается в особом уточнении: надо рассмотреть обычные мотивы поведения людей в стандартных ситуациях и попытаться найти какую-то особенность, объясняющую, почему данный человек ведет себя несколько необычно.

Что, однако, считать решением данной задачи, ответом на нее? Здесь имеется известная неопределенность. Самым уместным кажется такой ответ: этот человек небольшого роста; он легко нажимает кнопку первого этажа, но, желая подняться вверх, дотягивается только до кнопки десятого этажа. Допустимо ответить и иначе: ради тренировки этот человек последние шесть этажей предпочитает подниматься пешком; он вообще предпочел бы не пользоваться лифтом, возвращаясь домой, но это ему уже не по силам. Это решение кажется менее убедительным, но в общем-то и оно вполне согласуется с условиями задачи. С ними согласуются и многие другие ответы: человек по пути заходит к своим знакомым, живущим на десятом этаже; он просто чужак и ему нравится без всяких особых причин поступать именно так и т.д.

К какому типу относятся обычные задачи из учебников? Чаще всего, пожалуй, ко второму. Исходные условия предельно ясны: есть все, что требуется для решения, и нет ничего лишнего, уводящего в сторону. Из теоретического курса известен общий метод решения. Остается только найти само решение, ответ. Но иногда эти задачи бывают очень простыми, так что не возникает сомнений относительно их решения. В этих случаях их уместно отнести, пожалуй, к числу обычных показательных задач.

Следующие два типа явных проблем представляют особый интерес. Нередко само слово «проблема» употребляют для обозначения именно этих проблем, а все остальные проблемные ситуации относят ко всякого рода затруднениям, не «доросшим» еще до подлинных проблем.

Прежде всего это проблемы, которые можно назвать *риторическими*: они подобны риторическим вопросам, ответ на которые сам собою разумеется. Эти проблемы могут быть названы также *проблемами-головоломками*, поскольку у них есть черты, общие со всякого рода головоломками.

Сформулирован явный вопрос и известно, что будет считаться его приемлемым решением. Все сводится к отысканию метода, с помощью которого из начальных условий может быть получен уже известный в общих чертах ответ.

Лучшие примеры таких проблем — различные кроссворды, ребусы, задачи на составление фигур из имеющихся элементов и т.д. Характерные черты проблем-головоломок очевидны. Они сформулированы к е м - т о, а не самим исследователем и являются в принципе р а з р е ш и м ы м и, причем к р у г

поиск их решения ограничен, а основные линии поиска в основе своей ясны еще до исследования.

Скажем, ребенок составляет картинку из предлагаемых по условиям игры кусочков бумаги. Он может сделать это, складывая по своему усмотрению произвольно выбранные кусочки. Получившаяся картинка вполне может оказаться намного лучше и быть более оригинальной, чем та, которая требуется головоломкой. Но это не будет решением. Чтобы получить настоящее решение, нужно использовать все кусочки, созданная фигура должна быть плоской и т.д.

Подобные ограничения накладываются и на приемлемые решения кроссвордов, загадок, шахматных задач и т.д.

Конкретное решение проблем-головоломок, разумеется, неизвестно. Никто не берется разгадывать уже разгаданный и описанный кроссворд и не задумывается над задачей, ответ на которую уже готов. Точного ответа на проблему-головоломку вначале нет, но он достаточно жестко предопределен. Скажем, неизвестное слово, которое предстоит вписать в кроссворд, должно иметь определенное значение и согласовываться с другими, уже разгаданными словами.

Чтобы почувствовать силу предопределенности решения проблемы-головоломки, представим, что из двух наборов кусочков бумаги для складывания фигур мы взяли по какому-то числу кусочков и пытаемся составить требуемую игрой фигуру. Нет гарантии, что взятых кусочков окажется достаточно для этой фигуры. А раз не существует гарантированного решения, то нет и самой головоломки.

Риторические проблемы, несмотря на всю видимость их простоты и даже какой-то незатейливости, очень широко распространены. Для многих они являются даже любимым типом проблем. Кто из нас не разгадывал с увлечением кроссворд или не вертел часами кубик Рубика? Уверенность в том, что решение несомненно существует и все зависит только от нашей настойчивости и сообразительности, — хороший стимул для того, чтобы увлечься головоломкой. Важно и то, что она является неплохой моделью творчества вообще. Человек, решающий головоломки, совершенствует свой ум, готовя его к встрече с реальными проблемами.

Характер головоломок могут иметь не только задачи, предназначенные для забавы или тренировки ума, но и подлинно научные проблемы. В развитии научных теорий бывает даже период, когда значительная часть решаемых проблем относится к типу проблем-головоломок. Это период, когда развивающаяся теория уже относительно окрепла и устоялась и основные принципы ее ясны и не подвергаются сомнению.

Такая твердая в своем ядре и апробированная во многих деталях теория задает основные положения и образцы анализа изучаемых явлений, определяет главные линии исследования и во многом предопределяет его результат. Исходные положения и образцы не подлежат при этом никакому сомнению и никакой модификации, во всяком случае в своей основе. Естественно, что проблемы, которые ставятся в этих рамках, носят своеобразный характер. Они не столько изобретаются или открываются самим исследователем, сколько навязываются ему сложившейся и ставшей уже довольно жесткой теорией. Уже в этом они напоминают обычные головоломки, которые придумывает один человек, а решает другой. Но еще более важно то, что все эти проблемы являются в принципе разрешимыми, причем круг поиска их решения ограничен, а основные линии поиска в основе своей ясны еще до исследования. Как и в случае типичных головоломок, все сводится к изобретательности ума и настойчивости, а не к глубине мышления и его оригинальности.

В «Оптике» Ньютона утверждалось, что свет представляет собой поток материальных частиц, неких «корпускул». Корпускулярная теория света господствовала в XVIII в. и определяла основные проблемы, связанные со светом. Из этой теории было очевидно, что существует давление световых частиц, ударяющихся о твердые тела, в принципе ясно было также, как это давление можно обнаружить. Оставался открытым вопрос о его величине, о том конкретном, очень тонком эксперименте, который позволил бы установить такую ничтожно малую величину. Эксперимент потребовал огромной изобретательности и далеко не сразу удался. Но в целом вопрос, на который он отвечал, имел все типичные свойства риторической проблемы.

Современная физическая теория говорит, что свет представляет собой поток фотонов, которые обнаруживают двойственную природу: они имеют некоторые свойства волн и в то же время некоторые свойства частиц. Исследование света протекает теперь в соответствии с имеющимся образом волны-частицы, и проблемы, которые встают, определяются в своей основе данным образом. Это опять-таки риторические проблемы, но продиктованные уже совершенно иным образом — не оптикой Ньютона, а возникшей в начале нашего века квантовой механикой.

В чем особая притягательность проблем стабилизировавшейся научной теории? На этот вопрос хорошо отвечает историк науки Т. Кун, предложивший сам термин «проблема-головоломка»: «Ученого увлекает уверенность в том, что если он будет достаточно изобретателен, то ему удастся решить головоломку, которую до него не решал никто или в решении которой никто не добился убедительного успеха. Многие из величайших умов отдавали все свое внимание заманчивым головоломкам такого рода. В большинстве случаев любая частная область специализации,



кроме этих головоломок, не предлагает ничего такого, на чем можно было бы попробовать свои силы, но именно этот факт таит в себе тоже своеобразное искушение»<sup>1</sup>.

Периоды, когда в научной теории возникает значительное число проблем-головоломок, как правило, не особенно продолжительны. Не они определяют лицо теории, находящейся в процессе постоянного развития и поиска. Исследование природы и общества — сложный, внутренне противоречивый и динамичный процесс, когда не приходится говорить об абсолютной устойчивости. Каждая теория, стремясь ко все более точному и адекватному описанию изучаемых явлений, постоянно подвергает критическому и конструктивному анализу не только свою периферию, но и свое ядро, свои основополагающие принципы. А раз это так, область риторических проблем, решение которых в общих чертах предопределяется этим ядром, не может быть широкой.

Эта область не остается также неизменной. С прогрессом теории и периодическим уточнением ею своих оснований круг выдвигаемых в ее рамках риторических проблем то расширяется, то сужается. Так что роль такого рода проблем в процессе познания мира не должна преувеличиваться. И в науке, и в других сферах человеческой деятельности всегда присутствуют проблемы всех возможных типов.

В истории теоретического мышления была целая эпоха, когда значение риторических проблем явно переоценивалось. Эта эпоха — средневековье. Безраздельное господство религии привело в этот период к тому, что вера ставилась выше знания, религиозные догматы — выше того, что мог открыть человеческий ум. Предполагалось, что все истины о мире содержатся в Библии и остается только расшифровать их и правильно истолковать. Проблемы, навязывавшиеся философии и науке религией, были крайне искусственными, далекими от реальной жизни. Они прямо вытекали из основных принципов религиозной доктрины и носили неприкрыто риторический характер, поскольку считалось, что на любой возникший вопрос в самой этой доктрине имеется недвусмысленный и окончательный ответ.

Скажем, средневековый схоласт задается вопросом: создан ли мир богом? Из Библии прекрасно известен ответ на такой вопрос: да, это несомненно так. Причем справедливость ответа не может быть предметом какого-либо обсуждения. На долю схоласта остается лишь отыскание способа, или метода, каким

<sup>1</sup>Кун Т. Структура научных революций. — М., 1975. — С. 60—61.

можно подтвердить этот ответ. Все дело сводится, таким образом, к хитрости ума и его изворотливости. Задано направление движения мысли и указан пункт, в который оно должно привести. В итоге на долю творчества остаются мелкие хитрости по пути.

Иногда схоласту — «унылому наборщику готового смысла», по выражению О.Мандельштама, — приходилось проявлять чудеса изворотливости. Ему было известно, например, что бог создал мир из ничего. Отвечая на риторический вопрос, действительно ли это так, схоласт вынужден был проводить различие между обычным созданием одной вещи из другой и творением чего-то в условиях отсутствия всякого предварительного «материала». Такого рода «тонкие» различия можно было установить, конечно, только с помощью тонкого интеллектуального мошенничества. Здесь схоластика перерастала уже в завуалированную софистику. Без обмана невозможно было выдать за доказательство то, что на самом деле доказательством не являлось. Элементы такого интеллектуального обмана, софистики в дурном смысле, содержались, в общем-то, во всех схоластических «доказательствах».

Из печального опыта средневековой теоретической мысли вытекает, в частности, и урок, связанный с нашей темой. Риторические проблемы — не только вполне законное, но и важное средство, используемое в процессе познания. Однако попытка свести все богатство и разнообразие проблемных ситуаций только к риторическим привела бы к существенному ограничению и обеднению человеческого мышления.

Намного сложнее и глубже, чем риторические, проблемы, которые можно назвать *классическими*. Это — подлинно творческие проблемы, требующие не только определения общих контуров решения, но и открытия того метода, с помощью которого это решение может быть достигнуто.

Когда Ньютон задался вопросом, что представляет собой свет, не было ни знания, в чем мог бы заключаться ответ на этот вопрос, ни методов строгого изучения световых явлений. Это не значит, конечно, что не было никаких теорий света и что Ньютон начинал с нуля. Напротив, существовало даже слишком много таких теорий. Но все они были умозрительными, опирались на ограниченное число фактов, известных из повседневного опыта: свет распространяется прямолинейно; некоторые тела прозрачны для него, другие нет; непрозрачные тела отбрасывают тень и т.п. Решение, которое искал Ньютон, должно было в принципе отличаться от всех этих теорий. Но в чем именно оно должно состоять, Ньютон сначала и сам не представлял. Предстояло также выработать новые методы для изучения световых явлений, а не ограничиваться наблюдением их невооруженным глазом. Короче говоря, проблема, вставшая перед Ньютоном, была классической научной проблемой, требующей богатого творческого воображения, разрыва со сложившейся ошибочной или чересчур умозрительной традицией, настойчивости и изобретательности в реализации нового подхода к исследуемым явлениям.

Когда И.П.Павлов в конце прошлого века занялся изучением рефлексов, давно существовали и понятие рефлекса, и теории, объяснявшие с его помощью поведение животных. Согласно этим теориям, животные — это, по сути дела, машины, своего рода автоматы, однозначно, как бы по заложенной в них программе реагирующие на воздействия внешней среды. Павлову предстояло не только ответить точным, т.е. экспериментальным, образом на вопрос, что пред-

ставляет собой рефлекс, но и открыть сами экспериментальные методы, применимые для изучения рефлексов. Построенная Павловым и его учениками теория безусловных и условных рефлексов и была развернутым решением проблемы природы рефлексов живых существ.

Нет нужды приводить дальнейшие примеры. Читатель сам без особого труда найдет их в известной ему истории науки. Каждое крупное научное достижение, каждая новая теория и новая научная дисциплина начинаются как раз с постановки проблем этого типа.

### 3. Неявные проблемы

Проблемные ситуации последних четырех типов — это *неявные проблемы*, когда есть какое-то затруднение, недоумение, «звездка», но нет открытого и прямо поставленного вопроса. Разумеется, между явными и неявными проблемами нет резкой границы. Особенно близки к неявным классические проблемы, содержащие минимум информации о своем решении и методе исследования. Не удивительно поэтому, что многие классические проблемные ситуации можно представить так, что они окажутся почти неотличимыми от неявных проблем.

Один изобретатель, не задаваясь никакой определенной целью, построил довольно сложный механизм. Это был длинный прямоугольный ящик, в который через боковые отверстия подавалась вода под большим давлением. Напор и направления струй были подобраны таким образом, что предмет, опущенный в ящик с одного его торца, выходил вместе с водой из отверстия в другом торце; в самом же ящике предмет подвергался сильным, но мягким ударам струй и, двигаясь по очень замысловатой траектории, ни разу не касался стенок ящика.

Изобретатель испытал свою конструкцию на бильярдных шарах, теннисных мячиках и камешках разной формы. Механизм работал безукоризненно, но никакого практически полезного приложения для него не предвиделось, поэтому он был отставлен в сторону и забыт. Но однажды в случайном разговоре речь зашла о том, как трудно иногда приходится ресторанам с очисткой от скорлупы сваренных вкрутую яиц. Для разных салатов их нужно очищать тысячи; дело это несложное, но им должны заниматься сразу несколько человек. Услышав это, изобретатель тут же увидел проблему, для решения которой мог пригодиться заброшенный им за ненадобностью механизм. Испытав его в работе с яйцами, он убедился, что дело идет прекрасно: чистые от скорлупы и от тонкой пленки яйца ровными аккуратными рядами выстраивались в помещенном у выходного отверстия решетчатом поддоне.

Этот эпизод иллюстрирует тот случай неявных проблемных ситуаций, когда есть метод, есть решение, но нет самого затруднения, которое удалось бы с помощью данного метода преодолеть.

Иногда встречаются такие неявные проблемные ситуации, когда имеется только метод и ничего более. Нет проблемы, к решению которой его можно было бы приложить, и нет того, что следовало бы считать решением этой еще не сформулированной проблемы. Такие случаи довольно часты в абстрактной математике: ученый строит чистое, лишенное содержательной интерпретации исчисление, и только позднее обнаруживается, что оно годится для решения каких-то содержательно интересных проблем.

К этому типу проблемных ситуаций можно, по всей вероятности, отнести и те нередкие случаи, когда метод, разработанный в связи с одной проблемой, оказывается применимым к другой, совершенно не связанной с нею проблеме.

На бюро у известного скряги Плюшкина лежало, описывает Н. Гоголь, множество всякой всячины. Все эти совершенно ненужные и никчемные, на взгляд Чичикова, вещи кропотливо собирались Плюшкиным для каких-то целей, предназначались им для решения некоторых, казавшихся ему важными, проблем. Но для каких именно целей и проблем, сам Плюшкин этого уже не знал. Не представлял он и того, как удалось бы при случае применить какую-то из этих вещей. Он копил все это «про запас», а вместе с тем все то, что могло найти применение, «сваливалось в кладовые, и все становилось гниль и прореха, и сам он обратился наконец в какую-то прореху на человечестве»<sup>1</sup>.

Этот пример еще раз подтверждает, что бывают ситуации, когда имеется только метод, и задача заключается как раз в том, чтобы отыскать проблему, для решения которой он мог бы пригодиться.

Имеются, далее, неявные проблемные ситуации, когда есть только решение, но неизвестен вопрос, ответом на который оно являлось бы или могло бы быть, и неизвестен или не ясен конкретный метод, с помощью которого это решение получено.

Примерами таких ситуаций могут служить исследования, ставящие перед собой один вопрос, но на самом деле оказывающиеся в конечном счете ответом на совсем другой, так и не заданный прямо вопрос. Метод в этих случаях вряд ли вообще может быть ясным.

Великому поэту и выдающемуся ученому И. Гете чрезвычайно не нравилась теория света Ньютона. Гете считал ошибкой использование при изучении такого естественного явления, как свет, отверстий, выделяющих узкий пучок света, призм, разлагающих световой луч, и т.п. Свет следует наблюдать, полагал Гете, непосредственно, таким, как он существует в природе, без всяких искажающих его свойства искусственных приспособлений. Поставив задачу опровергнуть Ньютона, Гете построил собственную теорию световых явлений. Эта теория подвер-

<sup>1</sup>Гоголь Н.В. Мертвые души. — М., 1967. — С. 234.

глась не только критике, но и осмеянию, особенно со стороны английских физиков. Сам Гете был твердо убежден в правоте своей теории. Она даже считал ее своим высшим научным достижением, не оставившим камня на камне от авторитета Ньютона в оптике.

Когда полемика между сторонниками теорий Ньютона и Гете отошла в прошлое, стало ясно, что последний решал — и в общем-то успешно — совсем не ту задачу, которую он ставил перед собой. Вопреки убеждению, ему не удалось ни опровергнуть, ни даже поколебать ньютоновскую оптику. Его собственная теория касалась на самом деле совсем другого класса физических явления: она давала не экспериментальный, количественный анализ световых явлений, а качественное, без чисел, описание восприятия света и цвета человеческим глазом.

К неявным проблемным ситуациям данного типа близки и те довольно обычные случаи, когда исследование движется **ч у в с т в о м**, или, как иногда говорят, **с т р а с т ь ю**, а не желанием разделаться с какими-то возникшими и прямо сформулированными вопросами или затруднениями. «Живое предчувствие, возникающее в ходе непредубежденного размышления, — отмечал немецкий философ Э.Гуссерль, — ведет нас к пониманию чрезвычайно важных обстоятельств, прослеживая которые мы можем подтвердить достоверность своих предчувствий. Предчувствие — эмоциональный путеводитель всех открытий»<sup>1</sup>.

Имплицитное решение одной проблемы под видом эксплицитного решения совершенно иной проблемы — ситуация, нередкая даже в научном исследовании. «Когда мы говорим о некоторой проблеме, — пишет К.Поппер, — мы почти всегда делаем это задним числом, исходя из того, что уже совершено. Человек, работающий над проблемой, нередко не в состоянии ясно сказать, в чем она состоит (до того, как он ее решит), и даже тогда, когда он может объяснить, в чем состоит его проблема, это объяснение может оказаться ошибочным. И это справедливо даже по отношению к ученым, хотя ученые и принадлежат к числу тех немногих, кто сознательно старается до конца понять свои проблемы. Например, Кеплер считал, что его проблема состоит в том, чтобы обнаружить гармонию мирового порядка, однако мы можем сказать, что он решал проблему математического описания движения планетарной системы, состоящей из двух тел. Аналогично Шредингер ошибочно полагал, что проблема, которую он решил, выведя (стационарное) уравнение Шредингера, связана с поведением волн плотности электрического заряда в непрерывном поле. Позже Макс Борн

<sup>1</sup>Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Общество, культура, философия. — М., 1983. — С. 36.

предложил статистическую интерпретацию шредингеровской волновой амплитуды, интерпретацию, шокировавшую Шредингера, который не примирился с ней до самой своей смерти. Он действительно решил проблему, — но не ту, которую думал, что решил. И это мы теперь знаем задним числом»<sup>1</sup>.

Древнегреческий философ Горгий написал сочинение с интригующим названием «О несуществующем, или О природе». Это сочинение до сих пор вызывает споры и пока не нашло убедительного истолкования. Высказывается даже предположение, что Горгий написал его ради шутки, чтобы разыграть других философов, склонных спорить по каждому поводу и любивших спор ради него самого. Возможно, Горгий хотел показать одновременно и силу, и слабость строгого логического доказательства: доказать можно все что угодно, даже то, что природа не существует; но никакое доказательство не является настолько твердым, чтобы его не удалось поколебать.

Рассуждение Горгия о несуществовании природы разворачивается так. Сначала доказывается, что ничего не существует. Как только доказательство завершается, делается как бы шаг назад и предполагается, что нечто все-таки существует. Из этого допущения выводится, что существующее непостижимо для человека. Еще раз делается шаг назад и предполагается вопреки, казалось бы, уже доказанному, что существующее все-таки постижимо. Из последнего допущения выводится, что постижимое невыразимо и необъяснимо для другого. Это рассуждение, складывающееся из противоречащих друг другу утверждений, — хороший пример выдвижения проблем в форме *антиномий*, т.е. в форме противоречий.

Какие именно проблемы хотел поставить Горгий? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Очевидно, что рассуждение Горгия сталкивает нас с противоречиями и побуждает искать выход, чтобы избавиться от них. Но в чем именно заключаются проблемы, на которые указывают противоречия, и в каком направлении искать их решение, совершенно неясно.

С этим обстоятельством связано многообразие тех решений, которые предлагаются для устранения антиномии. Каждый видит в ней свой вопрос и предлагает свое решение.

В частности, Г. Гегель видел в рассуждении Горгия полемику с наивным представлением, будто все, что человек ощущает или о чем он размышляет, на самом деле реально существует. Наши чувства могут обманывать нас, размышлять можно и о том, чего вообще нет.

За странным рассуждением Горгия можно усмотреть и другие проблемы. Какие именно, в данном случае не так уж существенно. Важно, что они есть. Они многообразны, не связаны однозначно с данным рассуждением и меняются с изменением того контекста, в котором рассуждение рассматривается.

Такая постановка проблем, когда они явно не формулируются, а указывается только их решение, к тому же без ясного оп-

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания: Избранные работы. — М., 1988. — С. 544.

ределения метода, каким оно получено, чрезвычайно характерна для древнего мышления.

О древнекитайском философе Хуэй Ши известно, что он был очень разносторонен, а его писания могли заполнить пять повозок. Он, в частности, утверждал: «То, что не обладает толщиной, не может быть накоплено, и все же его громада может простираться на тысячу ли. — Небо и земля одинаково низки; горы и болота одинаково равны. — Солнце, только что достигшее зенита, уже находится в закате; вещь, только что родившаяся, уже умирает. — Южная сторона света не имеет предела и в то же время имеет предел. — Только сегодня отравившись в Юэ, туда я давно уже прибыл».

Сам Хуэй Ши считал свои изречения великими и раскрывающими самый потаенный смысл мира. Критики находили его учение противоречивым и путанным и заявляли, что «его пристрастные слова никогда не попадали в цель».

В древнем философском трактате «Чжуан-цзы», в частности, говорится: «Как жаль, что свой талант Хуэй Ши бездумно растрачивал на ненужное и не достиг истоков истины! Он гнался за внешней стороной тьмы вещей и не мог вернуться к их сокровенному началу. Это как бы пытаться убежать от эха, издавая звуки, или пытаться умчаться от собственной тени. Разве это не печально?»

Сказано прекрасно, но вряд ли справедливо.

Впечатление путаницы и противоречивости в изречениях Хуэй Ши связано с внешней стороной дела, с тем, что он ставит свои проблемы в антиномической, парадоксальной форме. Если его и можно упрекнуть, так это в том, что выдвигание проблемы он почему-то считает и ее решением.

Как и в других антиномиях, трудно сказать с определенностью, какие именно конкретные вопросы стоят за афоризмами Хуэй Ши. На какое интеллектуальное затруднение намекает, скажем, его заявление, что человек, только что отправившийся куда-то, давно туда уже прибыл? Можно истолковать это так, что, прежде чем отбыть в определенное место, надо представить себе это место и тем самым как бы побывать там. Человек, направляющийся, подобно Хуэй Ши, в Юэ, постоянно держит в уме этот пункт и в течение всего времени продвижения к нему как бы пребывает в нем. Но если человек, только отправившийся в Юэ, давно уже там, то зачем ему вообще отправляться туда? Короче говоря, не вполне ясно, какая именно трудность скрывается за этим простым изречением.

Одна черта, восходящая еще к мифологическому мышлению, сохраняется и в современном мышлении: осознание проблемной ситуации нередко переплетается с самим процессом поиска выхода из нее. Проблема формируется и уточняется по мере исследования, идущего без четкого плана и ясно выраженной цели. Окончание исследования оказывается одновременно и формулировкой самой решавшейся в нем задачи.

В удвоении и подмене проблем, в их смутности и подчас невыразимости, в постепенном прояснении проблемной ситуации по мере ее разрешения — во всем этом нет ничего странного с точки зрения общего характера творчества.

Подлинный творец — это всегда первопроходец. Акт творчества не способен преследовать заранее заданную, внешнюю цель, продукт его во многом непредсказуем и невыводим из начальных условий. Зачастую творец не знает, что именно он хочет сказать, до того, как скажет что-то. Он осознает свою цель по мере того, как открывает пути к ее достижению. Творчество — это обязательно преобразование, трансформация как того, что имелось вначале, так и того, что было промежуточным результатом. Преобразующая природа творчества проявляется и в том, что, формируя, уточняя и интегрируя открывающиеся возможности, творец одновременно конкретизирует и видоизменяет стоящую перед ним задачу.

Невеста одного американца, перед тем как подписать брачное свидетельство, потребовала с него письменное обещание, что он не сделается космонавтом, не будет посещать другие планеты и не станет ухаживать за женщинами других цивилизаций.

Этот американец работа мойщиком окон, ему было уже за пятьдесят, и нужно было обладать большой фантазией, чтобы предположить, что со временем он может стать космическим донжуаном.

В этом комическом примере как будто решена проблема, которой вообще нет. Нет и способа приложения этого решения в реальной жизни.

Таким образом, бывают — и нередко — случаи, когда проблема заключается как раз в том, чтобы отыскать проблему.

К рассматриваемому типу проблемных ситуаций, когда есть решение, но неизвестно, ответом на какой именно вопрос оно является, близки так называемые *апории* (в буквальном переводе с древнегреческого это слово означает «затруднение», «недоумение»).

Наиболее известны апории, сформулированные древнегреческим философом Зеноном Элейским. В них рассказывается о быстроногом Ахилле, который не способен догнать медлительную черепаху, о брошенной стреле, которая не только не долетит до цели, но даже не сдвинется с места, и т.п. Эти и подобные им апории теперь признаны подлинными парадоксами, связанными с возможностью описать движение без противоречия.

Апории очень близки к антиномиям, но все-таки отличаются от них в одном важном моменте. *Антиномия представляет*



*собой два несовместимых утверждения, одно из которых отрицает другое. Апория же выдвигает и обосновывает положение, явно противоречащее нашему опыту.*

Мы прекрасно знаем, к примеру, что человек способен догнать и перегнать черепаху. Но вот появляется мудрец и убедительно, как представляется, доказывает, что это невозможно. Возникает противоречие между тем, что уже известно из непосредственного опыта, и тем, что выводится посредством рассуждения. Это противоречие и составляет основу апории и фиксируемой ею проблемы.

Встречаются ли апории сейчас, в современном мышлении и в сегодняшней науке? Да, конечно.

Всякий раз, когда принятая и хорошо апробированная теория вдруг резко расходится с достаточно твердо установленными фактами, можно говорить о возникновении проблемы. И эта проблема будет относиться к тому роду затруднений, которые в древности называли апориями.

Очевидно, например, что окружающий нас мир, несмотря на происходящие в нем постоянные изменения, в определенном смысле является устойчивым. Одни и те же вещества постоянно выступают с одними и теми же свойствами, образуются одни и те же кристаллы, возникают одни и те же соединения и т.д. И после многих изменений, вызванных воздействием извне, атом железа в конце концов остается тем же атомом железа с теми же самыми свойствами. Мы постоянно наблюдаем в природе тенденцию к образованию определенных форм и к их воспроизведению заново даже тогда, когда они нарушены или разрушены. Устойчивость живых организмов, образование сложнейших форм, которые к тому же способны существовать всегда лишь как целое, — явления этого же рода.

Устойчивость мира — очевидный факт. Но, оказывается, с точки зрения классической механики Ньютона подобная устойчивость в принципе недостижима. В свете данной теории эта постоянно проявляющаяся особенность природы выглядит подлинным чудом, которое невозможно объяснить.

Это противоречие между теоретическим рассуждением и опытом — типичная апория. Оно обсуждалось в 1922 г. двумя молодыми тогда еще физиками Н. Бором и В. Гейзенбергом, о чем последний вспоминает в своей книге «Часть и целое». Бор, в частности, сказал тогда, что именно размышление над данным затруднением заставило его отказаться от классической механики при объяснении внутреннего строения атома<sup>1</sup>.

К последнему типу проблемных ситуаций относятся наиболее неявные из всех неявных проблем: нет самой проблемы как четко сформулированного вопроса, требующего исследования, есть только какое-то затруднение, какая-то неловкость; нет намека на метод, как можно было бы справиться с данным за-

---

<sup>1</sup>См.: Гейзенберг В. Часть и целое // Проблема объекта в современной науке. — М., 1980. — С. 63—64.

труднением; и нет, разумеется, того, что уместно было бы назвать решением проблемы. Может показаться, что ситуация, когда есть только очень неясное затруднение и ничего более, не относится к проблемным. Однако реальная практика исследования говорит, что это не так: многие крупные научные проблемы в первый период своего становления ощущались и осмыслялись именно как невнятные, неизвестно о чем говорящие затруднения.

Прекрасным примером такого рода неявных проблемных ситуаций, породивших — только через века — важные явные научные и философские проблемы, являются софизмы древних.

Слово «парабола» означает, как известно, не только определенную незамкнутую кривую, но и иносказание, нравоучение.

В притче «Перед параболами» Ф.Кафка писал: «Слова мудрецов подобны параболам. Когда мудрец говорит: “Иди туда”, то он не имеет в виду, что ты должен перейти на другую сторону. Нет, он имеет в виду некое легендарное “там”, нечто, чего мы не знаем, что и он сам не мог бы точнее обозначить»<sup>1</sup>.

Это — хорошая характеристика софизма и вместе с тем указание на внутреннее родство его с параболой, иносказательным поучением, притчей.

Софизмы, как особая форма постановки проблем, появились на довольно высоком уровне развития человеческого мышления. В мышлении первобытных людей, строившемся по образцу мифа, одним из способов выражения проблемной ситуации была предшественница софизма — парабола.

Английский философ Ф.Бэкон посвятил истолкованию мифов интересную книгу «О мудрости древних». В ней он перевел содержание многих мифов на современный ему язык. Эти «переводы» несколько наивны и прямолинейны с современной точки зрения, но хорошо показывают, что при самом простом — буквальном — истолковании мифов в них упускается наиболее интересное и важное. Мифы складывались веками, в них запечатлелась глубокая народная мудрость. Чтобы постичь ее, надо выявить их скрытый и тайный смысл, расшифровать их иносказания.

Посмотрим, как это делал сам Бэкон, истолковывая известный миф о Дедале<sup>1</sup>.

Согласно мифу, Дедал за убийство своего соученика и соперника вынужден был жить в изгнании, но его с радостью принимали и цари, и города. Дедал создал множество замечательных произведений. Особенно же прославился он дерзкими и запретными творениями. Так, он придумал и выстроил лабиринт, из которого невозможно было найти выход, — сооружение, как говорит Бэкон, «омерзительное и нечестивое по своему назначению и в то же время изумительное и великолепное по мастерству». Позднее, чтобы не быть известным лишь злыми делами и создавать не только орудия преступления, но и средства против них, он дал гениальный совет воспользоваться нитью, для того, чтобы вы-

<sup>1</sup>Кафка Ф. Избранные произведения. — М., 1963. — С. 244.

<sup>1</sup>Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. — М., 1972. — Т. 2. — С. 353—355.

браться из хитросплетений лабиринта. В конце концов Дедал научил своего сына Икара летать, а тот, еще неопытный, стал хвастать своим искусством и упал с неба в море.

Смысл этой параболы, по Бэкону, таков. В самом начале речь идет о том, что всегда поджидает замечательных мастеров и удивительным образом господствует над ними, — о зависти: ведь нет такой категории людей, которые бы сильнее, чем они, страдали от острой, буквально убийственной зависти. «Великолепна и аллегория лабиринта, изображающая общую природу механики. Ведь все эти хитроумные и тщательно изготовленные произведения механического искусства могут считаться чем-то вроде лабиринта по тонкости работы, исключительной сложности их конструкции и видимому сходству частей, что делает их недоступными для суждения и позволяет разобраться в них лишь с помощью нити опыта. Не менее удачно и упоминание о том, что тот же самый человек, который придумал лабиринт с его извилинами, указал и нить спасения: ведь механические искусства могут приводить к противоположным результатам, могут приносить вред, но и находят средство исправить его, и в их силах развеять собственные чары»<sup>1</sup>.

Такое истолкование старого рассказа о Дедале не является, конечно, единственно возможным. Оно относится к самому началу XVII в. Реконструкция в нем проблем, поднимаемых мифом, выводимая в итоге мораль во многом определяются духом того времени. Но эта реконструкция выразительно показывает, что миф далеко не так прост, как это может показаться поверхностному взгляду. За бесхитростным рассказом о богатой событиями жизни Дедала скрываются глубокие вопросы. Миф ставит их в непривычной для нас форме — в форме параболы. И он же дает на них своеобразные — неявные, требующие размышления и расшифровки — ответы.

В чем причина того, что самые глубокие проблемы, касающиеся смысла жизни и назначения человека, его места в мире и т.п., принимали когда-то вид иносказания, параболы?

Бэкон пытался ответить на этот вопрос: «...Когда речь идет о новых открытиях, далеких от представлений толпы и глубоко скрытых от нее, нужно искать более удобный и легкий доступ к человеческому пониманию через параболы. Поэтому в древности, когда открытия и заключения человеческого разума — даже те, которые представляются теперь банальными и общеизвестными, — были новыми и непривычными, всюду мы встре-

<sup>1</sup>Там же. — С. 355.

чаем всевозможные мифы, загадки, параболы, притчи, к которым прибегали для того, чтобы поучать, а не для того, чтобы искусно скрывать что-то, ибо в то время ум человеческий был еще груб и бессилён и почти не способен воспринимать тонкости мысли, а видел лишь то, что непосредственно воспринимали чувства»<sup>1</sup>.

В своей основе этот ответ правилен. Для неискушенного в теоретизировании первобытного человека, не отделяющего себя отчетливо от окружающей природы, мало знающего и о себе и о ней, мыслящего образами и живущего эмоциями, повествование со скрытым в его глубине смыслом было единственным способом выразить волнующие его, но ему самому не вполне ясные проблемы.

Первобытное мышление, создавшее мифы и искренне верившее всему, что говорилось в них, давно отошло в прошлое. Но иносказание, притча, параболы, как особые формы выражения проблемных ситуаций, сохранились до наших дней. Приведенная маленькая притча Кафки — хороший пример проблем-парабол уже в современном мышлении.

К иносказаниям, понятым как своеобразный способ постановки проблем, в чем-то близки *афоризмы, максимы и сентенции*. «Одинокий человек всегда в дурном обществе» (*П.Валери*), «Радости оплодотворяют. Скорби рождают» (*У.Блейк*) — подобные афоризмы не просто констатируют что-то общеизвестное, мимо чего можно равнодушно пройти, а склоняют к размышлению и требуют, подобно вопросу, ответа «да» или «нет».

Интересно отметить, что проблемные ситуации порождаются также *эпиграммами, каламбурами, анекдотами* и вообще всеми проявлениями комического в интеллектуальной сфере.

Вот два так называемых лимерика (коротких пятистрочных шуточных стихотворения), принадлежащих анонимным английским авторам:

Жил на свете старик из Скво-Велли.

Сапоги его жутко скрипели.

Кто-то крикнул: «Похоже,

Ваша обувь из кожи?»

Удивился старик: «Неужели?!»

Один очень нежный супруг

Жену свою запер в сундук,

И на просьбу открыть

Он спросил: «Может быть,

Ты немного потерпишь, мой друг?»

(Перевод А.Жукова)

<sup>1</sup>Там же. — С. 321.

За внешним и, прямо скажем, весьма незатейливым содержанием здесь определенно стоит какой-то более глубокий и туманный смысл, нуждающийся в выявлении и истолковании. Иначе чем объяснить, что эти простенькие стишки, написанные никому не известными авторами и не несущие, казалось бы, никаких полезных сведений, живут века и переводятся с одного языка на другой?

*Сказки*, возникшие гораздо позднее мифов и прекрасно чувствующие себя и в наше время, тоже являются иносказаниями. Они повествуют о событиях, происходящих в каком-то ином мире, только отдаленно напоминаящем наш. И вместе с тем они в своеобразной форме, особенно интересной и понятной детскому уму, ставят какие-то вопросы и одновременно отвечают на них. «Сказка ложь, да в ней намек...» — заметил Пушкин.

Американский профессор литературы Д.Цайпс написал социально-историческое эссе «Испытания и горести Красной Шапочки», ставшее бестселлером в США и Западной Европе. В этой книге прослеживается многовековая эволюция внешне очень простой истории о том, как маленькая девочка отправилась в гости к бабушке и случайно встретила в лесу с волком.

Первые сказки о Красной Шапочке появились еще в XV в. Начало их было такое же, как и в более поздних вариантах, но в конце девочке хитростью удавалось освободиться и вернуться целой и невредимой домой.

Позднее, в XVII в., в сказке французского фольклориста Шарля Перро этот первоначальный вариант был преобразован в соответствии с требованиями морали этого времени. Перро рассказывает, как Красная Шапочка, забыв справедливые наставления родителей, завязала разговор с волком, т.е. с неизвестным ей лицом. За это непослушание она и была съедена. Таким образом, автор осуждает свою героиню и всех, кто поступает как она, за кокетство с незнакомцами и выводит мораль: послушание родителям всегда вознаграждается.

В XIX в. в сказке братьев Гримм Красная Шапочка стала уже примером невинной жертвы. Ужасный конец был отброшен, появился новый персонаж — храбрый охотник, спасающий и героиню, и ее бабушку. Сама идея послушания родителям осталась, но к ней добавилась идея надежды на сильного покровителя, представленного охотником, восстанавливающего в нужных случаях справедливость.

В разное время по-разному истолковывался один и тот же сюжет, в нем виделись свои проблемы и предлагались для них свои решения<sup>1</sup>.

Это вообще характерно для проблем, формулируемых в притчах и сказках. Они предстают не в виде вопросительного предложения, а как рассказ, констатация каких-то, как правило, необычных событий. Попытка перевести неявную формулировку в открытый вопрос в разных контекстах дает разные результаты. И никогда нет полной уверенности в том,

---

<sup>1</sup>Интересно отметить, что сейчас дети знают историю Красной Шапочки и в изложении Перро, и в пересказе братьев Гримм. Но современный ребенок остается равнодушным к тем идеям и той морали, которые пытались внушить эти сказочники, перелагая на свой лад старый сюжет. В каждое новое время старая сказка живет по-новому. В этом волшебство народных сказок и секрет того, что они живут века.

что принятый «перевод» является единственно возможным или наиболее удачным.

На примере сказки о Красной Шапочке можно проследить различие иносказания и софизма. Как способы постановки проблем они во многом сходны. Но между ними есть и важная разница.

В мифе, притче, сказке содержится не только неявная, требующая расшифровки проблема. В них есть и определенный намек на ее решение. Мораль, выводимая из иносказания, оказывается одновременно и формулировкой вопроса и ответом на него. В частности, история о Красной Шапочке в изложении Перро содержит вопрос: следует ли девушке быть настолько общительной, чтобы вступать в разговор с незнакомцем? И тут же сам сюжет подсказывает ответ: сдержанность, к которой призывали родители, конечно же оправдала бы себя.

Софизм как особая форма осознания проблемной ситуации возник на более высокой ступени развития человеческого мышления, чем иносказание. В софизме разделилось то, что раньше в иносказании было слитным. *Постановка проблемы* и *поиск ее решения* стали двумя самостоятельными, разделенными во времени действиями.

Таким образом, миф и сказка, как и вообще любое иносказание, ставят вопросы и отвечают на них. Ставят непрямо и отвечают моралью, требующей, чтобы ее извлекли и осмыслили.

Но если вдуматься, то станет понятно, что и все другие формы искусства, все иные способы осмысления мира в художественных образах выражают проблемы и решают их во многом подобно тому, как это делают иносказания. Возможно, еще более непрямо, чем иносказания, и без обязательной «морали», довольно прозрачной в последних, но все-таки сходным с иносказаниями способом, сплетающим воедино постановку проблемы и поиск ее решения.

В заключение этого обзора проблем нужно еще раз подчеркнуть опасность поверхностного подхода к ним.

На первый взгляд проблема может показаться банальностью, а неявная проблема — даже нелепостью. Отмахнуться от нее проще всего. Только долгое и тщательное вдумывание в проблему способно раскрыть ее действительный смысл и подлинную глубину. Попытка решить непродуманную и не раскрытую до конца проблему всегда может оказаться безуспешной.

Здесь полезно вспомнить шуточный афоризм: «Проблемы, как и зубы, следует рвать с корнем». Не добравшись до корней,

не следует поспешно «дергать» проблему и удовлетворяться скоропалительным, первым пришедшим в голову ее решением. Оставшаяся нераскрытой ее часть может привести к абсцессу.

«Ухватить трудность на глубине, — писал Л. Витгенштейн, — вот что сложно. Если схватить ее близко к поверхности, она останется той же, что и была. Ее нужно вырвать с корнем; это означает, что надо начать думать об этих вещах по-новому. Подобный переход столь же радикален, как, например, переход от алхимического способа мышления к химическому. Установление нового способа мышления — и есть основная трудность»<sup>1</sup>.

Мысль Витгенштейна проста. В обращении с проблемами необходим определенный радикализм, полумеры чаще всего ничего не дают. Нередко, для того чтобы осознать подлинную сущность проблемы, приходится подходить к вещам, казавшимся известными, совершенно по-новому. Это новое и более глубокое видение и представляет главную трудность.

Постановка и анализ проблем — центральные пункты аргументации. Неправильно понятая проблема способна сделать бесполезной всю последующую аргументацию, имеющую целью прояснение и решение проблемы. Неявные проблемы легко просмотреть или отнестись к ним как к чему-то, недостойному серьезного внимания. Незамеченная, отброшенная с порога проблема в любой момент может сыграть роль того неприметного в ночи айсберга, который способен внезапно разрушить самое современное и технически оснащенное судно. Множество проблем разнородно. Неправильное определение типа рассматриваемой проблемы неизбежно ведет к тому, что аргументация, призванная поддержать предлагаемое ее решение, оказывается чрезмерно упрощающей ситуацию, а, возможно, и бьющей мимо цели.

---

<sup>1</sup>Wittgenstein L. On Certainty. — Oxford, 1969. — 131.

<b>Глава 8. Некорректная аргументация</b> .....	294
1. Некорректные доказательства .....	—
2. Софизмы.....	300
3. «Есть» и «должен» .....	304
4. Стандартные некорректные аргументы.....	311



## Глава 8

# НЕКОРРЕКТНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

### 1. Некорректные доказательства

Аргументация является разновидностью человеческой деятельности. Как и всякая деятельность, аргументация руководствуется определенными образцами и правилами. Круг их является очень широким и разнородным, начиная с требований логики и кончая моральными предписаниями, требованиями обычая и ритуала.

Аргументацию можно оценить как корректную, если в ходе ее не нарушаются сложившиеся в конкретной области требования к ней.

*Аргументация будет некорректной, если не соблюдаются требования, относящиеся к процедурам обоснования, к процессам коммуникации, к моральным качествам аргументирующего и т.п.*

Системы норм, распространяющих свое действие на аргументацию как определенную сферу деятельности и частный случай коммуникации, многочисленны и разнородны. В силу этого граница между корректной и некорректной аргументацией очень условна и меняется от одной области аргументации к другой. Никакая последовательная и исчерпывающая классификация некорректных приемов аргументации невозможна. Прием аргументации, корректный в пропаганде, может оказаться чужеродным и некорректным в научной аргументации. Стандартные приемы аргументации одной эпохи обычно становятся предметом критики и насмешек в последующие эпохи.

Тем не менее можно выделить достаточно устойчивое ядро корректных приемов аргументации и противопоставить им столь же устойчивое множество некорректных, нарушающих ее стандарты приемов.

Основные корректные приемы аргументации были рассмотрены ранее. Некоторые, часто встречающиеся некорректные приемы связаны прежде всего с нарушениями требований логики. Они будут рассмотрены далее. Нарушения правил грам-

матики, принципов коммуникации, моральных норм, требований обычая и ритуала и т.п. особо обсуждаться не будут. Обычно они лежат на поверхности, и их обнаружение не требует специальной подготовки.

Наиболее очевидными примерами некорректной аргументации являются *некорректные доказательства*, т.е. доказательства, в которых допускается та или иная логическая ошибка.

Проводя доказательства, мы опираемся на логическую интуицию, на стихийно усвоенное знание законов логики. Как правило, оно нас не подводит. Но в отдельных и, особенно, в сложных случаях оно может оказаться ненадежным.

Провести четкую границу удастся только тогда, когда известно то, что остается за ее пределами. Понять доказательство можно в том случае, если помимо прочего, есть определенное представление о рассуждениях, имеющих форму доказательства, но на самом деле таковыми не являющихся. Эти «несостоявшиеся доказательства» — результат ошибок, допущенных — непреднамеренно или сознательно — в ходе доказательства. Знакомство с наиболее типичными из них способствует совершенствованию практических навыков доказательства и позволяет лучше понять, что представляет собой «безошибочное доказательство».

*Доказательство — это логическая, дедуктивная связь принятых аргументов и выводимого из них тезиса.* Логические ошибки в доказательстве можно разделить на относящиеся к тезису, к аргументам и к их связи.

*Формальная ошибка* имеет место тогда, когда умозаключение не опирается на логический закон и заключение не вытекает из принятых посылок. Иногда эту ошибку сокращенно так и называют — «не вытекает».

Допустим, кто-то рассуждает так: «Если я навещу дядю, он подарит мне фотоаппарат; когда дядя подарит мне фотоаппарат, я продам его и куплю велосипед; значит, если я навещу дядю, я продам его и куплю велосипед».

Ясно, что это — несостоятельное рассуждение. Его заключение насчет «продажи дяди» абсурдно. Но посылки безобидны и вполне могут быть истинными, так что источник беспокойства не они. Причина ошибки в самой дедукции, в выведении из принятых утверждений того, что в них вообще не подразумевалось. Дедукция из верных посылок всегда дает верное заключение. В данном случае заключение ложно. Значит, умозаключение не опирается на закон логики и неправильно. Ошибка проста. Местоимение «его» может указывать на разные предметы. В предложении «Я продам его и куплю велосипед» оно должно указывать на фотоаппарат. Но выходит так, что на самом деле оно относится к дяде.

Чтобы опровергнуть это неправильное рассуждение, надо показать, что между принятыми посылками и сделанным на их основе заключением нет логической связи.

Немецкий физик В.Нернст, открывший третье начало термодинамики (о недостижимости абсолютного нуля температуры), так «доказывал» завершение разработки фундаментальных законов этого раздела физики: «У первого начала было три автора: Майер, Джоуль и Гельмгольц; у второго — два: Карно и Клаузиус, а у третьего — только один — Нернст. Следовательно, число авторов четвертого начала термодинамики должно равняться нулю, то есть такого закона просто не может быть».

Это шуточное доказательство хорошо иллюстрирует ситуацию, когда между аргументами и тезисом явно нет логической связи. Иллюзия своеобразной «логичности» рассуждения создается чисто внешним для существа дела перечислением.

В гробнице египетских фараонов была найдена проволока. На этом основании один «египтолог» высказал предположение, что в Древнем Египте был известен телеграф. Услышав об этом, другой «исследователь» заключил, что, поскольку в гробницах ассирийских царей никакой проволоки не найдено, в Древней Ассирии был уже известен беспроволочный телеграф.

Предположение «египтолога» — если это не шутка — очевидная нелепость. Еще большая глупость — если это опять-таки не шутка — заключение «ассиролога». И конечно же, никакой логической связи между этим «предположением» и сделанным вроде бы на его основе «заключением» нет.

Встречаются — и довольно часто — хаотичные, аморфные рассуждения. Внешне они имеют форму доказательств и даже претендуют на то, чтобы считаться ими. В них есть слова: «таким образом», «следовательно», «значит» и подобные им, призванные указывать на логическую связь аргументов и доказываемого положения. Но эти рассуждения доказательствами на самом деле не являются, поскольку логические связи подменяются в них психологическими ассоциациями.

Вот, к примеру, рассуждение, внешне напоминающее доказательство: «Вечный двигатель признан невозможным, так как он противоречит закону сохранения энергии, или первому началу термодинамики. Когда было открыто второе начало термодинамики, стали говорить о невозможности вечного двигателя второго рода. Это же можно сказать и о вечном двигателе третьего рода, который запрещается третьим началом термодинамики. Но четвертого начала термодинамики нет! Следовательно, ничто не мешает создать вечный двигатель четвертого рода. И тем более вечный двигатель пятого и так далее рода!».

Характерная ошибка в отношении тезиса — *подмена тезиса*, неосознанное или умышленное замещение его в ходе доказательства каким-то другим утверждением. Подмена тезиса ведет к тому, что доказывается не то, что требовалось доказать.

Тезис может *сужаться*, и в этом случае он остается недоказанным. Например, для доказательства того, что сумма углов треугольника равна двум прямым, недостаточно доказать, что эта сумма не больше  $180^\circ$ . Для обоснования того, что человек должен быть честным, мало доказать, что разумному человеку не следует лгать.

Тезис может также *расширяться*. В этом случае нужны дополнительные основания. И может оказаться, что из них вытекает не только исходный тезис, но и какое-то иное, уже неприемлемое утверждение. «Кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает» — эта старая латинская поговорка как раз и имеет в виду такую опасность.

Иногда случается полная подмена тезиса. Обычно эта ошибка затемняется какими-то обстоятельствами, связанными с конкретной ситуацией, и благодаря этому ускользает от внимания.

Известен случай с древнегреческим философом Диогеном, которого однажды за подмену тезиса спора даже побили. Один философ доказывал, что в мире, как он представляется нашему мышлению, нет движения, нет многих вещей, а есть только одна-единственная вещь, притом неподвижная и круглая. В порядке возражения Диоген встал и начал не спеша ходить перед спорящими. За это его, если верить источникам, и побили палкой.

Речь шла о том, что для нашего ума мир неподвижен. Диоген же своим хождением пытался подтвердить другую мысль: в чувственно воспринимаемом мире движение есть. Но это и не оспаривалось. Автор мнения, что движения нет, считал, что чувства, говорящие о множественности вещей и их движении, просто обманывают нас.

Разумеется, мнение, будто движения нет, ошибочно, как ошибочна идея, что чувства не дают нам правильного представления о мире. Но раз обсуждалось такое мнение, нужно было говорить о нем, а не о чем-то другом, хотя бы и верном.

Наиболее частая ошибка в отношении аргументов — это попытка обосновать тезис с помощью *ложных аргументов*.

Тигры, как известно, не летают. Но рассуждение «Только птицы летают; тигры не птицы; следовательно, тигры не летают» не является, конечно, доказательством этого факта. В рассуждении используется неверная посылка, что способны летать одни птицы: летают и многие насекомые, и млекопитающие (например, летучие мыши), и самолеты и др. С помощью же посылки «Только птицы летают» можно вывести не только истинное, но и ложное заключение, скажем, что майские жуки, поскольку они не птицы, не летают.

Довольно распространенной ошибкой является *круг в доказательстве*: справедливость доказываемого положения обосновывается посредством этого же положения, высказанного, возможно, в несколько иной форме. Если за основание доказательства принимается то, что еще нужно доказать, обосновываемая мысль выводится из самой себя, и получается не доказательство, а пустое хождение по кругу.

Почему мы видим через стекло? Обычный ответ: оно прозрачно. Но назвать вещество прозрачным — значит сказать, что сквозь него можно видеть.

В статье «Так что же нам делать?» Л.Н.Толстой резко обвиняет буржуазную политэкономия в явно порочном круге. «Вопрос экономической науки, — пишет Толстой, — в следующем: какая причина того, что одни люди, имеющие землю и капитал, могут поработать тех людей, у которых нет земли и капитала?

Ответ, представляющийся здравому смыслу, тот, что это происходит от денег, имеющих свойство порабощать людей. Но наука отрицает это и говорит: это происходит не от свойства денег, а оттого, что одни имеют землю и капитал, а другие не имеют их. Мы спрашиваем: отчего люди, имеющие землю и капитал, порабощают неимущих? Нам отвечают: оттого, что они имеют землю и капитал.

Да ведь мы про это же самое и спрашиваем. Лишение земли и орудий труда и есть порабощение. Ведь это ответ: усыпляет, потому что обладает снотворной силой».

Задача доказательства — исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого тезиса.

Раз в доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами и тезисом должна носить дедуктивный характер. По своей форме доказательство — дедуктивное умозаключение или цепочка таких умозаключений, ведущих от истинных посылок к доказываемому положению.

Старая латинская пословица говорит: «Доказательства ценятся по качеству, а не по количеству». В самом деле, дедукция из истины дает только истину. Если найдены верные аргументы и из них дедуктивно выведено доказываемое положение, доказательство состоялось и ничего более не требуется.

Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл. Тогда под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, включающая как дедукцию, так и индуктивное рассуждение, ссылки на связь доказываемого положения с фактами, наблюдениями и т.д. Расширительное истолкование доказательства является обычным в гуманитарных науках, но встречается и в экспериментальных, опирающихся на наблюдения рассуждениях.

Как правило, доказательство широко понимается в обычной жизни. Для подтверждения выдвинутой идеи активно привлекаются факты, типичные в определенном отношении явления и т.п. Дедукции в этом случае, конечно, нет, речь может идти только об индукции. Но тем не менее предлагаемое обоснование нередко называют доказательством.

Широкое употребление понятия «доказательство» само по себе не ведет к недоразумениям. Но только при одном условии. Нужно постоянно иметь в виду, что индуктивное обобщение, переход от частных фактов к общим заключениям, дает не достоверное, а лишь вероятное знание.

Неплохим примером расширительного употребления термина «доказательство» является получившее широкую известность доказательство Дж. Муром того, что существуют материальные предметы, «вещи вне нас». «Можно доказать, например, — пишет Мур, — что две человеческие руки существуют. Как это

сделать? Я показываю две мои руки и говорю, жестикулируя правой: «Вот — одна рука» и, жестикулируя левой рукой, добавляю: «А вот — другая»<sup>1</sup>. Мур находит нужным пояснить это довольно необычное доказательство: «Однако доказал ли я здесь, что две человеческие руки существуют? Я настаиваю на том, что доказал, причем абсолютно строго; пожалуй, и вообще нет лучшего доказательства, чем это. Конечно, я не стал бы на этом настаивать, если бы не выполнялись три условия: (1) если бы посылка доказательства не отличалась от его заключения; (2) если бы об истинности посылки я не знал, но был просто в ней убежден (что никак не являлось бы достоверным), или если бы она была истинной, а я не знал об этом; и (3) если бы заключение по-настоящему не следовало из посылки. Но мое доказательство всем этим условиям вполне удовлетворяет. (1) Посылка здесь, несомненно, отличается от заключения, ибо если последнее состоит просто в том, что «в этот момент существуют две человеческие руки», то посылка намного определеннее; я выразил ее, показывая свои руки, жестикулируя и говоря при этом: «Вот одна рука, а вот — другая». Различие совершенно очевидно, поскольку заключение явно может быть истинным, даже если посылка ложна. В посылке я утверждаю гораздо больше, чем в заключении. (2) В тот момент я, безусловно, знал то, что передавалось определенными жестами и словами «Вот одна рука, а вот — другая». Я знал, что одна рука находилась в той стороне, на которую я указывал своим жестом и словом «вот», а вторая — в другой, отмеченной жестом и еще одним «вот». Абсурдно думать, что это не знание, но лишь мнение, и что все, вероятно, было иначе. С таким же успехом мы могли бы утверждать, будто я не знаю о том, что сейчас встал и говорю — ибо вовсе не доказано, что я об этом знаю! Наконец, (3) совершенно ясно, что заключение следует из посылки. Это столь же несомненно, как и то, что если сейчас одна рука находится здесь, а другая — там, то отсюда вытекает, что обе они в данный момент существуют. Таким образом, мое доказательство существования вещей вне нас действительно удовлетворяет условиям строгого доказательства»<sup>2</sup>.

Рассуждение Мура, несомненно, интересно, но тем не менее оно не является доказательством в собственном смысле этого слова. Мур опровергает общее философское утверждение «Материальные предметы не существуют». Его возражение является простым: «Это утверждение ошибочно, ибо вот одна рука, а вот — другая; поэтому существуют по крайней мере два материальных предмета». Но между посылкой «Я достоверно знаю, что вижу две руки» и заключением «В этот момент в мире существуют две руки» нет отношения логического следования, и значит, здесь нет доказательства. Мур предлагает интересную технику опровержения философских высказываний, состоящую в выявлении их противоречия обыденному языку. Как замечает Н. Малькольм, «великая историческая роль Мура состоит в том, что он первым из философов почувствовал, что любое философское утверждение, которое нарушает обыденный язык, яв-

<sup>1</sup>Мур Дж. Доказательство внешнего мира // Аналитическая философия. Избранные тексты. — М., 1993. — С. 81.

<sup>2</sup>Там же. — С. 79—80.

ляется ложным, и, следовательно, выступил в защиту обыденного языка от его философских нарушителей»<sup>1</sup>. Мур выдвинул интересный аргумент в поддержку идеи о существовании предметов внешнего мира, но его рассуждение о двух руках нельзя оценить как доказательство.

## 2. Софизмы

*Софизм обычно определяется как умозаключение или рассуждение, обосновывающее какую-нибудь заведомую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым представлениям.*

Хорошим примером софизма является ставший знаменитым еще в древности софизм «Рогатый». С его помощью можно уверить каждого человека, что он рогат: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит, у тебя рога».

Софизмы — логически неправильные рассуждения, выдаваемые за правильные и доказательные.

Само собой разумеется, что убедить человека в том, что у него есть рога, можно только посредством обмана или злоупотребления доверием. А это и есть мошенничество. Отсюда «софист» в одиозном, дурном значении — это человек, готовый с помощью любых, в том числе и недозволенных, приемов отстаивать свои утверждения, не считаясь с тем, истинны они на самом деле или нет.

Чем обусловлена кажущаяся убедительность многих софизмов, иллюзия их «логичности» и «доказательности»? Она связана с хорошо замаскированной ошибкой, с нарушением правил языка или логики. Софизм — это обман. Но обман тонкий и закамуфлированный, так что его не сразу и не каждому удастся раскрыть.

В софизмах эксплуатируются многие особенности нашего повседневного языка. В нем обычны **м е т а ф о р ы**, т.е. обороты речи, заключающие скрытое уподобление, образное сближение слов на базе их переносного значения:

Неустанно ночи длинной  
Сказка черная лилась,  
И багровый над долиной  
Загорелся поздно глаз.

(И. Анненский)

<sup>1</sup>Малкольм Н. Мур и обыденный язык // Аналитическая философия: Избранные тексты. — М., 1993. — С. 99.

Многие обычные слова и обороты **м н о г о з н а ч н ы**. Например, слово «земля» имеет, как отмечается в словаре современного русского языка, восемь значений, и среди них: «суша», «почва», «реальная действительность», «страна», «территория»... У прилагательного «новый» — тоже восемь значений, среди которых и «современный», и «следующий», и «незнакомый»... В языке есть **о м о н и м ы** — одинаково звучащие, но разные по значению слова (коса из волос, коса как орудие для косьбы и коса как узкая отмель, вдающаяся в воду).

Эти особенности языка способны нарушать однозначность выражения мысли и вести к смешению значений слов, что создает благоприятную почву для софизмов.

Софизмы могут основываться и на логических ошибках, таких, как умышленная подмена тезиса доказательства, несоблюдение правил логического вывода, принятие ложных посылок за истинные и т.п.

Говоря о мнимой убедительности софизмов, древнеримский философ Сенека сравнивал их с искусством фокусников: мы не можем сказать, как совершаются их манипуляции, хотя твердо знаем, что все делается совсем не так, как нам представляется.

Ф.Бэкон сравнивал того, кто прибегает к софизмам, с лисой, которая хорошо петляет, а того, кто раскрывает софизмы, — с гончей, умеющей распутывать следы.

Чтобы успешно справляться с софизмами, встречающимися в процессе аргументации, надо хорошо знать обсуждаемый предмет и обладать определенными навыками логического анализа рассуждений, уметь подмечать допускаемые оппонентом логические ошибки и убедительно раскрывать несостоятельность его аргументов.

Рассмотрим несколько типичных софизмов и на конкретных примерах покажем те обычные нарушения требований логики, которые лежат в их основе.

В одном из своих диалогов Платон описывает, как два древних софиста запутывают простодушного человека по имени Ктесипп.

— Скажи-ка, есть ли у тебя собака?

— И очень злая, — отвечает Ктесипп.

— А есть ли у нее щенята?

— Да, тоже злые.

— А их отец, конечно, собака же?

— Я даже видел, как он занимается с самкой.

— И этот отец тоже твой?

— Конечно.

— Значит, ты утверждаешь, что твой отец — собака и ты брат щенят!

Смешно, если и не Ктесиппу, то всем окружающим, ведь такие беседы обычно происходили при большом стечении народа.

Какая же ошибка поставила в тупик Ктесиппа?



Здесь заключение не вытекает из принятых посылок. Чтобы убедиться в этом, достаточно слегка переформулировать посылки, не меняя их содержания: «Этот пес принадлежит тебе; он является отцом». Что можно вывести из этой информации? Только высказывание «Этот пес принадлежит тебе и он является отцом», но никак не «Он твой отец».

Обычная для разговорного языка сокращенная форма выражения заводит в тупик и в следующем рассуждении.

— Скажи, — обращается софист к молодому любителю споров, — может одна и та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его?

— Очевидно, нет.

— Посмотрим. Мед сладкий?

— Да.

— И желтый тоже?

— Да, мед сладкий и желтый. Но что из этого?

— Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый — это сладкий или нет?

— Конечно, нет. Желтый — это желтый, а не сладкий.

— Значит, желтый — это не сладкий?

— Конечно.

— О меде ты сказал, что он сладкий и желтый, а потом согласился, что желтый не значит сладкий, и потому как бы сказал, что мед является и сладким, и несладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни одна вещь не может и обладать, и не обладать каким-то свойством.

Конечно, софисту не удалось доказать, что мед имеет противоречащие друг другу свойства, являясь сладким и несладким вместе. Подобные утверждения несовместимы с логическим законом противоречия, и их вообще невозможно доказать. Но за счет чего создается все-таки видимость убедительности данного рассуждения?

Она связана с подменой софистом выражения «Быть желтым не значит быть сладким» выражением «Быть желтым значит не быть сладким». Но это совершенно разные выражения. Верно, что желтое не обязательно является сладким, но неверно, что желтое — непременно несладкое. Подмена происходит почти незаметно, когда рассуждение протекает в сокращенной форме. Но стоит развернуть сокращенное «желтый — это не сладкий», как эта подмена становится явной.

В софизме «Рогатый» обыгрывается двусмысленность выражения «то, что не терял». Иногда оно означает «то, что имел и не потерял», а иногда просто «то, что не потерял, независимо от того, имел или нет». Можно, например, спросить человека: «Не вы ли потеряли зонтик?», не зная заранее, был у него зонтик или нет. В посылке «Что ты не терял, то имеешь» оборот «то, что ты не терял» должен означать «то, что ты имел и не потерял», иначе эта посылка окажется ложной. Но во второй посылке это значение уже не проходит: высказывание «Рога — это то, что ты имел и не потерял» является ложным.

Вот еще несколько софизмов для самостоятельного размышления.

«Сидящий встал; кто встал, тот стоит; значит, сидящий стоит».

«Но когда говорят: “камни, бревна, железо”, то ведь это — молчашие, а говорят!»

«2 и 3 — четное и нечетное числа; поскольку 2 и 3 в сумме дают 5, то 5 — это четное и одновременно нечетное число; значит, 5 — внутренне противоречивое число».

«— Знаете ли вы, о чем я сейчас хочу вас спросить?» — «Нет». — «Неужели вы не знаете, что лгать — нехорошо?» — «Конечно, знаю...» — «Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; выходит, что вы знаете то, чего вы не знаете».

Употребление софизмов с целью обмана заставляет относиться к ним с осуждением. Однако не следует забывать, что софизмы — не только приемы интеллектуального мошенничества. Они могут играть и другую роль.

В древности софизмы были прежде всего своеобразной формой осознания и словесного выражения проблемной ситуации.

Первым на эту сторону дела обратил внимание в начале прошлого века Гегель. Он проанализировал ряд старых софизмов и вскрыл те реальные проблемы, которые поднимались ими.

Большое число софизмов обыгрывает тему скачкообразного характера изменения и развития. Постепенное, незаметное, чисто количественное изменение какого-то объекта не может продолжаться бесконечно. В определенный момент оно достигает своего предела, происходит резкое качественное изменение — скачок — и объект переходит в другое качество. Например, при температуре от 0 до 100°C вода представляет собой жидкость. Постепенное нагревание ее заканчивается тем, что при 100°C она закипает и резко, скачком переходит в другое качественное состояние — превращается в пар.

Вопросы софистов: «Создает ли прибавление одного зерна к уже имеющимся зернам кучу?», «Становится ли хвост лошади голым, если вырвать из него один волос?» — кажутся наивными. Но в них, говорит Гегель, находит свое выражение попытка древних греков представить наглядно скачкообразность изменения.

Многие софизмы поднимали проблему текучести, изменчивости окружающего мира и в своеобразной форме указывали на трудности, связанные с отождествлением объектов в потоке непрерывного изменения.

«Взявший займы, — говорит древний софист, — теперь уже ничего не должен, так как он стал другим», «Приглашенный вчера на обед приходит сегодня непрощенным, так как он уже другое лицо» — здесь опять-таки речь не о займах и обедах, а о

том, что всеобщая изменчивость вещей постоянно сталкивает нас с вопросом: остался рассматриваемый предмет тем же самым или же он настолько переменялся, что его надо считать другим?

Очень часто софизмы ставят в неявной форме проблему доказательства. Что представляет собой доказательство, если можно придать видимость убедительности нелепым утверждением, явно не совместимым с фактами? Например, убедить человека в том, что у него есть рога, копыта или хвост, что он произошел от собаки и т.п.

Сформулированные в тот период, когда науки логики еще не было, древние софизмы прямо ставили вопрос о необходимости ее построения. Прямо в той мере, в какой это вообще возможно для софистического способа постановки проблем. Именно с софизмов началось осмысление и изучение доказательства и опровержения. И в этом плане софизмы непосредственно содействовали возникновению особой науки о правильном, доказательном мышлении.

Не может быть, конечно, речи о реабилитации или каком-то оправдании тех рассуждений, которые преследуют цель выдать ложь за истину, используя для этого логические или иные ошибки. Нужно, однако, помнить о том, что слово «софизм» имеет, кроме этого современного и хорошо устоявшегося смысла, еще и иное значение. В этом значении софизм представляет собой неизбежную на определенном этапе развития мышления форму постановки проблем.

### 3. «Есть» и «должен»

Как уже отмечалось, из описаний не выводимы оценки и из оценок не выводимы описания. Описательные утверждения обычно формулируются со связкой «есть», в оценочных утверждениях нередко употребляется «должен». Идею о невыводимости оценок из описаний и описаний из оценок выражают поэтому также в форме положения, что от «есть» нельзя с помощью только логики перейти к «должен», а от «должен» перейти к «есть».

Д.Юм первым подчеркнул невозможность логического перехода от «есть» к «должен» и упрекнул всю предшествующую этику в том, что она не считалась с этим важным обстоятельством. «Я заметил, — писал Юм, — что в каждой этической теории, с

которой мне до сих пор приходилось встречаться, автор в течение некоторого времени рассуждает обычным образом, устанавливает существование бога или излагает свои наблюдения относительно дел человеческих; и вдруг я, к своему удивлению, нахожу, что вместо обычной связки, употребляемой в предложениях, а именно *есть* или *не есть*, не встречаю ни одного предложения, в котором не было бы в качестве связки *должно* и *не должно*. Подмена эта происходит незаметно, но тем не менее она в высшей степени важна. Раз это *должно* или *не должно* выражает некоторое новое отношение или утверждение, последнее следует принять во внимание и объяснить, и в то же время должно быть указано основание того, что кажется совсем непонятным, а именно того, каким образом это новое отношение может быть дедукцией из других, совершенно отличных от него... Я уверен, что этот незначительный акт внимания опроверг бы все обычные этические системы и показал бы нам, что различие порока и добродетели не основано исключительно на отношениях между объектами и не познается разумом»<sup>1</sup>.

Этот отрывок из «Трактата» Юма очень популярен. Положение о невозможности логического перехода от фактических утверждений к утверждениям долженствования получило название «принципа Юма».

Данный принцип не раз служил отправным пунктом для важных методологических заключений, касающихся этики и всех иных наук, устанавливающих или обосновывающих какие-то утверждения о долженствовании. Утверждалось, в частности, что если моральные заключения не могут логически следовать из неморальных посылок, значит, нельзя обосновывать моральные принципы, выходя за пределы самой морали. Это положение, утверждающее, как кажется, независимость морали от фактов, получило название «принципа автономии морали» и вызвало большие споры.

А. Пуанкаре таким аргументом пытался показать невозможность научного обоснования морали, или этики: все научные предложения стоят в индикативном наклонении, а все моральные предложения являются императивными; из индикативных предложений с помощью логического вывода могут быть получены только индикативные предложения; следовательно, невозможно вывести моральное предложение из научных предложений<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Юм. Д. Соч.: В 2 т. — М., 1966. — Т. 1. — С. 618.

<sup>2</sup>См.: Poincaré H. La morale et la science // Dernières pensées. — Paris, 1913. — P. 213—214.

Положению о невыводимости оценочных утверждений из фактов важное значение придавал К.Поппер. «...Необходимо усвоить, — писал он, — что наши решения никогда не выводятся из фактов (или из утверждений о фактах), хотя они и имеют некоторое отношение к фактам»<sup>1</sup>. Например, решение бороться с рабством не зависит от факта, что все люди рождаются равными и свободными и никто не рождается в цепях. Действительно, даже если все рождаются свободными, скорее всего найдутся люди, пытающиеся заковать других в цепи и даже верящие в то, что они должны это сделать. Если человек заметит, что некоторый факт можно изменить — например, факт, что многие люди страдают от болезней, то по отношению к этому факту он может занять совершенно разные позиции: принять решение сделать все возможное, чтобы изменить этот факт, решить бороться со всякой попыткой его изменения или решить вообще не предпринимать по отношению к нему никаких действий. Действие по принятию решения, введению нормы или стандарта является фактом, но сами введенные норма или стандарт фактами не являются. То, что большинство людей следует норме «Не укради», есть социологический факт. Однако норма «Не укради» — это не факт, и она не может быть выведена из утверждений, описывающих факты. По отношению к определенному факту всегда возможны различные и даже противоположные решения. Так, например, перед лицом социологического факта, что большинство людей подчиняются норме «Не укради», мы можем решить либо починяться этой норме, либо бороться с ней; мы можем либо приветствовать тех, кто ей подчиняется, либо бранить их, убеждая подчиняться другой норме. *«Итак, невозможно вывести предложение, утверждающее норму, решение или, скажем, политическую рекомендацию, из предложения, утверждающего факт, — иначе говоря, невозможно вывести нормы, решения, предложения-проекты или рекомендации из фактов»*<sup>2</sup>.

Идею дуализма фактов и решений (норм) Поппер непосредственно связывает с доктриной автономии морали и либерализмом. «По моему глубокому убеждению, — пишет он, — учение о дуализме фактов и норм — это одна из основ либеральной традиции. Дело в том, что неотъемлемой частью этой традиции является признание реального существования в нашем мире несправедливости и решимость попытаться помочь ее жер-

<sup>1</sup>Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992. — Т. 1. — С. 96.

<sup>2</sup>Там же. — С. 99.

твам. Это означает, что имеется (или возможен) конфликт (или по крайней мере разрыв) между фактами и нормами. Факты могут отклоняться от справедливых (верных или истинных) норм, особенно те социальные и политические факты, которые относятся к принятию и проведению в жизнь сводов законов. Иначе говоря, либерализм основывается на дуализме фактов и норм в том смысле, что его сторонники всегда стремятся к поиску всех лучших норм, особенно в сфере политики и законодательства»<sup>1</sup>.

Принцип Юма, утверждающий невыводимость оценок, и в частности норм и решений, из фактов, имеет, таким образом, важное общеметодологическое значение. Несомненно и его значение для теории аргументации: *если этот принцип верен, несостоятельным должно быть признано всякое доказательство, в котором оценочный тезис поддерживается фактическими (описательными) аргументами.*

Однако Юм не привел никаких аргументов в поддержку идеи о невыводимости «должен» из «есть». Он ссылаясь на то, что было бы ошибочным вводить в заключение некоторое отношение или утверждение, отсутствующее в посылках, и указывал, что отношение или утверждение, выражаемое с помощью «должен» или «не должен», «явно отлично» от отношения или утверждения, выражаемого посредством «есть». Поэтому М.Блэк справедливо отмечает, что довод Юма не убедителен<sup>2</sup>. «Должен» отличается, конечно, от «есть», но если Юм думает, что этого достаточно для дисквалификации логического перехода от «есть»-посылок к «должен»-заключению, то он ошибается. Смысл, нужный для опровержения данного перехода, таков: термин *A* явно отличен от термина *B*, если и только если утверждение, содержащее *A*, не может быть выведено из посылок, содержащих *B* и не содержащих *A*, то есть чтобы показать, что «должен» «явно отлично» от «есть», надо показать, что утверждение с «должен» невыводимо из утверждения с «есть». Но именно в этом состоит проблема, в качестве решения которой предлагается ссылка на «явное отличие» одной связки от другой. Нетрудно привести примеры обоснованных умозаключений, в которых в заключение входит термин, кажущийся «явно отличающимся» от терминов, встречающихся в посылках.

Как можно обосновать принцип Юма, не впадая в порочный круг? Имеются два важных довода в поддержку этого прин-

<sup>1</sup>Попнер К. Логика и рост научного знания. — С. 410.

<sup>2</sup>См.: Black M. The Gap Between «Is» and «Should» // Philosophical Review. — 1964. — V. 73. — № 2. — P. 166—167.

ципа. Во-первых, все попытки его опровержения ни к чему не привели. Неудача фальсификации является аргументом в пользу принятия утверждения, устоявшего под напором критики. Во-вторых, принципу Юма может быть дано теоретическое обоснование путем включения его в теоретическую систему, в рамках которой он оказывается следствием других, более фундаментальных положений.

Были предложены многочисленные контрпримеры принципу Юма, в которых из посылок, кажущихся чисто описательными, дедуктивно выводилось оценочное (нормативное) заключение<sup>1</sup>. Более внимательный анализ показал, однако, что ни одно из предлагавшихся в качестве контрпримера умозаключений не достигало своей цели: или его посылки содержали неявную оценку (норму), или между посылками и заключением отсутствовала связь логического следования<sup>2</sup>. Таким образом, никому не удалось продемонстрировать логический переход от «есть» к «должен» и опровергнуть тем самым принцип Юма.

Более существенным является теоретический аргумент. Цель описания — сделать так, чтобы слова соответствовали миру, цель оценки — сделать так, чтобы мир отвечал словам. Это — две диаметрально противоположные функции, не сводимые друг к другу. Очевидно, что если ценность истолковывается как противоположность истины, поиски логического перехода от «есть» к «должен» лишаются смысла. Не существует логически обоснованного вывода, который вел бы от посылок, включающих только описательные утверждения, к заключению, являющемуся оценкой или нормой.

Хотя принцип Юма представляется обоснованным, некоторые методологические выводы, делавшиеся из него, нуждаются в важных уточнениях.

А. Пуанкаре, К. Попперу и др. представлялось, что из-за отсутствия логической связи оценок и норм с описаниями этика не может иметь какого-либо эмпирического основания и, значит, не является наукой. «Наиболее простым, по-видимому, и наиболее важным результатом в области этики является чисто логический результат, — писал когда-то Поппер. — Я имею в

<sup>1</sup>См., например: *Searly I.R.* How to Derive «Ought» from «Is» // *Philosophical Review*. — 1964. — V. 73. — N 1; *Mavrodes G.I.* «Is» and «Ought» // *Analysis*. — 1964. — V. 25. — N 2; *Rynin D.* The Autonomy of Morals // *Mind*, 1957. — V. 66. — N 263.

<sup>2</sup>См., например: *Cohen M.F.* «Is» and «Should». An Unbridged Gap // *Philosophical Review*. — 1965. — V. 74. — N 2; *Flew A.* On not Deriving «Ought» from «Is» // *Analysis*. — 1964. — V. 25. — N 2.

виду невозможность выведения нетавтологических этических правил... из утверждений о фактах. Только учитывая это фундаментальное логическое положение, мы можем сформулировать реальные проблемы философии морали и оценить их трудность»<sup>1</sup>. Принципу Юма нередко и сейчас еще отводится центральная роль в методологии этики и других наук, стремящихся обосновать какие-то ценности и требования. Иногда даже утверждается, что в силу данного принципа этика неспособна перейти от наблюдения моральной жизни к ее кодификации, так что все системы (нормативной) этики не опираются на факты и в этом смысле автономны и равноценны.

Несмотря на то, что принцип Юма справедлив, принцип автономии этики ошибочен. Ни логика норм, ни логика оценок не санкционируют выводов, ведущих от чисто фактических (описательных) посылок к оценочным или нормативным заключениям. Обсуждение особенностей обоснования моральных норм требует, конечно, учета этого логического результата. Вместе с тем ясно, что он не предопределяет решение методологических проблем обоснования этики, точно также, как невозможность перехода с помощью только логики от фактов к научным законам не предрешает ответа на вопрос об обоснованности теоретического знания. Научные законы не вытекают логически из фактов, но это не значит, что опыт для них безразличен. Переход от эмпирического описания к закону не является логическим выводом, это всегда скачок в неизвестность, связанный с тем, что закон имеет двойственное, описательно-оценочное значение. Он не только обобщает известные факты, но и выступает критерием оценки новых фактов и других законов. Двойственность научных законов не означает, конечно, что каждая наука автономна и не зависит от эмпирического материала.

Существует определенная асимметрия между гуманитарными и естественными науками с точки зрения вхождения в них ценностей. Первые достаточно прямо и эксплицитно формулируют и обосновывают оценки и нормы разного рода, в то время как вторые включают ценности только имплицитно, в составе описательно-оценочных утверждений. Это усложняет сопоставление процедур обоснования в двух разных типах наук. Но что касается обоснования этических утверждений, то оно осуществляется так же, как и во всех других гуманитарных науках. Если проблема обоснования этики и существенна (что сомнитель-

<sup>1</sup>Popper K. What Can Logic Do for Philosophy // Aristotelian Society. — Proceedings. — 1948. — V. 22 (supplementary).



но), она не отличается от проблемы обоснования других наук о человеческой деятельности.

То, что моральные утверждения не могут быть выведены по правилам логики из описательных утверждений, представляет особый интерес в связи с обилием в философии морали концепций, обосновывающих нормы нравственности ссылкой на некое их соответствие определенным реалиям внешнего мира: законам природы, направлению естественной эволюции, объективному ходу истории и т.п. Все эти концепции являются некорректными, поскольку предполагают нарушение принципа Юма. Если, допустим, в истории господствует необходимость и переход от одного этапа в развитии общества к другому совершается закономерно, из этого вовсе не вытекает, что каждый человек морально обязан содействовать исторической необходимости и даже пытаться ускорить диктуемый ею переход. Из социологических законов не вытекают моральные нормы точно так же, как из закона природы, что все люди смертны, не следует моральный долг способствовать этому исходу.

Сведение морали к исторической или природной необходимости не только методологически несостоятельно, но и опасно. Как пишет К.Поппер, «...философия, представляющая собой попытку преодоления дуализма фактов и норм и построения некоторой монистической системы, создающей мир из одних только фактов, ведет к *отождествлению норм или с властвующей ныне, или с будущей силой*. Эта философия неизбежно приводит к моральному позитивизму или моральному историцизму...»<sup>1</sup>.

Проще обстоит дело с *принципом, согласно которому из оценочных утверждений логически невыводимы описательные утверждения*. Ни логика оценок, ни логика норм не считают переход от «должен» к «есть» обоснованным. Если ценность понимается как противоположность истины, то лишаются смысла не только поиски логического перехода от «есть» к «должен», но и поиски перехода от «должен» к «есть».

Кант утверждал, что, если человек обязан что-то сделать, он способен это выполнить. Если «принцип Канта» истолковывается как допущение возможности логического перехода от суждения долженствования (т.е. оценки) к описанию (а именно, к описанию способностей человека), он является неверным. Данный принцип представляет собой, скорее, совет, адресованный нормативному авторитету: не следует устанавливать норм, выполне-

<sup>1</sup>Поппер К. Логика и рост научного знания. — С. 411.

ние которых выходит за пределы (обычных) человеческих способностей. Этот совет, как и всякий другой, является оценкой. Принцип Канта можно интерпретировать также как описание: из утверждения о существовании нормы можно с определенной уверенностью вывести утверждение, что предписываемое ею действие лежит в пределах человеческих возможностей. Но эта дескриптивная интерпретация не является, конечно, контрпримером к положению о невыводимости описаний из оценок.

Таким образом, *аргументация, в ходе которой из описаний логически выводятся оценки или из оценок — описания, является заведомо некорректной.*

## 4. Стандартные некорректные аргументы

Некоторые некорректные приемы аргументации, применяемые довольно часто, получили собственные имена.

*Аргумент к аудитории* — попытка опереться на мнения, чувства и настроения аудитории вместо обоснования тезиса объективными доводами. Воспользовавшийся этим аргументом человек обращается не к своему партнеру в споре или иной аргументации, а к другим участникам или даже случайным слушателям и стремится привлечь их на свою сторону, апеллируя по преимуществу к их чувствам, а не к разуму.

Так, на одной из дискуссий по поводу теории происхождения видов Ч.Дарвина епископ Вильберфорс обратился к слушателям с вопросом, были ли их предки обезьянами. Защищавший данную теорию биолог Т.Хаксли ответил на это, что ему стыдно не за своих обезьяньих предков, а за людей, которым не хватает ума и которые не способны отнестись всерьез к выводам Дарвина.

Довод епископа — типичный аргумент к аудитории: тем, кто присутствовал на этой происходившей в конце прошлого века дискуссии, казалось не совсем приличным иметь своими, пусть и отдаленными, предками обезьян.

*Аргумент к личности* — приписывание оппоненту недостатков, реальных или мнимых, представляющих его в смешном свете, бросающих тень на его умственные способности, подрывающих доверие к его рассуждениям.

Такого рода «критика» ведет к тому, что сущность спора уходит на задний план, предметом обсуждения становится личность оппонента. Даже если упреки в адрес последнего справедливы, этот прием некорректен, поскольку меняет плоскость аргументации. Из того, что человек допускал какие-то промахи, вовсе не следует, что и к сказанному им сейчас надо отнестись с недоверием. Жонглирование отрицательными характе-

ристиками личности противника, не имеющими никакого отношения к существу рассматриваемого вопроса, разумеется, недопустимо.

Особенно обидным аргумент к личности оказывается тогда, когда один из спорящих приписывает другому свои собственные отрицательные черты или порочащие мотивы. О совете одного пройдохи поступать именно так вспоминал И.С.Тургенев.

— ...Если вы, например, ренегат, — упрекайте противника в том, что у него нет убеждений!

Если вы сами лакей в душе, — говорите ему с укоризной, что он лакей... лакей цивилизации, Европы, социализма...

— Можно даже сказать: лакей безлакейства! — заметил я.

— И это можно, — подхватил пройдоха.

К числу аргументов к личности можно отнести и случаи, когда, например, адвокат с целью опровержения какого-то обвинения подчеркивает достоинства подзащитного:

— Господа присяжные заседатели, господин судья! Мой клиент признался, что воровал. Это ценное и искреннее признание. Я бы даже сказал, что оно свидетельствует о необыкновенно цельной и глубокой натуре, человеку смелом и честном. Но возможно ли, господа, чтобы человек, обладающий такими редкостными качествами, был вором?

*Аргумент к массам* — попытка взволновать и наэлектризовать широкий круг людей, используя их групповой эгоизм, национальные или расовые предрассудки, давая лживые обещания и т.п. Этот аргумент, называемый также *демагогией*, нередко применяется в политических диспутах.

*Аргумент к человеку* — использование в поддержку своей позиции оснований, выдвигаемых противной стороной в споре или вытекающих из принимаемых ею положений.

Например, школьники просят учителя ботаники вместо урока отправиться в лес. При этом они ссылаются на то, что, как он сам не раз говорил, что непосредственный контакт с природой — лучший способ узнать ее тайны.

Такого рода довод является нечестным только в том случае, когда человек, прибегающий к нему, сам не разделяет данного убеждения и только делает вид, что он присоединяется к общей платформе.

*Аргумент к тщеславию* — расточение неумеренных похвал противнику в споре в надежде, что, тронутый комплиментами, он станет мягче и покладистой.

Этот довод можно считать частным случаем аргумента к личности. Как только в дискуссии начинают встречаться обороты типа «не подлежит сомнению глубокая эрудиция оппонента», «как человек выдающихся достоинств, оппонент...» и т.п., можно предполагать завуалированный аргумент к тщеславию.

*Аргумент к несмелости, или к авторитету*, — обращение в поддержку своих взглядов к идеям и именам тех людей, с кем оппонент не посмеет спорить, даже если они, по его мнению, неправы.

Например, в дискуссии по мировоззренческим вопросам одна сторона ссылается на авторитет великих ученых: физиков, математиков, химиков. Другая сторона чувствует, что эти авторитеты в частных областях далеко не всегда правы в самых общих вопросах, но не рискует высказаться против них.

*Аргумент к силе («к палке»)* — угроза неприятными последствиями, и в частности угроза применения насилия или прямое употребление каких-то средств принуждения.

Скажем, наставляя не соглашающегося с ним сына, отец грозит, что накажет его, если тот принесет из школы тройку.

*Аргумент к незнанию, или невежеству* — ссылка на неосведомленность, а то и невежество оппонента в вопросах, относящихся к существу спора; упоминание таких фактов или положений, которых никто из спорящих не знает и не в состоянии проверить.

Допустим, приводится известный принцип, но сформулированный на латыни, так что другая сторона, не знающая этого языка, не понимает, о чем идет речь, и вместе с тем не хочет этого показать. Иногда неспособность оппонента опровергнуть какое-то утверждение представляется как довод в пользу этого утверждения: «Можешь доказать, что никто не способен читать мысли другого?» — «Нет, не могу». — «Значит, должен согласиться с тем, что кто-то способен это делать».

*Аргумент к жалости* — возбуждение в другой стороне жалости и сочувствия.

Например, студент, не сдавший экзамена, просит профессора поставить ему хотя бы удовлетворительно, иначе его лишат стипендии.

Все эти аргументы являются, конечно, некорректными способами защиты своей позиции. Но нетрудно заметить, что применение одних легче понять и извинить, чем употребление других. Некоторые же вообще ничем нельзя оправдать.

Недопустимы в аргументации и такие уловки, как умышленный уход от темы, длинные разглагольствования о вещах, не имеющих никакого отношения к обсуждаемым вопросам, попытки запутать основную мысль в чаще всяких деталей и подробностей, чтобы затем незаметно направить внимание аудитории на то, что кажется выигрышным, и т.п.

<b>Глава 9. Искусство спора .....</b>	<b>314</b>
1. Спор как частный случай аргументации .....	—
2. Корректные приемы спора .....	316
3. Некорректные приемы спора .....	320
4. Споры об истине и споры о ценностях .....	327
5. Четыре разновидности споров .....	330
6. Как не следует спорить .....	332
7. Общие требования к спору .....	337
8. Можно ли одержать верх в споре? .....	345

## Глава 9

# ИСКУССТВО СПОРА

### 1. Спор как частный случай аргументации

*Спор представляет собой столкновение мнений или позиций, в ходе которого стороны приводят аргументы в поддержку своих убеждений и критикуют несовместимые с последними представления другой стороны.*

Спор является частным случаем аргументации, ее наиболее острой и напряженной формой. Всякая аргументация имеет предмет, или тему, но спор характеризуется не просто определенным предметом, а наличием **н е с о в м е с т и м ы х** представлений об одном и том же объекте, явлении и т.д. Спор предполагает противоположные мнения и активное отстаивание каждой из его сторон своей собственной позиции, несовместимой с позицией другой стороны. Если противоположности или столкновения мнений нет, то нет и самого спора, а есть какая-то иная форма аргументации.

Когда в ходе аргументации активная сторона, проponent (от лат. *proponentis* — предлагающий) выдвигает какой-то тезис, отношение другой стороны, оппонента (от лат. *opponentis* — возражающий) к данному тезису может быть трояким:

— оппонент заранее склонен поддержать данный тезис и, возможно, принять его. Задача проponentа в этом случае не в том, чтобы переубедить оппонента, опровергнув его доводы, а в том, чтобы заставить последнего еще более настойчиво и активно поддерживать тезис;

— оппонент нейтрален в отношении предлагаемого тезиса и не имеет доводов ни за, ни против него. Задача проponentа состоит в том, чтобы склонить оппонента на свою сторону, рассеяв в случае необходимости те возражения, которые могут возникнуть у оппонента;

— оппонент отвергает выдвинутый тезис, т.е. поддерживает **а н т и т е з и с**, отрицание тезиса. Это может делаться как с приведением определенных аргументов в поддержку своей позиции, так и без всяких доводов.

Соответственно проponent может выдвигать свой тезис, поддерживая его аргументами или же не делая этого.

Эти контексты аргументации систематизированы в табл. 2.

Таблица 2

Пропонент	Оппонент			
	принимает тезис	нейтралец к тезису	отвергает тезис	
			без аргументов	аргументированно
Выдвигает тезис без аргументов	Лозунг, призыв, команда, норма	Прямое давление на оппонента	Перепалка, ссора, перебранка	Попытка оппонента стать проponentом
Выдвигает тезис с аргументами	Съезд, митинг, собрание, проповедь	Попытка вызвать сочувствие к тезису	Нигилизм, ересь, нежелание спорить	Спор

Ситуация аргументации может быть, таким образом, весьма разнородной: от выкрикивания призывов или произнесения проповедей перед сторонниками выдвигаемых положений до попытки перехватить инициативу и вести полноценный спор. Аргументация может быть направлена на усиление (активизацию) убеждения, если оно уже имеется у оппонента и совпадает в своей основе с позицией проponentа. Если у оппонента еще нет ясной и отчетливой позиции в отношении выдвигаемого тезиса, аргументация проponentа имеет своей целью вызвать у оппонента убеждение в приемлемости и справедливости того, что говорится проponentом. Если этой цели пытаются достичь без приведения сколь-нибудь убедительных аргументов, можно говорить о прямом давлении на нейтрального или колеблющегося оппонента. Если, наконец, выдвигаемому тезису противопоставляется антитезис, то целью аргументации проponentа является переубеждение оппонента.

Спор как одна из возможных ситуаций аргументации имеет характерные признаки:

— на тезис проponentа оппонент отвечает противоположным утверждением, антитезисом («столкновение мнений»);

— и проponent, и оппонент выдвигают какие-то доводы в поддержку своих позиций;

— каждый из спорящих подвергает критике позицию противной стороны.

Если какой-то из этих признаков отсутствует, нет и спора как особого случая аргументации.

Иногда все возможные ситуации аргументации пытаются свести к спору или представить последний по меньшей мере как парадигму аргументации вообще. Это, конечно же, неправомерно. У призывов и проповедей нет ничего общего со спорами. Если тезис, поддерживаемый аргументами или нет, обращен к тем, кто нейтрален к нему, то опять-таки нет оснований отождествлять эту ситуацию со спором. И даже в тех четырех случаях, когда тезис встречается не с поддержкой или колебаниями, а с антитезисом, только в одном случае можно говорить о споре как таковом.

Спор — это ситуация, когда аргументированно опровергается противоположное мнение. Зная многое или даже все о спорах, их основных разновидностях и требованиях к ним, можно не иметь никакого представления о призывах и проповедях и иметь очень слабое представление о перебранке или ереси. Нагорная проповедь — это аргументация, но не дискуссия Христа со своими последователями; молитва — это тоже аргументация, но не полемика молящегося с Богом по поводу своих недооцениваемых добродетелей.

## 2. Корректные приемы спора

Как и в других случаях аргументации, доводы, используемые в споре, могут быть *корректными* или *некорректными*. Первые могут содержать элементы хитрости, но в них нет прямого обмана и тем более вероломства или принуждения силой. Вторые ничем не ограничены и простираются от умышленно неясного изложения и намеренного запутывания до угрозы наказанием или применения грубой физической силы<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>Граница между корректными и некорректными приемами спора не является, конечно, четкой в общем случае, к тому же она может смещаться в ходе конкретного спора по принципу «против оппонента можно использовать его же оружие».

Эта трудность проведения различия между допустимыми и недопустимыми приемами характерна и для других разновидностей аргументации, в частности, для переговоров. «Часто трудно решить, что значит вести переговоры “честно”, — пишут Р.Фишер и У.Юри. — Границу дозволенного можно провести в разных местах. Задайте себе вопросы: “Поступил бы я так с другом или членом семьи?”, “Если бы полный отчет о моих словах и поступках появился в газете, было бы мне неловко?”, “Какому литературному персонажу больше подошло бы такое поведение — герою или злодею?” Эти вопросы не сводятся к тому, чтобы поднять внешнее мнение на высоту, проливающую свет на ваши внутренние ценности. Вы должны собственными



Нужно изучать, конечно, и те и другие приемы. Корректные — чтобы знать, как можно, пользуясь допустимыми средствами, отстоять свою точку зрения. Некорректные — чтобы предвидеть, что можно ожидать от неразборчивого в средствах противника и уметь вывести его на чистую воду.

Спор — это борьба, и общие методы успешной борьбы применимы также в споре.

Во всякой борьбе очень ценной является инициатива. В споре важно, кто задает тему, как конкретно она определяется. Нужно уметь повести полемику по своему сценарию.

Рекомендуется, далее, не обороняться, а наступать. Даже оборону лучше вести с помощью наступления. Вместо того, чтобы отвечать на возражения противника, надо заставить его защищаться и отвечать на выдвигаемые против него возражения. Предвидя его доводы, можно заранее, не дожидаясь, пока он их выскажет, выдвинуть их самому и опровергнуть.

Один из приемов, допустимых в устном споре, — отвлечение внимания противника от той мысли, которую хотят провести без критики. С этой целью мысль или не высказывается вовсе, а только подразумевается, или высказывается, но как бы мимоходом, возможно короче, в стертой форме. Перед этим для отвлечения внимания выдвигают идею, способную своим содержанием или формой выражения привлечь внимание противника, задеть его, поразить и т.п. Можно также перед той мыслью, которую намереваются провести без критики, выдвинуть какой-то второстепенный, но заведомо слабый аргумент. Спорщик, постоянно нацеленный на поиск слабых мест в доводах противоположной стороны, сразу же набросится на явно слабое место и пропустит ближайшие к ней доводы, особенно если они приводятся между прочим и не бросаются в глаза своей ошибочностью.

Иногда полезно возложить «бремя доказывания» на противника. Можно сослаться, например, на то, что ваш тезис вытекает из уже признанного общего положения. Тезис противника окажется исключением из этого положения, и тому нужно будет доказать правомерность такого исключения.

---

силами решить, будете ли вы использовать неподобающую и нечестную, по вашему разумению, тактику, если она применяется вашим противником» (Фишер Р., Юри У. Путь к согласию (соглашение без ущерба для договаривающихся сторон) // Язык и моделирование социального взаимодействия. — М., 1987. — С. 206).

Не только корректна, но и желательна **к о н ц е н т р а ц и я** **д е й с т в и й**, направленных на центральное звено системы аргументов противника или на наиболее слабое ее звено. «Вполне позволителен и тот прием (его даже трудно назвать “уловкой”), — пишет С.И.Поварнин, — когда мы видим, что противник смутился при каком-нибудь доводе или стал особенно горячиться, или стараться “ускользнуть” от ответа, — обращаем особенное внимание на этот довод и начинаем “напирать” на него. Какой бы ни был спор, всегда следует зорко следить за слабыми пунктами в аргументации противника и, найдя такой пункт, “разработать” его до конца, не “выпуская” противника из рук, пока не выяснилась и не подчеркнулась вся слабость этого пункта. “Выпустить” противника в таких случаях можно лишь тогда, когда у противника очевидно шок или т.п., или же из великодушия, из известного “рыцарства в споре”, если он попал в особо нелепый “просак”. Между тем уменье использовать слабые места противника встречается довольно редко. Кого интересует искусство спора, тот часто с жалостью наблюдает, как спорщик, по полному своему неумению ориентироваться в споре или по другим причинам, теряет свое преимущество перед противником»<sup>1</sup>.

Можно применять в споре и прием **о п р о в е р ж е н и я** **п р о т и в н и к а** **е г о** **ж е** **с о б с т в е н н ы м** **о р у ж и е м**. Из принятых им посылок надо всегда пытаться вывести следствия, подкрепляющие защищаемый вами тезис. Особый интерес в этом случае представляют неожиданные для противника следствия, о которых он даже не подозревал.

Эффект **в н е з а п н о с т и** можно использовать и многими другими способами. Например, придержать самые неожиданные и важные сведения к концу спора.

Корректность приема, используемого в споре, существенно зависит от того, какими именно приемами, или уловками, пользуется противоположная сторона. Скажем, к эффекту внезапности уместно прибегать в споре с тем, кто сам приберегает самые важные и неожиданные сведения к концу спора; напирать на слабое звено аргументации оппонента особенно оправданно в том случае, когда он сам постоянно выискивает слабые стороны ваших доводов и т.п.

<sup>1</sup>Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора // Вопросы философии. — 1990. — № 3. — С. 93—94. Эта книга Поварнина, изданная впервые еще в 1918 г., содержит лучшее из имеющихся в литературе описание корректных и некорректных приемов спора. Дальнейшее изложение этой темы во многом опирается на нее.

Когда противник прибегает к некорректным приемам, ваши приемы могут становиться более хитрыми, оставаясь в рамках корректности. Пример такого «ужесточения» тактики спора приводит С.И.Поварнин: «...В споре вам надо доказать какую-нибудь важную мысль. Но противник почувствовал, что если вы ее докажете, то докажете и тезис, и тогда дело его проиграно. Чтобы не дать вам доказать эту мысль, он прибегает к нечестной уловке: какой бы вы довод в пользу нее ни привели, он объявляет его недоказательным. Вы скажете: “Все люди смертны”, — он отвечает: это еще не доказано. Вы скажете: “Ты-то сам существуешь или нет?”. Он отвечает: “Может быть, и существую, а может быть, это и иллюзия”. Что с таким человеком делать? При таком “злостном отрицании” доводов остается или бросить спор, или, если это неудобно, прибегнуть к уловке. Наиболее характерны две “защитные уловки”: а) надо “провести” доводы в пользу доказываемой мысли *так, чтобы противник не заметил, что они предназначаются для этой цели*. Тогда он не станет “злостно упорствовать” и может их принять. Когда мы проведем все их в разброс, потом остается только соединить их вместе — и мысль доказана. Противник попался в ловушку. Для того, чтобы с успехом выполнить эту уловку, часто нужно очень большое искусство, умение “владеть спором”, умение вести его по известному плану, что в наше время встречается редко. Проще другая уловка. б) Заметив, что противник злостно отрицает каждый наш довод в пользу доказываемой мысли, а какой-нибудь довод нам необходимо провести, мы ставим ловушку. О нашем доводе умалчиваем, а вместо него берем противоречащую ему мысль и делаем вид, что ее-то и хотим употребить как довод. Если противник “заладил” отрицать все наши доводы, то он может, не вдумавшись хорошенько, наброситься и на нее и отвергнуть ее. Тут-то ловушка над ним и захлопнется. Отвергнув мысль, противоречащую нашему доводу, он тем самым принял наш довод, который мы хотели провести. Например, мне надо провести довод “Некоторые люди порочны от природы”, а противник мой явно взялся за злостное отрицание и ни за что не пропускает никакого довода. Тогда я делаю вид, что хочу выдвинуть, как довод, противоречащую мысль: “Ведь вы же не станете отрицать, — скажу я, — что от природы всякий человек добр и непорочен, а порочность приобретается от воспитания, от среды и т.д.”. Если противник не разгадает ловушки, он и здесь применит свою тактику и заявит, что это очевидно ложная мысль. “Несомненно, есть люди порочные от природы” — иногда приведет даже доказательства. Нам же это-то как раз и нужно. Довод проведен, ловушка захлопнулась»<sup>1</sup>.

К корректным приемам обычно относят и **о т т я г и в а н и е** **в о з р а ж е н и я**. Хорошо описывает эту уловку С.И.Поварнин: «Иногда бывает так, что противник привел нам довод, на который мы не можем сразу найти возражение. Просто “не приходи с головой”, да и только. В таких случаях стараются по возможности незаметнее для противника “оттянуть возражение”, например, ставят вопросы в связи с приведенным доводом, как бы для выяснения его или для осведомления вообще, — хотя ни в том, ни в другом не нуждаются; начинают ответ издали, с чего-нибудь имеющего отношение к данному вопросу, но прямо с ним не связанного и т.д. В это самое время мысль работает и часто является желаемое возражение, к которому сейчас и

<sup>1</sup>Там же. — С. 94.

переходят. Надо уметь это сделать ловко и незаметно. Если противник заметит, в чем дело, он всячески будет мешать уловке.

Уловка эта в чистом виде вполне позволительна и часто необходима. Психический механизм человека — механизм очень капризный. Иногда вдруг мысль в споре отказывается на момент от работы при самом обычном или даже нелепом возражении. Человек *теряется*. Особенно часто случается это с людьми нервными или застенчивыми, под влиянием самых неожиданных причин, — например, даже иногда под влиянием внезапно мелькнувшей мысли: “А вдруг я не найду ответа” (самовнушение). Высшей степени это явление достигает в так называемом “шоке”. У спорящего вдруг утрачивается весь багаж мыслей по данному вопросу. “Голова опустела”. Все знания, все доводы, все возражения как будто вылетели из головы. Человек совершенно беспомощен. Такой “шок” встречается чаще всего тогда, когда человек очень волнуется или устал. В подобных случаях единственное “спасение” — разбираемая нами уловка. Надо стараться не выдать своего состояния, не смотреть растерянно, не понижать и не ослаблять голоса, говорить твердо и умело оттянуть возражение до тех пор, пока не оправившись. Иначе и противник, и слушатели (по большей части судящие о ходе спора “по внешности”) будут думать, что мы “разбиты”, как бы нелеп ни был довод, при котором случилась с нами эта неприятная история»<sup>1</sup>.

Нередко — особенно когда предмет спора не вполне определен — может оказаться полезным не занимать с самого начала жесткую позицию, не спешить твердо и недвусмысленно изложить ее. Иначе в переменчивых обстоятельствах спора трудно будет ее модифицировать и тем более от чего-то отказаться.

Принято считать, что нет ничего недозволенного и в таком приеме, как взять слово в самом конце спора, зная все аргументы выступавших и лишая их возможности развернутого ответа. Однако вряд ли этот прием демократичен: он доступен далеко не для каждого участвующего в споре.

### 3. Некорректные приемы спора

Некорректные приемы, используемые в спорах, не только многочисленны, но и чрезвычайно разнородны. Среди них есть грубые и даже очень грубые, но есть и очень тонкие.

<sup>1</sup>Там же. — С. 95.

Наиболее грубыми являются «механические», как их называет С.И.Поварнин, уловки.

Таков, в частности, **н е п р а в и л ь н ы й «в ы х о д и з с п о р а»**. «...Бывает и так, — пишет Поварнин, — что спорщику приходится в споре плохо потому, что противник сильнее его или вообще, или в данном вопросе. Он чувствует, что спор ему не по силам, и старается всячески “улизнуть из спора”, “притушить спор”, “прикончить спор”. В средствах тут не стесняются и нередко прибегают к грубейшим механическим уловкам»<sup>1</sup>.

Самым грубым и самым «механическим» Поварнину представляется прием, когда **п р о т и в н и к у н е д а ю т в о з м о ж н о с т и г о в о р и т ь**: «Спорщик постоянно перебивает противника, старается перекричать или просто демонстративно показывает, что не желает его слушать: зажимает себе уши, напеваает, свистит и т.д. В споре при слушателях иногда играют такую роль слушатели, видящие, что их единомышленнику приходится плохо: тут бывает и хор одобрения или неодобрения, и рев, и гоготанье, и топанье ногами, и ломанье столов и стульев, и демонстративный выход из помещения — все по мере культурности нравов слушателей. Спорить при таких условиях, конечно, невозможно. Это называется (в случае успеха) *сорвать спор*.

Если спорщик достаточно нахален, он может, “поспорив” так с вами и не дав вам сказать ни слова, заявить: “С вами нельзя спорить, потому что вы не даете толкового ответа на вопросы” или даже: “Потому что вы положительно не даете возможности говорить”. Иногда все это делается “тоньше”. Вы привели сильный, но сложный довод, против которого противник не может ничего возразить: он тогда говорит с иронией: “Простите, но я не могу спорить с вами больше. Такие доводы — выше моего понимания. Они слишком учены для меня” и т.п.

После этого иного упрямяца никак не заставишь продолжать спор: не схватить же за ногу, чтобы удержать его. Иного можно удержать “в споре”, заявив, что, если он не понял довода, то вина в нашем неумении ясно высказать его, а не в его уме и т.п.»<sup>2</sup>.

Довольно грубым приемом является и **о р г а н и з а ц и я «х о р а» п о л у с л у ш а т е л е й - п о л у ч а с т н и к о в с п о р а**, всячески восхваляющих доводы одной стороны и демонстрирующих скептическое, а то и презрительное отношение к доводам другой стороны. «Вот остроумное замечание! Это

<sup>1</sup>Там же. — С. 95.

<sup>2</sup>Там же.

называется смотреть в корень вещей», «Превосходно!», «Безусловно правильно», «Изумительный ответ» и т.п., — эти восклицания адресуются той стороне спора, которую поддерживает специально подготовленная аудитория; «Слабый ответ», «Плохие доводы», «Это то же, что ничего не ответить», «Все это только пустые оправдания», «Доводы, внушающие жалость» и т.п., — все это адресуется стороне, которую аудитория намеревается «завалить».

Предельно грубым приемом в споре является и с п о л ь з о в а н и е н а с и л и я, физического принуждения или даже истязания для того, чтобы заставить другую сторону, если не принять тезис, то хотя бы сделать вид, что она его принимает. Разновидности этого «аргумента от палки» Поварнин описывает так: «Сначала человек спорит честь-честью, спорит из-за того, истинен ли тезис или ложен. Но спор разыгрывается не в его пользу — и он обращается ко властям предержавшим, указывая на опасность тезиса для государства или общества и т.д. Все равно, какие власти: старого режима или нового, “городовые” или “товарищи”, — название такого приема одно и то же: “призыв к городовому”. И суть одна и та же: приходит какая-нибудь “власть” и зажимает противнику нашему рот. Что и требовалось доказать. Спор прекратился и “победа” за нами. Для того, чтобы применить подобную уловку, требуется, конечно, очень невежественная голова или очень темная совесть.

Но “призыв к городовому” имеет целью только прекратить спор. Многие этим не довольствуются, а применяют подобные же средства, чтобы “убедить” противника, т.е. вернее, заставить его, по крайней мере на словах, согласиться с нами. Тогда подобные доводы получают название “палочных доводов”. Конечно, и в наше время употребляются еще “палочные доводы” в *буквальном* смысле слова. Насилие во всех видах очень часто “убеждает” многих и разрешает споры, по крайней мере на время. Но такие палочные доводы в область рассмотрения логики, хотя бы и прикладной, не входят. Здесь палочным доводом называется довольно некрасивая уловка, состоящая в том, что приводят такой довод, который противник... *должен принять из боязни* чего-нибудь неприятного, часто опасного, или на который он *не может правильно ответить по той же причине* и должен или молчать, или придумывать какие-нибудь “обходные пути”. Это, в сущности, разбой в споре. Даже, пожалуй, в одном отношении, еще хуже. Разбойник открыто предлагает дилемму “кошелек или жизнь”. Софист преподносит *скрытым образом* и с

невинным видом дилемму: “принять довод или потерпеть неприятность”, “не возражать или пострадать”.

Такие доводы изобилуют во все времена, у всех народов, при всех режимах: в государственной, в общественной, в частной жизни. Стоит понаблюдать их, например, в газетах — в правых или левых, смотря по тому, в чьих руках власть. Конечно, не все газеты унижаются до этого. Но в виде общего правила можно сказать, что, чем газета более “крайняя”, тем больше шансов встретить в ней палочный довод, хотя есть немало любителей его и не из “крайних”»<sup>1</sup>.

Разновидностью «аргумента от палки» Поварнин считает и доводы, а п е л л и р у ю щ и е к т а й н ы м м ы с л я м и н е в ы р а ж е н н ы м п о б у ж д е н и я м д р у г о й с т о р о н ы в с п о р е. «К наиболее “любимым” видоизменениям и усложнениям относятся прежде всего многие случаи “чтения в сердцах”. Эта уловка состоит в том, что софист не столько разбирает ваши слова, сколько те тайные мотивы, которые заставили вас их высказывать. Иногда даже он только этим и ограничивается. Достаточно! Не в форме “палочного довода” эта уловка встречается очень часто и употребляется вообще для “зажимания рта” противнику. Например, собеседник высказывает вам в споре: “Вы это говорите не потому, что сами убеждены в этом, а из упорства”, “Лишь бы поспорить”. “Вы сами думаете то же, только не хотите признать своей ошибки”. “Вы говорите из зависти к нему”. “Из сословных интересов”... “Сколько вам дали за то, чтобы поддерживать это мнение?”, “Вы говорите так из партийной дисциплины” и т.д. Что ответить на такое “чтение в сердцах”? Оно многим “зажимает рот”, потому что обычно опровергнуть подобное обвинение невозможно, так же как и доказать его. Другие умеют “срезать” подобного противника, например, ловко и резко подчеркнув характер его уловки. Но настоящую грозную силу уловка эта приобретает *в связи с палочным доводом*. Например, если мы доказываем вредность какого-нибудь правительственного мероприятия, противник пишет: “Причина такого нападения на мероприятие ясна: это стремление подорвать престиж власти. Чем больше разрухи, тем это желательнее для подобных слуг революции (или контрреволюции)” и т.п. Или: “Эти слова — явный призыв к вооруженному восстанию” и т.д.

Конечно, подобные обвинения, если они обоснованны, может быть, в данном случае и справедливы, и обвинитель делает

<sup>1</sup>Там же. — С. 97—98.

очень полезное дело, обращая внимание на известные факты. Иногда это гражданский долг. Но нельзя же называть это *спором*, и нельзя этого примешивать к спору. Спор — это борьба двух мыслей, а не мысли и дубины. Вот против примеси таких приемов к спору необходимо всячески и всемерно протестовать. Не всякая словесная борьба — спор.

Иногда “чтение в сердцах” принимает другую форму: отыскивают мотив, по которому человек *не говорит* чего-нибудь или не пишет. Несомненно, этого он не делает по такому-то или по такому мотиву (например, “крамольному”). Например, почему он не выразил “патриотического восторга”, рассказывая о таком-то событии? Явно, ему не сочувствует. Таким образом, для искусного любителя “читать в сердцах” представляется, при желании, возможность отыскать контрреволюционную или революционную “крамолу” и т.п. как в некоторых словах противника, так иногда и в его молчании»<sup>1</sup>.

Спор — это определенная деятельность, причем деятельность, требующая напряжения не только интеллекта, но и всех духовных сил человека. Мысль, память, воображение спорящих должны работать особенно эффективно и четко. Смешавшийся, вставший в тупик, растерявшийся участник спора рискует забыть и упустить свои самые надежные и выигрышные доводы и потерпеть неудачу в споре. Если мы сильно взволнованы, возбуждены, горячимся, смущены и т.п. — мы спорим хуже, чем обычно. Спор — это не соревнование чистых интеллектов, а состязание, затрагивающее все стороны человеческой души.

Еще один некорректный прием — и с п о л ж н ы х и н е д о к а з а н н ы х а р г у м е н т о в в надежде на то, что противная сторона этого не заметит.

Употребление ложных, недоказанных или непроверенных аргументов нередко сопровождается оборотами: «всем известно», «давно установлено», «совершенно очевидно», «никто не станет отрицать» и т.п. Слушателю как бы оставляется одно: упрекать себя за незнание того, что давно и всем известно.

К одной из форм лжи иногда относят *намеренное запутывание*, или *сбивание с толку*. В выступлении того, кто прибегает к такому приему, возможно, и содержится какая-то информация, но ее чрезвычайно трудно уловить.

Целый ряд некорректных приемов — их обычно называют *психологическими* — как раз и ориентируется на то, чтобы выве-

<sup>1</sup>Там же. — С. 99.



сти оппонента в споре из психического равновесия, расстроить работу его мысли и воображения.

«Самая грубая и обычная уловка, — пишет Поварнин, — *раздражить противника и вывести из себя*. Для этого пускают в ход грубые выходки, оскорбления, глумление, издевательство, явно несправедливые, возмущающие обвинения и т.д. Если противник “вскипел” — дело выиграно. Он потерял много шансов в споре. Некоторые искусно стараются “взвинтить” его до желательной степени. Я видел такую уловку: несправедливостью и насмешками софист вывел из равновесия своего противника-юнца. Тот стал горячиться. Тогда софист принял вид несказанного добродушия и покровительственный тон: “Ну, Юпитер! Ты сердишься, значит ты не прав” — “Ну что вы, батюшка! Стоит так горячиться! Успокойтесь, успокойтесь! Какая вы горячка”, и т.д. Так ведь довел юнца до белого каления! У того и руки дрожат от волнения и негодования. Бросается сослепу в споре, куда ни попало. Перестал соображать совсем и, конечно, “провалился”. Но применяют и разные другие способы, чтобы “вывести из равновесия”. Иной намеренно начинает глумиться над вашим “святая святых”. В личности он не пускается, нет! Но “взвинтить” может неосторожного идеалиста до последнего предела. Если спор очень важный, при слушателях, ответственный, то, говорят, иные прибегают даже к “уловке артистов”. Некоторые артисты, например певцы, чтобы “подрезать” своего соперника, перед его выступлением сообщают ему какое-нибудь крайне неприятное известие, чем-нибудь расстраивают его или выводят из себя оскорблением и т.п. в расчете, что он после этого не будет владеть собой и плохо споет. Так, по слухам, не гнушаются поступать изредка некоторые спорщики перед ответственным спором. Лично мне никогда не приходилось наблюдать этой подлой уловки, но, несомненно, возможна и она. Нужно и против нее быть настороже»<sup>1</sup>.

Некорректен и такой психологический прием, когда один из спорящих говорит очень быстро, выражает свои мысли в нарочито усложненной, а то и просто путаной форме, быстро сменяет одну мысль другою. Этот прием производит особенно тяжелое впечатление, когда быстрая, путанная, постоянно меняющая свое направление речь обращена к неопытному спорщику или к человеку, мыслящему пусть основатель-

<sup>1</sup>Там же. — С. 101.

но, но медленно и с трудом схватывающему только кое-что из сказанного. «Наиболее наглые, — пишет Поварнин, — иногда не стесняются приводить мысли без всякой связи, иногда нелепые, — и пока медленно мыслящий и честный противник старается уловить связь между мыслями, никак не предполагая, что возможно такое нахальство, они уже с торжествующим видом покидают поле битвы. Это делается чаще всего перед такими слушателями, которые ровно ничего не понимают в теме спора, а судят об успехе или поражении — по внешности»<sup>1</sup>.

И в заключение этого, конечно, же неполного, обзора возможных некорректных приемов спора — один пример из художественной литературы, богатый такими приемами. В «Векфилдском священнике» Ч.Голдсмита описывается спор между сквайром, опытным и беззастенчивым в средствах спорщиком, и молодым, неопытным, но рвущимся поспорить Моисеем.

«Верно... — вскричал сквайр. — ...Красивая девушка стоит всех интриг духовенства в мире. Что такое все эти десятины и шарлатанские выдумки, как не обман, один скверный обман! И это я могу доказать». — «Хотел бы я послушать! — воскликнул мой сын Моисей. — Думаю, что смог бы вам ответить». — «Отлично, сэр, — сказал сквайр, который сразу разгадал его и подмигнул остальной компании, чтобы мы приготовились позабавиться. — Отлично, если вы хотите хладнокровно обсуждать эту тему, я готов принять спор. И прежде всего, как вы предпочитаете обсуждать вопросы, аналогически или диалогически?» — «Обсуждать разумно», — воскликнул Моисей, счастливый, что может поспорить. — «Опять-таки превосходно. Прежде всего, во-первых, я надеюсь, вы не станете отрицать, что то, что есть, есть. Если вы не согласны с этим, я не могу рассуждать дальше». — «Еще бы! — ответил Моисей. — Конечно, я согласен с этим и сам воспользуюсь этой истиной, как могу лучше». — «Надеюсь также, вы согласны, что часть меньше целого?» — «Тоже согласен! — воскликнул Моисей. — Это и правильно и разумно». — «Надеюсь, — воскликнул сквайр, — вы не станете отрицать, что три угла треугольника равны двум прямым». — «Нет ничего очевиднее», — ответил Моисей и оглянулся вокруг со своей обычной важностью. — «Превосходно! — воскликнул сквайр и начал говорить очень быстро. — Раз установлены эти посылки, то я утверждаю, что конкатенация самосуществования, выступая во взаимном двойственном отношении, естественно приводит к проблематическому диалогизму, который в известной мере доказывает, что сущность духовности может быть отнесена ко второму виду предикабилей». — «Постойте, постойте! — воскликнул Моисей. — Я отрицаю это. Неужели вы думаете, что я могу без возражения уступить таким неправильным учениям?» — «Что? — ответил сквайр, делая вид, что взбешен. — Вы не уступаете? Ответьте мне на один простой и ясный вопрос: прав, по-вашему, Аристотель, когда говорит, что относительное находится в отношении?» — «Несомненно», — сказал Моисей. — «А если так, — воскликнул сквайр, — то отвечайте мне прямо: считаете ли вы, что аналитическое развитие первой части моей энтимемы *deficient secundum quoad* или *quoad minus* и приведите мне свои доводы. Приведите мне свои доводы, говорю я, — приведите прямо, без уверток». — «Я протестую, — воскликнул Моисей. — Я не схватил как следует сущности вашего рассуждения. Сведите его к простому предложению, тогда, я думаю, смогу вам дать ответ». — «О, сэр! — воскликнул

<sup>1</sup>Там же. — С. 101.

сквайр. — Ваш покорный слуга. Оказывается, что я должен снабдить вас не только доводами, но и разумением! Нет, сэръ. Тут уж я протестую, вы слишком трудный для меня противник». При этих словах поднялся хохот над Моисеем. Он сидел один с вытянутой физиономией среди смеющихся лиц. Больше он не произнес во время беседы ни слова»<sup>1</sup>.

В этом споре используется не только прием ускорения речи до ее непонимания собеседником, но и целая серия других некорректных приемов. В их числе — «аргумент к незнанию» (как именно обсуждать вопросы, «аналогически или диалогически»?; латинская фраза, явно непонятная другой стороне, и др.); неприкрытая насмешка над собеседником («Оказывается, я должен снабдить вас не только доводами, но и разумением», «Вы слишком трудный для меня противник»), призванная вывести из равновесия противника и настроить в свою пользу присутствующих («аргумент к личности» и «аргумент к публике»). Но главный порок аргументации сквайра, несомненно, в том, что формулируемый им тезис является бессмысленным («аналитическое развитие первой части моей энтимемы...») и очевидным образом не связан логически с посылками (ошибка «не вытекает»). Некорректно и использование в качестве того, что претендует на роль посылок, банальностей или просто тавтологий, из которых никакой содержательной информации вообще извлечь невозможно («то, что есть, есть», «часть меньше целого», «три угла треугольника равны двум прямым», «относительное находится в отношении»). Некорректной является, наконец, и ссылка на Аристотеля («аргумент к авторитету»).

Для такого короткого спора некорректных аргументов в общем-то много. В другой аудитории Моисей мог бы считаться выигравшим спор уже потому, что его противник откровенно жульничает.

Нет необходимости дальше обсуждать разнообразные корректные и некорректные приемы, используемые в спорах. Корректные приемы спора — это, в сущности, корректные приемы аргументации вообще плюс то немногое, что связано со спецификой спора. Некорректные приемы спора — это некорректные приемы всякой аргументации с добавлением тех вариантов обмана, запутывания и сбивания с толку, которые могут встречаться именно в спорах.

## 4. Споры об истине и споры о ценностях

Аргументы — это средства спора. Что касается его цели, то это может быть о б н а р у ж е н и е и с т и н ы или д о с т и ж е н и е п о б е д ы в споре.

Ясной границы между корректными и некорректными аргументами не существует. Естественно, что нет ее и между спорами, ведущимися с целью прояснения истины, и спорами, направленными на победу одной из сторон. Отсутствие четких разграничений не означает, конечно, что сами эти разграниче-

<sup>1</sup>Голдсмит Ч. Векфилдский священник. — Гл. VII.

ния не являются важными. Скажем, между умом и глупостью тоже нет сколь-нибудь ясной границы и существует масса переходов, но из этого вряд ли можно заключить, что они в общем-то совпадают и разграничивать их нет особой нужды.

Хорошую характеристику споров, направленных на поиск и прояснение истины, дает польский философ и логик Т.Котарбиньский, называющий такие споры «предметной дискуссией»: «Кто хочет выявить истину, тот не менее усердно ищет ее и в убеждениях или предположениях противника, хотя последние вначале и не согласуются с его собственными взглядами. Чтобы извлечь ее также и оттуда, он старается помочь противнику найти для его мысли слова, которые наиболее точно выражали бы ее. Он пытается, как говорят, понять противника лучше, чем тот сам себя понимает. Вместо того, чтобы использовать каждый слабый пункт аргументации противника для низложения, развенчания и уничтожения того дела, которое он отстаивает, участник предметной дискуссии прилагает усилия к тому, чтобы извлечь из утверждений противника все то ценное, что поможет выявлению истины. И в этом нет противоречия. Это как бы определенное разделение труда: “Ты будешь пытаться отстаивать свою гипотезу, а я свою, и посмотрим, что из этого выйдет. Я буду пытаться опровергнуть твои утверждения, а ты — мои. Давай в нашем исследовании опровергать все, ибо только таким образом можно выявить то, что опровержению не поддается. То, что при этом устоит, и явится совместно найденной истиной. Пусть же она и окажется единственным победителем в этом споре»<sup>1</sup>.

Спор, целью которого является победа, — это всегда спор о ценностях, об утверждении каких-то собственных оценок и опровержении несовместимых с ними оценочных суждений другой стороны. Честность, равенство, справедливость, сострадание, любовь к ближнему и т.п. — все это ценности, и споры о них — это всегда споры о ценностях. Личные планы и планы социальных групп, нормы государства и принципы морали, традиции и идеалы и т.д. — все это также ценности. Цель всех споров о ценностях не истина, а победа. Если перед спором ставится задача — достичь победы, то такой спор — как бы ни представляли его спорящие себе и окружающим — является спором о ценностях. Даже спор об истинности тех или иных утверждений становится спором о

<sup>1</sup>Котарбиньский Т. Избранные произведения. — М., 1973. — С. 482.

ценностях, когда ориентируется не на истину, а на победу одной из сторон.

Большим упрощением было бы думать, что целью каждого спора может быть только истина или по меньшей мере достижение общего согласия по еще нерешенным проблемам, оказавшимся источником спора. Человек — не только разумное и познающее, но и действующее существо. Действие — это всегда успех или неуспех, удача или неудача. Не следует представлять дело так, что успех достигается только теми, кто ориентируется на истину, и что неудача — неизбежный удел тех, кто не особенно считается с нею. Иногда, и нередко, успех достигается как раз неправыми средствами.

Действие невозможно без оценок: норм, образцов, идеалов, утверждений о целях и т.п. Истина является свойством описаний, и спор о ней — это спор о соответствии описания реальному положению дел. Споры об оценках, направляющих действие, не относятся к спорам об истине, поскольку оценки не являются ни истинными, ни ложными.

Было бы ошибкой поэтому говорить, что в споре всегда нужно бороться не за утверждение собственного или коллективного мнения или убеждения, а только за установление истины. Истина — не единственная цель споров. Другой их целью может быть ценность и, соответственно, победа как утверждение одних ценностей в противовес другим.

Можно отметить, что подавляющее большинство обычных споров — это как раз споры не об истине, а о ценностях. Споры об истине встречаются по преимуществу в науке, но и там они нередко переходят в споры о ценностях.

Имеются, таким образом, *споры об описаниях* и *споры об оценках*. Конечной целью первых является истина, т.е. достижение описания, отвечающего реальности. Цель споров об оценках — утверждение каких-то оценок и, соответственно, принятие конкретного, определяемого ими направления будущей деятельности. Слово «победа» прямо относится только к спорам об оценках и выражаемых ими ценностях. Победа — это утверждение одной из противостоящих друг другу систем ценностей. В спорах об истине о победе одной из спорящих сторон можно говорить лишь в переносном смысле: когда в результате спора открывается истина, она делается достоянием обеих спорящих сторон, и «победа» одной из них имеет чисто психологический характер.

## 5. Четыре разновидности споров

По своей цели споры делятся на *преследующие истину и преследующие победу над противоположной стороной*. По своим средствам они подразделяются на *использующие только корректные приемы и использующие также разнообразные некорректные приемы*.

Объединяя эти два деления споров, получаем четыре их разновидности, которые можно назвать *дискуссией, полемикой, эклектикой и софистикой*.

*Дискуссия — спор, направленный на достижение истины и использующий только корректные приемы ведения спора.*

*Пolemика — спор, направленный на победу над противоположной стороной и использующий только корректные приемы.*

*Эклектика — спор, имеющий своей целью достижение истины, но использующий для этого и некорректные приемы.*

*Софистика — спор, имеющий своей целью достижение победы над противоположной стороной с использованием как корректных, так и некорректных приемов.*

Дискуссия — одна из важнейших форм коммуникации, метод решения спорных проблем и своеобразный способ познания. Она позволяет лучше понять то, что не является в полной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. И если даже участники дискуссии не приходят в итоге к согласию, они определенно достигают в ходе дискуссии лучшего взаимопонимания.

Польза дискуссии еще и в том, что она уменьшает момент субъективности. Убеждениям отдельного человека или группы людей она сообщает общую поддержку и тем самым определенную обоснованность.

Непосредственная задача дискуссии — достижение определенной степени согласия ее участников относительно diskutированного тезиса.

Используемые в дискуссии средства должны быть корректными и, как правило, признаваться всеми, кто принимает в ней участие. Употребление средств другого рода ведет обычно к обрыву дискуссии.

Пolemика, во многом подобная дискуссии, существенно отличается от последней в отношении как своей цели, так и применяемых средств.

Цель полемики — не достижение согласия, а победа над другой стороной, утверждение собственной точки зрения. Средства, употребляемые в полемике, должны быть корректными, но

они не обязательно должны быть настолько нейтральными, чтобы с ними соглашались все участники. Каждый из них применяет те приемы, которые находит нужными для достижения победы, и не считается с тем, насколько они соответствуют представлениям других участников полемики о допустимых приемах спора.

Именно это различие целей и средств дискуссии и полемики лежит в основе того, что противоположная сторона в дискуссии именуется обычно «оппонентом», а в полемике — «противником». Poleмику можно сравнить с военными действиями, не предполагающими, что противник согласится с применяемыми против него средствами; дискуссия подобна военной игре, в ходе которой допустимо опираться только на средства, доступные другой стороне и признаваемые ею.

Хотя полемика и направлена по преимуществу на утверждение своей позиции, нужно постоянно помнить, что победа ошибочной точки зрения, добытая благодаря уловкам и слабости другой стороны, как правило, недолговечна, и она не способна принести моральное удовлетворение.

В самом общем смысле **э к л е к т и к а** — это соединение разнородных, внутренне не связанных и, возможно, несовместимых идей, концепций, стилей и т.д. В качестве методологического принципа эклектика появилась впервые в древней философии как выражение упадка и интеллектуального бессилия последней. Эклектика широко использовалась в средневековой схоластике, когда приводились десятки и сотни разнородных, внутренне не связанных доводов «за» и «против» некоторого положения.

Спор об истине, использующий и некорректные приемы, уместно назвать «эклектикой» на том основании, что такие приемы плохо согласуются с самой природой истины. Скажем, расточая комплименты всем присутствующим при споре, или, напротив, угрожая им силой, можно склонить их к мнению, что 137 — простое число. Но выиграет ли сама истина при таком способе ее утверждения? Вряд ли.

Тем не менее, эклектические споры, в которых истина поддерживается чужеродными ей средствами, существуют, и они не столь редки, как это может показаться. Они встречаются даже в науке, особенно в период формирования новых научных теорий, когда осваивается новая проблематика и еще недостижим синтез разрозненных фактов, представлений и гипотез в единую систему.

Известно, что Галилей, отстаивавший когда-то гелиоцентрическую систему Коперника, победил благодаря не в последнюю очередь своему стилю и блестящей технике убеждения: он писал на итальянском, а не на быстро устаревавшем латинском языке, и обращался напрямую к людям, пылко протестовавшим против старых идей и связанных с ними канонов обучения. Для самой истины безразлично, на каком языке она излагается и какие конкретно люди ее поддерживают. Тем не менее пропагандистские аргументы Галилея определенно сыграли позитивную роль в распространении и укреплении гипотезы Коперника.

Истина рождается в споре, и утверждается она в конечном счете с помощью корректных средств. Но наука делается живыми людьми, на которых оказывают воздействие и некорректные приемы. Не удивительно поэтому, что в спорах об истине иногда возникает искушение воспользоваться какими-то мягкими формами таких приемов.

Отношение к эклектике как разновидности спора должно быть взвешенным и учитывающим ситуацию, в которой для защиты еще не для всех очевидной истины были использованы не вполне корректные средства.

Что заслуживает безусловного осуждения, так это софистика — спор, в котором для достижения победы над противником используются любые средства, включая и заведомо некорректные. В споре, как и в других делах, нельзя быть неразборчивым в применяемых средствах. Не следует вступать в спор с единственной целью — победить в нем любой ценой, не считаясь ни с чем, даже с истиной и добром.

## 6. Как не следует спорить

В отрывке из юмористического рассказа Л.Зорина «Полемисты» описывается «полемика» между сотрудниками некоего научного института. Автор утрирует и доводит до карикатуры черты, присущие некоторым обычным спорам.

Читая этот отрывок, являющийся, можно сказать, иллюстрацией того, как не следует спорить, попытайтесь ответить на вопросы: к какому виду относится этот спор? можно ли достичь в нем победы? какие конкретные аргументы в нем используются и какие из них относятся к некорректным?

Петрунин, еще молодой человек, направлен в институт, чтобы помочь разрешить возникшие разногласия. Его представляет собравшимся директор института, профессор Ратайчак.



«...Стоило ученым войти, задвигать стульями, усесться удобнее, принять свои привычные позы и, главное, оглядеть кабинет и разместившихся в нем коллег, как сразу возникла некая аура, какое-то грозное биополе. В воздухе было что-то опасное...

— Ну что ж, дорогие друзья, приступим, — приветливо сказал Ратайчак.

— Это вот товарищ Петрунин. Прошу вас его любить и жаловать. Очень надеюсь, его участие будет полезным и плодотворным.

— Уже успели сориентировать? — спросил с места ученый с проседью и окладистой бородой.

— На недостойные намеки не отвечаю, — сказал директор.

— Не отвечать — это вы умеете, — бросил с места другой ученый, сутуловатый, желтолицый, с быстро бегающими красноватыми глазками.

— Я попрошу соблюдать порядок, — сказал с достоинством Ратайчак. — Как известно, в коллективе сложилась ситуация весьма деликатная...

— О деликатности лучше не надо! — крикнул разгневанный бородач. — Эва куда загнул — деликатная...

— Виноват, не учел аудитории, — ответил Ратайчак не без яда. — Речь идет о том, что профессор Скурский обвиняет профессора Чердакова в заимствовании...

— В заимствовании?! — завопил желтолицый, по-видимому, это и был Скурский. — Он не заимствовал, а спер!..

“Что происходит? — терялся Петрунин. — Что это они говорят?”

— Низкий поклон! — сказал бородач.

Петрунин понял, что это и был Чердаков.

— Скажите, какое высокое сердце, — издевательски усмехнулся Скурский, — какие мы не от мира сего... А пытаться присвоить материалы, собранные твоим коллегой, да при этом заинтересовать директора...

— Ну, Маврикий Петрович, — сказал Ратайчак, — за такие слова когда-то к барьеру...

— Отродясь у нас не было никаких барьеров, — крикнул Скурский, — как и у вашего выкорыша...

— И вы смеете — о чужих материалах? — Чердаков патетически воздел руки. — Вся жизнь на вас, как на плантатора, горбятся молодые люди, а вы еще имеете наглость...

— Это мои ученики! Уж разберемся без вашей помощи, как я формирую ученых, — Скурский испепелил его взглядом. — А переманивать да обольщать — так поступают только растлители! Мазурики на худой конец...

— Я прошу занести в протокол, — сказал Чердаков, сжав кулаки, — что здесь при полнейшем попустительстве руководителя института травят заслуженного специалиста...

— Ну, то, что вы заслужили — всем ясно... Заслуженный специалист, как вам нравится? — спросил Скурский с почти натуральным хохотом.

— Пишет собственную фамилию по крайней мере с двумя ошибками!

— Ложь, — сказал Чердаков. — Передержка и ложь. Но лучше плохо писать фамилию, чем хорошо — на других доносы!

— Уж этот жанр здесь процветает, — горько сказал толстяк с одышкой, как выяснилось, профессор Кайлов.

Его с готовностью поддержал Герасим Александрович Холкин, розовый, лысоватый мужчина:

— Вот именно! Сдают не листаж, а анонимки. С превышением плана!

— Боже мой... — прошептал Петрунин.

— Позвольте, — вскочил худощавый ученый со звучной фамилией Недобок, человек резких изогнутых линий, казалось, он движется на шарнирах. — Я анонимок не пишу, всегда говорю, как известно, все прямо...

— На воре шапка горит, — сказал Чердаков.

— В воровстве здесь вина не меня, а вас, — живо парировал Недобоков. — Я возвращаюсь к своей мысли. Пусть сам я не пишу анонимок, но я понимаю тех несчастных, которые вынуждены скрывать свое имя, ибо знают чугунную и беспощадную руку нашего, как говорится, шефа.

— Была б у меня рука чугунная, — с горечью возразил Ратайчак, — ты бы недолго здесь хулиганил. Давно бы вылетел по сокращению!

— Слышали? — воззвал Недобоков, громко хрустя всеми суставами. — Вот он ответ на честную гласность! Грязный неприкрытый шантаж!

— Не стоило б говорить о грязи тому, кто еще не пропустил ни одной сотрудницы моложе пятидесяти, — укоризненно сказал Ратайчак. — Сначала надо бы стать почище.

— Вот, вот! — огрызнулся человек на шарнирах. — Как же! Чистота — ваш конек! Недаром содержали уборщицу.

— Клоака, — кивнул одобрительно Скурский, — в подобной безнравственной атмосфере стесняться, разумеется, нечего...

— Морали читает, — махнул рукой Чердаков, презрительно озирая Скурского, — лучше бы сказал про свою законную, про Зойку... Из какого расчета ты помалкивал, когда она здесь хороводилась?

— Клевета! — почему-то одновременно воскликнули и Ратайчак, и Кайлов, и розовый лысоватый Холкин.

Шумно задвигался и Недобоков — от возмущения он не мог говорить. Казалось, что все его шурупы разом вылезли из пазов.

— Вот видите, товарищ Петрунин, какие облыжные обвинения, — с душевной болью сказал директор. — Поверите, не сразу найдешься... Как прикажете все это квалифицировать?

Но Петрунин ничего не ответил. Голова подозрительно горела, на щеках выступили алые пятна, в горле была зловещая сухость, намертво сковавшая речь. Перед глазами его мелькали страшные смутные видения...»<sup>1</sup>.

Каждый из нас принимал участие в самых разнообразных спорах и дискуссиях, так что общие принципы ведения спора известны нам и без всякой теории. Можно без особого труда назвать те обычные правила ведения спора, которые нарушаются — и притом недвусмысленно и грубо — в постоянно переходящей на личности перебранке «ученых».

Данный спор определенно направлен на победу. В нем используются аргументы, явно выходящие за рамки корректных. Спор является типичной с о ф и с т и к о й, хотя прямых софизмов (недоказательных рассуждений, выдаваемых за доказательные) в споре нет.

Победа в подобном споре нереальна. Как это иногда бывает, здесь за одним спором, ведущимся явно, скрывается еще и другой, более глубокий, лишь временами обнаружива-

<sup>1</sup>Зорин Л. Осенний юмор. — М., 1987. — С. 87—89.

ющий себя вовне спор. Поскольку тема этого, по преимуществу неявного спора прямо не ставится и не обсуждается, победа в первом споре может быть только временной и неустойчивой.

Переплетение двух споров, глубинный из которых определяет поверхностный, обуславливает неясность темы ведущегося открыто спора.

К некорректным приемам данного спора следует отнести прежде всего создание его участниками неприязненной, напряженной атмосферы, в которой протекает спор, «грозного биополя» и ощущения опасности. Этому во многом способствует их нескрываемая подозрительность в отношении сказанного друг другом.

Неприемлема в корректном споре и грубость в отношении оппонента («не заимствовал, а спер», «низкий поклеп», «выкормыш», «заслуженный специалист, пишущий свою фамилию по крайней мере с двумя ошибками» и т.п.). Язык спора является нарочито грубым, он изобилует жаргонными словами и вульгаризмами («растлители», «мазурики», «на воре шапка горит», «грязный неприкрытый шантаж», «всю жизнь на вас, как на плантатора, горбатятся, а вы еще имеете наглость...» и т.п.). В голосах спорящих звучат постоянная ирония и издевка («эва куда загнул...», «отродясь у вас не было никаких барьеров», «то, что вы заслужили — всем ясно», «сначала надо бы стать почище» и т.п.).

В корректном споре вряд ли приемлемо и притворство его участников в выражении своих чувств, характерное для данного спора (он начинается с «дорогих друзей» и «любить и жаловать», но затем переходит к «деликатной ситуации» и к «ты бы не долго здесь хулиганил»).

В споре обеими его сторонами активно используется аргумент к публике, когда вместо обоснования выдвинутого положения или предъявленного обвинения объективными аргументами, апеллируют к чувствам и настроению слушателей.

Постоянно используется также аргумент к личности: противнику приписываются недостатки с намерением подорвать доверие к его аргументам («переманивает и обольщает», «не отвечать — это вы умеете...», «не пропустил ни одной сотрудницы моложе пятидесяти» и т.п.). Недостатки противной стороны при этом явно гиперболизируются.

Используется также некорректный аргумент к силе: противнику угрожают барьером, увольнением, разоблачением («за та-

кие слова когда-то к барьеру», «давно бы вылетел по сокращению» и т.п.).

Самое главное состоит, однако, в том, что у «ученых» нет, в сущности, предмета спора, нет единой темы, о которой могли бы высказываться разные точки зрения. И если быть строгим, можно сказать, что и спора как такового здесь нет, ибо он идет относительно неясных взаимных обид и претензий. Не удивительно, что человеку со стороны так и не удалось вмешаться в ход полемики, которая остается для него совершенно темной. Каждому понятно, что неразумно сразу же ввязываться в спор, скажем, о древневерхненемецком языке, впервые услышав о нем.

В этом споре без единой и ясной темы спорящие не находят нужным слушать друг друга. Один не вникает в аргументы другого, каждый ведет свою партию, никак не связанную с партией оппонента. Такой спор напоминает опробование музыкантами своих инструментов перед началом концерта: каждый играет что ему вздумается, слышна не музыка, а какофония.

О большинстве утверждений спорящих трудно сказать, истинны они или ложны. Скорее всего, к верному в них примешивается изрядная доля вымысла и недоброжелательства. Иногда используются, как можно предположить, и явно ложные сведения, что недопустимо в корректном споре. В тех случаях, когда высказываются истинные утверждения, создается впечатление, что они важны не сами по себе, а столько как средство прикрыть ложное и необоснованное и придать всему иллюзию убедительности. Это — обычный софистический, обманный прием. К другим таким приемам относятся используемые в этом споре угрозы, обращения за поддержкой к публике, запутывание противника, прозрачные намеки на его недостойное поведение.

И конечно же, в споре нет никакой внутренней логики. Высказывания спорящих не связываются друг с другом, одни из них не вытекают из других. Зато есть слова, намекающие на логические связи и создающие впечатление определенной последовательности рассуждения. Это обычный обманный прием: придавать видимость логичности тому, что лишено внутренней логики.

Все эти ошибки и уловки легко, конечно, обнаружить. Но прежде всего потому, что они очень рельефно поданы. Точно такие же по своему характеру ошибки могут проходить в обычных спорах незамеченными.

Это говорит о том, что практика ведения споров, какой бы обширной она ни была, сама по себе далеко не всегда достаточна для искусного ведения спора. Здесь, как и везде, хорошая теория может дать многое.

## 7. Общие требования к спору

Спор — это столкновение мнений, позиций, в ходе которого каждая из сторон аргументированно отстаивает свое понимание обсуждаемых проблем и стремится опровергнуть доводы другой стороны.

Спор представляет собой важное средство прояснения и разрешения вопросов, вызывающих разногласия, лучшего понимания того, что не является в достаточной мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования. Если даже участники спора не приходят в итоге к согласию, в ходе спора они лучше уясняют как позиции другой стороны, так и свои собственные.

Искусство ведения спора называется *эристикой*.

Эристика получила большое распространение в Древней Греции в связи с расцветом политической, судебной и моральной полемики. Первоначально эристика понималась как *средство отыскания истины и добра с помощью спора*, она должна была учить умению убеждать других в правильности высказываемых взглядов и, соответственно, умению склонять человека к тому поведению, которое представляется нужным и целесообразным. Но постепенно эристика выродилась в обучение тому, как вести спор, чтобы достигнуть единственной цели — выиграть его любой ценой, совершенно не заботясь об истине и справедливости. Широкое хождение получили разнообразные некорректные приемы достижения победы в споре. Это серьезно подрывало доверие к обучению искусству спора. Эристика разделилась на *диалектику* и *софистику*. Первая развивалась Сократом, впервые применившим само слов «диалектика» для обозначения искусства вести эффективный спор, диалог, в котором путем взаимозаинтересованного обсуждения проблемы и противоборства мнений достигается истина. Софистика же, ставившая целью спора победу в нем, а не истину, существенно скомпрометировала саму идею искусства спора. От Аристотеля идет традиция неправомерного отождествления эристики с софистикой. Такое понимание эристики развивал, в частности, немецкий философ А. Шопенгауэр, определявший ее

как искусство спора или духовного фехтования с единственной целью остаться правым<sup>1</sup>.

Использование в споре нечестных, или некорректных, приемов не способно, конечно, скомпрометировать саму идею спора как интересного и важно средства достижения взаимопонимания между людьми, углубления знания о мире. Эристика как изучение спора и обучение искусству его ведения и правомерна, и полезна, но только при условии, что целью спора считается установление истины и добра, а не просто победа любой ценой.

Эристика не является отдельной наукой или разделом какой-то науки. Она представляет собой разновидность «практического искусства», подобного обучению ходьбе и музыке.

Очевидно, что не существует такого общего перечня требований, которому удовлетворяли бы все четыре разновидности споров. Софистика вообще не стеснена никакими правилами: в софистическом споре может быть нарушено любое общее требование, не исключая требования быть логичным или требования знать хотя бы приблизительно те проблемы, о которых зашел спор. Для трех остальных разновидностей спора можно попытаться сформулировать общие требования, которым они должны удовлетворять, если подразумевается, что спорящие ориентируются в конечном счете на раскрытие истины или добра.

В числе таких общих требований можно упомянуть, в частности, следующие.

1. *Не следует спорить без особой необходимости.* Если есть возможность достичь согласия без спора, надо этим воспользоваться.

Встречаются люди, готовые спорить по поводу и без повода, иногда они даже гордятся этим. Такие завязтые спорщики, ввязывающиеся в спор ради него самого, чаще всего только мешают прояснению дела. Полезно всегда помнить, что спор представляет ценность не сам по себе, а как средство достижения определенных целей. Если ясной и важной цели нет или она

<sup>1</sup>См.: Шопенгауэр А. Эристика, или искусство в спорах. — СПб., 1900. Эту работу Шопенгауэра иногда называют пособием для недобросовестных спорщиков. Но эта оценка определенно является необоснованной. Шопенгауэр сосредоточивает свое внимание на спорах, названных здесь эклектикой и софистикой. Его едкий анализ убедительно показывает, что получившие широкое хождение идеи «идеального спорщика», «идеального аргументатора», «кодекса спора», «кодекса аргументатора» и т.п. совершенно не приложимы к эклектическим и софистическим спорам.

может быть достигнута без всякого спора, затевать спор бессмысленно. Постоянная нацеленность на спор, на оппозицию любым мнениям, не совпадающим полностью с собственным мнением, развязывание мелких споров и т.п. характеризует человека не с лучшей стороны.

Вместе с тем не следует и бояться споров и стараться любыми способами уклоняться от них. По принципиальным проблемам, решить которые не удастся без дискуссии и полемики, нужно спорить.

Особенно опасно избегать споров в научном исследовании. Нет нужды создавать видимость единомыслия и единодушия, якобы царящих в науке. Неотъемлемая черта науки — критицизм. Без критического отношения ученых к чужим и к своим собственным идеям рост и развитие научного знания невозможны.

2. *Всякий спор должен иметь свою тему, свой предмет.* Это — очевидное требование к спору, но даже оно иногда нарушается.

*Желательно, чтобы предмет спора был относительно ясным.* Лучше всего в самом начале зафиксировать этот предмет особым утверждением, чтобы избежать потом довольно обычного вопроса: о чем же все-таки шел спор?

Беспредметные споры, споры по проблемам, неясным для спорящих сторон, оставляют, как правило, тяжелый осадок из-за своей бессвязности и беспомощности. Не давая участникам возможности обнаружить свои знания и способности, такие споры представляют их в искаженном свете. «Дальше всех зайдет тот, — говорил Кромвель, — кто не знает, куда идти».

3. Еще одно условие плодотворности спора: *его тема не должна изменяться или подменяться другой на всем протяжении спора.*

Это условие редко когда удается соблюсти, что, в общем-то, вполне объяснимо. В начале спора тема не является, как правило, достаточно определенной. Это обнаруживается, однако, только в процессе спора. Его участники вынуждены постоянно уточнять свои позиции, что ведет к изменению подходов к теме спора, к смещению акцентов самой этой темы.

Уточнение и конкретизация позиций спорящих — важный момент спора. Но нужно все-таки постоянно иметь в виду основную линию спора и стараться не уходить далеко от нее. Если предмет спора изменился, целесообразно специально обратить на это внимание и подчеркнуть, что спор

относительно нового предмета — это, в сущности, другой, а не прежний спор.

Многие споры кончаются тем, что их участники еще больше утверждают в своей правоте. Было бы поспешным, однако, делать из этого вывод о неэффективности большинства споров.

Пусть позиции споривших не изменились, но они, несомненно, стали яснее, чем до момента спора. Далеко не всякий спор кончается тем, что все переходят в «одну веру». Но почти каждый спор помогает сторонам уточнить свои позиции, найти для их защиты дополнительные аргументы. Именно этим объясняется возросшая убежденность участников закончившегося спора в собственной правоте.

*4. Спор имеет место только при наличии несовместимых представлений об одном и том же объекте, явлении и т.д.* Если такой несовместимости нет, вскоре обычно выясняется, что спорящие говорят хотя и о разных, но взаимодополняющих аспектах одного и того же объекта. Спорить дальше не о чем.

*5. Спор предполагает, далее, определенную общность исходных позиций сторон, некоторый единый для них базис.* Всякий спор опирается на определенные предпосылки, беспредпосылочных споров не существует. Общность базиса обеспечивает начальное взаимопонимание спорящих, дает ту площадку, на которой может развернуться противоборство. Те, кто совершенно не понимают друг друга, не способны спорить, точно так же как они не способны прийти к согласию.

В средние века говорили: «С еретиками не спорят, их сжигают». Оставим меру наказания еретиков на совести того времени, когда нравы были суровыми. Первая же часть этой поговорки, говорящая о невозможности или, скорее, о нереальности спора с еретиками, в своей основе верна. Еретиком является тот, кто отвергает некоторые основополагающие принципы, отказывается принять единый для данной среды базис, лежащий в основе форм ее жизни и коммуникации. С таким человеком спор действительно нереален. Для спора нужна известная общность позиций противостоящих сторон, уходящая своими корнями в их чувства, веру и интуиции. Если такой общности нет и ничто не кажется сторонам одинаково очевидным, то нет и спора. Трудно, к примеру, дискутировать о деталях второго пришествия Христа с теми, кто верит в Будду; того, кто не верит во вземные цивилизации, вряд ли удастся увлечь спором о внешнем облике инопланетян.

Обычно предпосылки спора просты и не требуют специальной констатации. Но если базис не вполне ясен или толкуется по-разному, лучше всего начать с его уточнения и прояснения. Спор без общности предпосылок, без одинакового отношения



к исходным и неоспариваемым идеям имеет мало шансов на то, чтобы оказаться в какой-то мере эффективным.

**6. Успешное ведение спора требует определенного знания логики.** Прежде всего предполагается умение выводить следствия из своих и чужих утверждений, замечать противоречия, выявлять отсутствие логических связей между утверждениями. Обычно для всех этих целей достаточно **интуитивной логики**, стихийно сложившихся навыков правильного рассуждения.

Требование быть логичным и последовательным в споре не предполагает, разумеется, что спор должен разворачиваться как некое сугубо формальное доказательство определенной точки зрения. В ходе дискуссии или полемики уместны и шутки, и отступления, и многое другое, что не связано прямо с логикой развития мысли. Спорят между собою живые люди, а не какие-то «логические машины», озабоченные только неуклонным выведением следствий из принятых посылок.

Известный греческий оратор Демосфен, выступая в одном сложном деле, увидел, что судьи рассеянны и невнимательны. Демосфен прервал свою речь и начал рассказывать о человеке, нанявшем осла с погонщиком. День был жаркий, и седок, спешившись, присел отдохнуть в тени, которую отбрасывал осел. Погонщик возразил, что отдал внаем только осла, а не его тень. Спор превратился в судебную тяжбу. Тут Демосфен умолк, а когда судьи попросили его закончить рассказ, с горечью заметил: «Басню о тени осла вы готовы слушать, а важное дело выслушать не желаете».

Шутка, отход от темы и т.п. могут иногда оказаться неплохими помощниками в споре.

**7. Спор требует известного знания тех вещей, о которых идет речь.**

Это знание не может быть полным, иначе не возникли бы разногласия и полемика. Но оно все-таки должно быть достаточно обширным. Плохо, когда люди начинают спорить о том, о чем они знают только понаслышке, а то и вовсе не имеют представления. И тем не менее привычка с апломбом рассуждать и спорить о малоизвестном и даже совсем неизвестном у некоторых укоренилась довольно глубоко.

Человек, являющийся специалистом в какой-то области, обычно критически оценивает свои познания в этой области, хотя ее изучению он, возможно, посвятил всю свою жизнь. Грешит самоуверенностью и претензией на широкие знания, как правило, тот, чьи представления как раз поверхностны и неглубоки. Как с иронией заметил кто-то, профессор медицины знает о болезнях кое-что, врач — многое, а фельдшер — все. Отсутствие основательных знаний часто идет рука об руку с при-

вычкой подходить ко всему с готовыми мерками и определениями, на каждый вопрос иметь готовый ответ.

8. *В споре нужно стремиться к выяснению истины и добра* — это одно из наиболее важных, если не самое важное требование к спору.

Принципиальное значение этого требования впервые подчеркнул, пожалуй, Сократ, остро полемизировавший с софистами. Последние, как известно, ставили своей целью выдавать слабое за сильное, а сильное — за слабое, совершенно не заботясь о том, как все обстоит на самом деле.

«По их мнению, — говорил Сократ, — тому, кто собирается стать хорошим оратором, совершенно излишне иметь истинное представление о справедливых и хороших делах или о людях, справедливых или хороших по природе либо по воспитанию»<sup>1</sup>. Результат такой позиции прискорбен: «В судах решительно никому нет никакого дела до истины, важна только убедительность, — констатирует Сократ. — А она состоит в правдоподобию, на чем и должен сосредоточить свое внимание тот, кто хочет произнести искусную речь. Иной раз в защитительной и обвинительной речи даже следует умолчать о том, что было в действительности, если это неправдоподобно, и говорить только о правдоподобном: оратор из всех сил должен гнаться за правдоподобием, зачастую распрощавшись с истиной»<sup>2</sup>.

Итак, в споре нужно бороться не за утверждение собственного мнения, а за установление истины и добра.

Это особенно важно, когда речь идет о ростках нового, не встречавшегося ранее и еще не нашедшего достаточного числа сторонников.

Новая идея возникает, когда кто-нибудь открывает новую комбинацию, новую модификацию или новое применение уже существующих идей. Объекты, люди или идеи соединяются так, как никогда раньше не соединялись.

В момент выдвижения идеи человек обычно не может последовательно доказать ее жизнеспособность. Обоснование приходит потом. Именно поэтому новые идеи так хрупки. Их легко отвергнуть и отодвинуть в сторону до лучших времен. Новое пробьет себе в конце концов дорогу, но время, которое будет упущено, нельзя будет ничем возместить.

<sup>1</sup>Платон. Соч.: В 5 т. — Т. 2. — М., 1973. — С. 138.

<sup>2</sup>Там же.

Дискуссия и полемика, с особой остротой разворачивающиеся вокруг новых идей, должны вестись с предельным вниманием к самим этим идеям, отвлекаясь от всяких привходящих обстоятельств. Истинна выдвинутая идея или нет, продуктивно ли внесенное предложение и в какой мере — вот что должно в первую очередь заботить спорящих, а не то, кому первому пришла в голову идея, насколько она согласуется с нашими убеждениями и положением и т.д.

Существуют и нередко используются в спорах специальные фразы для дискредитации новой идеи. «Вы на ложном пути», «что вы можете знать об этом», «не понимаю, чего вы добиваетесь», «а какое вам до этого дело?», «а кто вас просил?», «будьте благоразумны», «вы что, смеетесь?», «вы чудак или сумасшедший?» и т.д. — все подобного рода реакции на новое не вполне корректны: они переводят разговор с того, истинна идея или нет, на обсуждение достоинств и недостатков выдвинувшего ее человека.

«А кто будет этим заниматься?», «это не окупится», «мы уже пробовали это», «замечательно — но...», «окружающие не доросли до этого», «это не вписывается в нашу деятельность», «наверху это не понравится», «у нас и без этого забот хватает», «кому это нужно?», «это противоречит всему нашему опыту», «подождем немного», «мы не можем себе этого позволить», «нам никогда не разрешат этого», «десять лет назад мы уже пытались пробить это», «над нами будут смеяться» и т.д. — с помощью таких оборотов полемика может переводиться с существа дела на привходящие обстоятельства. Они тоже могут быть и интересны и важны, но начинать надо не с них.

«А что в этом нового?», «это не выдерживает критики», «слишком рискованно», «кто-нибудь, наверное, уже пробовал сделать это», «я уже думал об этом в прошлом году, но ничего не вышло», «это не ново» и т.д. — такие реакции только кажутся относящимися к делу. По существу это попытка сразу же отмахнуться от новой идеи, не обсуждая ее всерьез. В терминах теории аргументации это — типичная ошибка «подмены тезиса».

**9. В споре нужно проявлять гибкость.** Ситуация в споре постоянно меняется. Вводятся новые аргументы, всплывают неизвестные ранее факты, меняются позиции участников — на все это приходится реагировать. Но гибкость тактики спора вовсе не предполагает резкой смены позиции с каждым новым моментом.

Вступив в спор и уяснив свое отношение к обсуждаемому предмету, надо твердо стоять на занятой позиции, стараясь сделать ее как можно более определенной и ясной. Иносказания, гипотезы, отсутствие прямых ответов — все это размывает границы позиции, делая спор уклончивым, а то и просто малосодержательным. Временами и уклончивость хороша, но только временами. Правилom должна быть четкая, недвусмысленно выраженная позиция.

Наиболее распространены два крайних способа ведения спора: **уступчивость и жесткость**. Более эффективен, однако, способ не жесткий и не уступчивый, а скорее соединя-

ющий в себе особенности и того и другого. Там, где это возможно, нужно искать точки соприкосновения и совпадения взглядов, а там, где последние вступают в противоречие, настаивать на решении, основанном на беспристрастных критериях, не зависящих от спорящих сторон. Жесткость необходима, когда речь идет о существовании вопроса; если же дело касается деталей, частных, личностных моментов, субъективных симпатий и антипатий, обычно лучше проявить уступчивость и терпимость. Это позволит решать сложные спорные вопросы по существу, минуя мелкие препирательства и вместе с тем не поступаясь своими взглядами и своим достоинством.

*10. Не следует допускать крупных промахов в стратегии и тактике спора.*

Само собой понятно, что спор призван если не разрешить, то по меньшей мере прояснить обсуждаемую проблему. И тем не менее случается, что дискуссия и полемика приводят как раз к противоположному результату. Первоначальные сравнительно четкие представления в ходе спора постепенно расплываются, и к концу его от исходной ясности и казавшихся убедительными аргументов мало что остается.

Чаще всего причиной этого является сложность обсуждаемого предмета. Столкновение разных представлений о нем обнажает их частичность и неполноту. Проясняющая функция спора парадоксальным образом выливается в свою противоположность: то, что было относительно ясным до спора, становится туманным и темным после него.

Хуже, когда спор кончается туманом из-за неумения спорить, в силу очевидных промахов в стратегии и тактике спора.

**Стратегия** — это наиболее общие принципы аргументации, приведения одних высказываний для обоснования или подкрепления других.

**Тактика** — поиск и отбор аргументов или доводов, наиболее убедительных с точки зрения обсуждаемой темы и данной аудитории, а также реакции на контраргументы другой стороны в процессе спора.

Решение стратегической задачи спора предполагает соблюдение указанных выше требований. Они просты в своей общей формулировке, но нередко сложны в конкретном применении.

*11. Не следует бояться признавать в ходе спора свои ошибки.*

Главное в споре — это внести свою долю в положительную разработку обсуждаемого вопроса. Человек, убедившийся в не-

верности каких-то своих представлений, должен сказать об этом с полной откровенностью и определенностью, что сделает спор более плодотворным.

Нужно быть терпимым к критике и не бояться того, что кто-то укажет нам на ошибки. В споре, когда критические замечания высказываются в лицо, это особенно важно.

«Не бойся исправлять свои ошибки», — говорил Конфуций. Этот совет имеет прямое отношение к спору.

В 20-е годы в Математическом клубе в Геттингене с докладом должен был выступить молодой американский математик Н.Винер. Значение, которое он придавал своему докладу, отражается тем фактом, что много лет спустя он посвятил этому более двенадцати страниц автобиографии. За ужином после доклада известный математик Д.Гильберт сказал:

— Доклады, с которыми выступают в наши дни, намного хуже, чем это было раньше.

Винер приготовился выслушать комплимент.

— Сегодняшний доклад, — заключил Гильберт, — был самым плохим из всех, когда-либо слышанных здесь.

Несмотря на этот отзыв (он не был упомянут в автобиографии), Гильберт всегда оставался для Винера идеалом математика.

Впрочем, и сам Гильберт был терпим к критике и не стеснялся самокритики. Готовясь к своим лекциям только в самых общих чертах, он, случалось, терпел фиаско. Иногда он не мог провести или неправильно проводил детали доказательств. Студенты начинали волноваться, лекция прерывалась. Если попытка спасти положение не удавалась, Гильберт пожимал плечами и самокритично замечал: «Да, мне надо было лучше подготовиться», — и распускал слушателей.

Человек, упорствующий в своем заблуждении, выглядит иногда даже смешно.

— Послушайте, — обратился авиапассажир к своему соседу, — неужели вы не замечаете, что читаете газету вверх ногами?

— Конечно, замечаю, — огрызнулся тот. — Что вы думаете, легко так читать?

В этой шутке есть доля правды: иногда неверно понятое самолюбие мешает нам исправить очевидную ошибку. «...Кто чувствует в себе силу сделать лучше, тот не испытывает страха перед признанием своей ошибки» (Т.Бильрот).

## 8. Можно ли одержать верх в споре?

Вопрос этот кажется по меньшей мере странным. Тем не менее есть люди, которые всерьез убеждены, что это невозможно. «Если вы спорите и возражаете, вы иногда можете добиться победы, но это будет бесполезная победа, потому что вы никогда не добьетесь этим хорошего отношения к вам со стороны вашего противника». Эти слова принадлежат американскому ученому и дипломату Б.Франклину.

Американский президент А.Линкольн однажды отчитал молодого офицера за то, что тот вступил в жаркий спор со своим сослуживцем. «Ни один человек,

который решил действительно преуспеть в жизни, — внушал Линкольн, — не должен тратить время на личные споры, не говоря уже о том, что он не должен позволять себе выходить из себя и терять самообладание. Уступайте в крупных вопросах, если чувствуете, что и вы, и ваш собеседник по-своему правы, и уступайте в более мелких вещах, даже наверняка зная, что правы только вы. Лучше уступить дорогу собаке, чем допустить, чтобы она укусила вас. Даже убийство собаки не вылечит укуса...»

На чем основывается этот совет всячески избегать споров? Действительно ли победа в споре, если даже она достигается, оказывается бесполезной?

Против спора обычно приводится два довода. Человека, убежденного в своей правоте, активно отстаивающего свою точку зрения, практически невозможно переубедить. Именно поэтому споры чаще всего заканчиваются тем, что спорящие остаются еще более уверенными в своей правоте. И потом, если спор все-таки завершается победой одного из участников, другой — проигравший — непременно испытывает чувство горечи поражения. Он может даже изменить свое отношение к партнеру по спору.

Очевидно, что оба эти довода неубедительны.

Неверно, что человека нельзя переубедить в споре. Многое зависит от манеры спора и приводимых аргументов. Если бы споры не вели к изменению позиций сторон, было бы непонятно, под влиянием чего меняются убеждения людей.

Ссылка на обязательную, якобы, обиду побежденного в споре тоже легковесна. Как говорил Леонардо да Винчи: «Противник, вскрывающий ваши ошибки, полезнее для вас, чем друг, желающий их скрыть». Неудача в споре действительно может показаться обидной. Но если человек осознал, что был неправ, он не станет сетовать на горькое лекарство.

«Когда узнаешь свои ошибки, имеешь шанс их исправить» — эти слова Роберта Бернса являются и косвенной похвалой спора, представляющего собой хорошее средство прояснения ситуации.

Что было бы действительно обидно, так это лишиться спора как одного из эффективных путей устранения ошибок и недопониманий.

Все это очевидно. Тот, кто высказывается против споров, скорее всего, недостаточно ясно выражает свою мысль и, говоря об одном, имеет в виду совсем другое.

Пожелание или требование избегать всяких споров и постоянно стремиться к примирению неоправданно, да и просто неосуществимо. Спор объективен и необходим в том смысле, что он является одной из неотъемлемых особенностей общения лю-

дей и достижения ими взаимопонимания. Нужно, однако, не упускать из виду и другую сторону вопроса.

Спор — не единственное средство обеспечения понимания людьми друг друга. Он даже не главное такое средство. Неприемлем спор ради спора, с целью доказательства абстрактной правоты и посрамления противника. Главная задача спора — не сама по себе победа над противной стороной, а решение некоторой конкретной проблемы, лучше всего — обоюдодоприемлемое ее решение.

Спор — сложное явление. Он не сводится к столкновению двух несовместимых утверждений. Протекая всегда в определенном контексте, он затрагивает такие черты характера человека, как достоинство, самолюбие, гордость и т.д. Манера спора, его острота, уступки спорящих сторон, используемые ими средства определяются не только соображениями, связанными с разрешением конкретной проблемы, но и всем тем контекстом, в котором она встала. Можно достичь формальной победы в споре, настоять на правоте или целесообразности своего подхода и одновременно проиграть в чем-то ином, но не менее важном. Мы не сумели изменить позицию оппонента в споре, не добились его понимания, обидели его, оттолкнули от взаимодействия и взаимопомощи в решении проблемы, вызвавшей спор, — эти побочные следствия спора могут существенно ослабить эффект победы в нем или даже вообще свести его на нет.

# A.A.IWIN. Foundations of the theory of argumentation

## Contents

Introduction .....	3
<b>Chapter 1. Convincing foundations</b> .....	<b>6</b>
1. The essence of argumentation .....	—
2. The principle of sufficient foundation .....	7
3. Absolute and comparative argumentation .....	9
4. Main functions of language .....	15
<b>Chapter 2. Empirical argumentation</b> .....	<b>27</b>
1. Direct confirmation .....	—
2. Confirmation of consequences .....	35
3. Fact as example .....	42
4. Fact as illustration .....	50
<b>Chapter 3. Theoretical argumentation</b> .....	<b>56</b>
1. Deductive substantiation .....	57
2. System argumentation .....	65
3. Refutability and verifiability .....	74
4. Condition of compatibility .....	79
5. Methodological argumentation .....	89
6. Limits of substantiation .....	99
<b>Chapter 4. Contextual argumentation</b> .....	<b>105</b>
1. Tradition and authority .....	106
2. Intuition and faith .....	125
3. Common sense and taste .....	140
<b>Chapter 5. Argumentation and values</b> .....	<b>150</b>
1. Values and epistemology .....	—
2. Description and evaluation .....	156
3. Variety of evaluations .....	163
4. Quasiempirical substantiation of evaluations .....	172
5. Theoretical substantiation of evaluations .....	189
6. Contextual arguments .....	199
7. Principles of morals .....	211
<b>Chapter 6. Explanation and understanding</b> .....	<b>232</b>
1. Explanation .....	236
2. Prediction .....	241
3. Understanding .....	245
4. Understanding of behaviour .....	250



---

5. Understanding of nature .....	257
6. Understanding of language expressions .....	264
<b>Chapter 7. Problem situations and argumentation .....</b>	<b>272</b>
1. Variety of problems .....	—
2. Explicit problems .....	275
3. Implicit problems .....	281
<b>Chapter 8. Uncorrect argumentation .....</b>	<b>294</b>
1. Uncorrect proofs .....	—
2. Sophismes .....	300
3. «Is» and «ought» .....	304
4. Typical uncorrect arguments .....	311
<b>Chapter 9. Art of dispute .....</b>	<b>314</b>
1. Dispute as a particular case of argumentation .....	—
2. Correct ways of dispute .....	316
3. Uncorrect ways of dispute .....	320
4. Dispute about truth and values .....	327
5. Four variety of dispute .....	330
6. One example of uncorrect dispute .....	332
7. General demands to dispute .....	337
8. Victory in dispute .....	345

*Учебное издание*

**Ивин Александр Архипович**

**Основы теории аргументации**

Зав. редакцией *Е. С. Ивашкина*  
Корректор *Л. С. Верещагина*  
Компьютерная верстка *А. И. Попов*  
Художник обложки *В. А. Федоров*

Лицензия ЛР № 064380 от 4.01.96 г.

Сдано в набор 5.03.96. Подписано к печати 30.05.96. Формат 60х90  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,0. Тираж 30000 экз.

Зак. 3028. 1-й завод (1—15000).

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС».  
117571, Москва, просп. Вернадского, 88,  
Московский педагогический государственный университет,  
тел./факс 932-56-19, тел. 437-99-98.

---

Отпечатано в ГУИПП «Курск».  
305007, г.Курск, ул.Энгельса, 109.